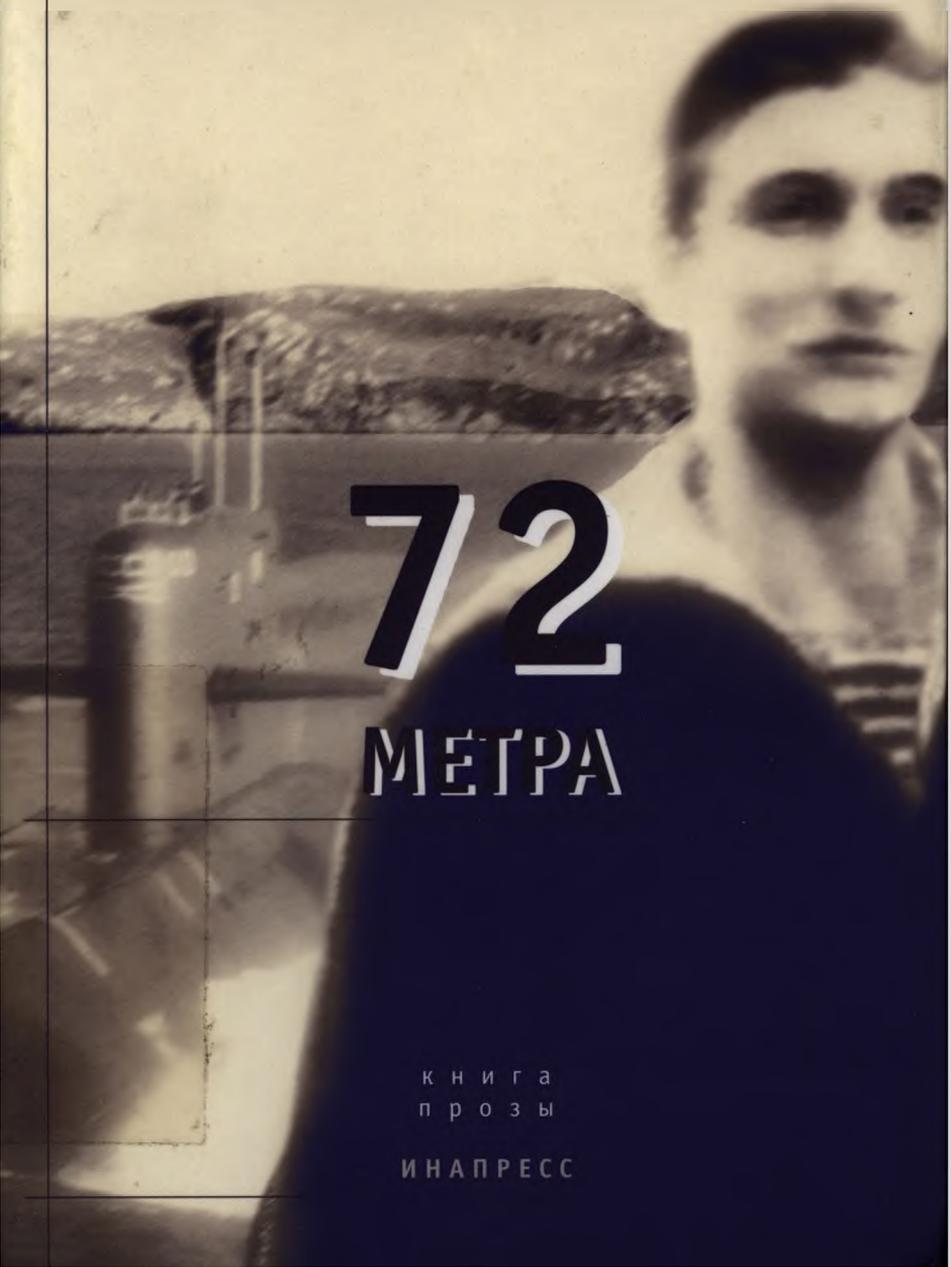


а л е к с а н д р
п о к р о в с к и й



72
МЕТРА

к н и г а
п р о з ы

ИНАПРЕСС

АЛЕКСАНДР
ПОКРОВСКИЙ

72
МЕТРА
*книга
прозы*

а л е к с а н д р
П О К Р О В С К И Й



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЗДАПРЕСС
2000

ББК 84.Р7
П 48

Редактор Н. Кононов
Художник М. Покшишевская

ISBN 5-87135-108-5

© ИНАПРЕСС, 2000

ОФИЦЕРА МОЖНО

ОФИЦЕРА МОЖНО

Офицера можно лишить очередного воинского звания или должности, или обещанной награды, чтоб он лучше служил.

Или можно не лишать его этого звания, а просто задержать его на время, на какой-то срок — лучше на неопределенный, — чтоб он все время чувствовал.

Офицера можно не отпускать в академию или на офицерские курсы; или отпустить его, но в последний день, и он туда опоздает, — и все это для того, чтобы он ощутил, чтоб он понял, чтоб дошло до него, что не все так просто.

Можно запретить ему сход на берег, если, конечно, это корабельный офицер, или объявить ему лично ортерий, чтоб он организовался, или спускать его такими порциями, чтоб понял он наконец, что ему нужно лучше себя вести в повседневной жизни.

А можно отослать его в командировку или туда, где ему будут меньше платить, где он лишится северных надбавок; а еще ему можно продлить на второй срок службу в плавсоставе или продлить ее ему на третий срок, или на четвертый; или можно все время отправлять его в море, на полигон, на боевое дежурство, в тартарары — или еще куда-нибудь, а квартиру ему не давать, — и жена его, в конце концов, уедет из гарнизона, потому что кто же ей продлит разрешение на въезд — муж-то очень далеко.

Или можно дать ему квартиру — «Берите, видите, как о вас заботятся», — но не сразу, а лет через пять — восемь, пятнадцать — восемнадцать, — пусть немного еще послужит, проявит себя.

А еще можно объявить ему, мерзавцу, взыскание — выговор, или строгий выговор, или там «предупреждение о неполном соответствии» — объявить и посмотреть, как он реагирует.

Можно сделать так, что он никуда не переведется после своих

десяти «безупречных лет» и будет вечно гнить, сдавая «на допуск к самостоятельному управлению».

Можно контролировать каждый его шаг: и на корабле, и в быту; можно устраивать ему внезапные «проверки» какого -нибудь «наличия» — или комиссии, учения, предъявления, тревоги.

Можно не дать ему какую -нибудь «характеристику» или «рекомендации» — или дать, но такую, что он очень долго будет отплевываться.

Можно лишить его премии, «четырнадцатого оклада», полностью или частично.

Можно не отпускать его в отпуск — или отпустить, но тогда, когда никто из нормальных в отпуск не ходит, или отпустить его по всем приказам, а отпускной билет его у него же за что -нибудь отобрать и положить его в сейф, а самому уехать куда -нибудь на неделю — пусть побегает.

Или заставить его во время отпуска ходить на службу и проверять его там ежедневно и докладывать о нем ежечасно.

И в конце -то концов, можно посадить его, сукина сына, на цепь! То есть я хотел сказать — на гауптвахту, и с нее отпускать только в море! только в море!

Или можно уволить его в запас, когда он этого не хочет, или, наоборот, не увольнять его, когда он сам того всеми силами души желает, пусть понервничает, пусть у него пена изо рта пойдет.

Или можно нарезать ему пенсию меньше той, на которую он рассчитывал, или рассчитать ему при увольнении неправильно выслугу лет — пусть пострадает, или рассчитать его за день до полного месяца или до полного года, чтоб ему на полную выслугу не хватило одного дня.

И вообще, с офицером можно сделать столько! Столько с ним можно сделать! Столько с ним можно совершить! Что грудь моя от восторга переполняется, и от этого восторга я просто немею.

НАЧАЛО

На флоте ЛЮБОЕ НАЧИНАНИЕ всегда делится на четыре стадии:
первая — ЗАПУГИВАНИЕ;
вторая — ЗАПУТЫВАНИЕ;

третья — НАКАЗАНИЕ НЕВИНОВНЫХ;
четвертая — НАГРАЖДЕНИЕ НЕУЧАСТВУЮЩИХ.

КОНЕЦ

- Что вы видели на флоте?
- Грудь четвертого человека.
- И чем вы все время занимались?
- Устранял замечания.

АТОМНИК ИВАНОВ

Умер офицер, подводник и атомник Иванов. Да и черт бы, как говорится, с ним, сдали бы по рублю и забыли, тем более что родственников и особой мебели у него не обнаружилось и с женой, пожелавшей ему умереть вдоль забора, он давно разошелся. Но умер он, во - первых, не оставив посмертной записки — мол, я умер, вините этих, и, во - вторых, он умер накануне своей пятнадцатой автономки. Так бы он лежал бы и лежал и никому не был бы нужен, а тут подожди для приличия сутки и доложили по команде.

Вот тут - то все и началось. В квартиру к нему постоянно кто - то стучал, а остальной экипаж в свой трехдневный отдых искал его по сопкам и подвалам. Приятелей его расспросили — может, он заснул у какой - нибудь бабы. В общем, поискали, поискали, не нашли, выставили у его дверей постоянный пост и успокоились. И никому не приходило в голову, что он лежит в своей собственной квартире и давно не дышит.

Наклеивалось дезертирство, и политотдел затребовал на него характеристики; экипажная жизнь снова оживилась. В запарке характеристики ему дали как уголовнику; отметили в них, что он давно уже не отличник боевой и политической подготовки, что к изучению идейно - теоретического наследия относится отвратительно, а к последним текущим документам настолько прохладен, что вряд ли имеет хоть какой - нибудь конспект.

Долго думали, писать, что «политику он понимает правильно» и «делу» предан, или не писать, потом решили, что не стоит.

В копию его служебной карточки, для полноты его общественной физиономии, вписали пять снятых и двадцать неснятых дисциплинарных взысканий; срочно слепили две копии суда чести офицерского состава, а заместитель командира, заметив, что у него еще есть в графе место, пропустил его по всем планам политико-воспитательной работы как участника бесед о правовом воспитании воина.

Сдали все собранные документы в отдел кадров и, срочно прикомандировав вместо него какого-то беднягу прямо из патруля, ушли, от всей души пожелав ему угодить в тюрьму.

Отдел кадров, перепроверив оставленные документы, установил, что последняя аттестация у него положительная.

Аттестацию переделали. Сделали такую, из которой было видно, что он, конечно, может быть подводником, не без этого, но все-таки лучше уволить его в запас за дискредитацию высокого офицерского звания.

Прошло какое-то время, и кому-то пришло в голову вскрыть его квартиру. Вскрыли и обнаружили бранные останки атомника Иванова — вот он, родной.

Флагманскому врачу работы прибавилось. Нужно было оформить кучу бумаг, а тут еще вскрытие показало, что на момент смерти он был совершенно здоров. В общем, списать умершего труднее, чем получить живого.

Медкнижку его так и не нашли, она хранилась на корабле и ушла с кораблем в автономку. Сдуру бросились ее восстанавливать по записям в журналах, но так как журналы тоже не все отыскались, то все опомнились и решили, что обойдется и так.

Флагманский врач пристегнул к этому делу двух молодых подающих большие надежды врачей, а сам в тот день, когда пристегнул, вздохнул с облегчением.

С помощью нашей удалой милиции удалось даже отыскать такую-то его двоюродную тетку Марию, которая жила, как выяснилось, в самой середине нашей необъятной карты, в селе Малые Махаловки.

— Только сейчас приехать не могу, — сразу же зателеграфировала тетка, — я одна, старая уже, у меня еще корова, как ее бросить, да и картошка подошла.

Из списанных с плавсостава подобрали надежного офицера, капитан-лейтенанта, и возложили на него похоронные обязанности.

Такие офицеры, списанные с плавсостава, у нас есть. Они строят

подсобные хозяйства, дачи, роют рвы, канавы, собирают картошку в Белоруссии, бывают на целине в Казахстане, назначаются старшими на сене, проводят обваловку, руководят очисткой, раскладкой дёрна, доводят все это до ума, ремонтируют подъезды и вообще приносят много пользы.

А этого офицера списали даже дважды. В первый раз по какой-то одной статье — то ли с язвой, то ли с какими-то камнями, — а когда он оформил все документы на списание и, сдав их каждый день ходил и столбился, то через месяц выяснилось, что документы он сдал не поймешь где, и сдал он их не поймешь кому, и в том месте, где он их сдал, его никто не узнал.

— Что же вы так? — сказали ему тогда.

Вот тогда-то его и перекосило, и с ним случилось что-то сложное, то ли латинское, то ли латиноамериканское, и списался он тогда по совершенно другой статье. Словом, человек был надежный.

«Надежный» отправился на плавзавод добывать цинк. В этот цинк нужно было одеть гроб, который вместе с несвоевременно усопшим Ивановым именовался бы «ценный груз двести».

Завод насчет цинка был в курсе, но на заводе его повернули: лимит по цинку был израсходован, а будущий цинк должны были подвезти в течение месяца.

— Вам же звонили! — вяло, как последний спартанец, отбивался «надежный».

— Времена прошли, — сказали ему на заводе.

— Куда ж его сейчас девать? — не унимался «надежный», потому что с самого детства привык никому и никогда не сдаваться.

— А где он у вас до сих пор лежал? — спросили увядшими голосами заводские лупоглазые хитрецы.

— Дома, — не понимал «надежный».

— Вот пусть там и полежит, ничего страшного, сейчас уже холодно. Только окна, конечно, нужно будет открыть, — тут же приступили заводчане ко второму этапу сбережения усопшего, — а с батарей воду слить, и батареи заглушить. В этом поможем. На батареях у нас какое сечение? ДУ - 20? Ну вот...

— Что «вот», — не понимал «надежно списанный», — в чем можете?

— В этом, — удивились его сообразительности заводчане, — батареи заглушим, сварщика дадим.

— Ну нет, так дело не пойдет, — начал было «списанный».

— Ну, мы тогда не знаем, — сразу закончили с ним заводчане и в ту же минуту про него забыли.

С тем, что «они не знают», списанный капитан тут же решил отправиться к начальству. По дороге он долго рубил воздух и говорил всякие выражения.

— А - а - а, чтоб они подошли! — пожелал он им в заключение.

Капитан впервые столкнулся с цинковой проблемой, и через десять минут ходьбы он окончательно решил идти к начальству, у которого, он был в этом совершенно уверен и неоднократно убежден, череп толще, а нижняя челюсть увесистей.

— А я - то думал, что его давно похоронили, — оторвалось от бумаг начальство с черепом, за заботами успевшее забыть, что у него когда - то кто - то умер. — Деньги вам собранные отдали? Ну вот! Что же вы?

— А что вы сделали, чтоб этот цинк был? Почему не добились? Почему не настояли? — спрашивало начальство по нарастающей. — Расписываетесь тут, стоите, в собственном бессилии!

— Нужно добиваться! — заорало наконец начальство. — А не демонстрировать здесь свои неспособности и беспомощность полнейшую! Рыть нужно! Рыть! Доросли тут до капитан - лейтенанта! Бог ты мой, какая тупость, какая тупость! Цинк ему ищи! Рот раскрой, положи — он закроет и проглотит. Так, что ли? Я! Здесь! Поставлен! Не для цинка!!! Понимаешь? Не для цинка!.. Идите. И не прикрывайте мелкой суетливостью своего безделья! Цинк чтоб был! Доложите! Все!!!

Витамины на флот поступают в жестяных банках, а надо бы в ведрах, а может, и в бочках...

Капитан пошел от начальства. По дороге он все время говорил три слова, из которых только одно было очень похоже на слово «провались».

Пропадал он двое суток, потом появился мятый, виноватый и принялся с жаром отработывать.

А медики тем временем, тихой сапой, по своим каналам справились насчет цинка, узнали, когда он будет, сказали: «Ладно, мы подождем», — и сразу же договорились насчет деревянного.

— Деревянный? — ухватились на заводе. — А цинковый уже не надо?

— Надо, — сказали наши всегда спокойные медики, — и цинковый и деревянный. Он у нас пока в морге полежит.

И положили. Когда же наконец появился цинк и из него сделали то, что хотели, впихнуть в него бережно сохраненного Иванова не удалось — чуточку не влез; ни в цинковый, ни в деревянный.

— Он что у вас там, вырос что ли? — злобно ворчали заводчане, уминая Иванова, который если где и влезал в одном месте, то тут же вылезал в другом. Не хватало всех размеров сантиметров по двадцать.

— А кто снимал мерку? — спросил начальник завода, когда эта неувязочка всем порядком поднадоела.

Оказалось, что мерку снимал матрос, который уже уволился в запас.

Начальник завода очень изобретательно облегчил душу и сказал:

— Чтоб в следующий раз снимал офицер, — подумал и добавил: — Капитан - лейтенант, а сейчас чтоб влез! Влез! Хоть всем за водом пихайте. Вы у меня пострадаете. . за Отечество. Я вам сделаю соответствующее лицо...

После этого заводчане поделили силы: одни с чувством передали Иванову, чтоб он влез, и начали его запихивать с завидным вдохновением, другие принялись обхаживать медиков — ходили как очарованные и заглядывали им в глаза. Минут через пять они решили, что хватит облизывать, и приступили:

— А может, мы отпилим где-нибудь там у него кусочек, а? Маленький такой, а? — голос их непрерывно зацветал мольбой. — Незаметненький такой, как вы считаете? Мы потом сами похороним. А может, у вас есть что-нибудь такое? Может, можно будет его полить чем-нибудь, растворить там чуть-чуть, а? Ему же все равно, как вы считаете?

— Не знаем, — сказали медики, покачали головами и уехали, оставив на заводе Иванова до вечера. Вечером он должен был быть отправлен. И билеты были, — в общем, тоска.

— Делай что хочешь, — сказал начальник завода начальнику цеха, — режь, ешь, но чтоб влез! Влез! Хочешь, сам ложись впереди и раздвигай! Хочешь — не ложись! Хочешь — мы тебя вместо него похороним. В общем, как хочешь!

Начальник цеха хотел, он очень хотел; он до того обессилел от того, что хотел, что был готов сам лечь и раздвигать.

Но вдруг все обошлось. На флоте в конце концов все обходится, все получается, делается само собой, не надо только суетиться. .

В конце концов вышли пять решительных жлобов и, под массу бод-

рых выражений, в три минуты закинули атомника Иванова в дерево и в цинк, как тесто в банку. Попрыгали сверху и умяли. Заткнули аккуратно гвоздиком те места, которые повылезли, и запаяли. Делов - то...

А в это время в нашем тылу добывалась машина. Списанный капитан метался одинокий и слепой от горя. Он уже выяснил, что в эту минуту из восьмидесяти двух машин — тридцать два «газика», а остальные после целины не на ходу, а на ходу один самосвал, да и тот — мусорный.

Заболевший от такой невезухи капитан был готов везти запаянного в цинк Иванова на мусорном самосвале.

— Да вы что? — сказали в тылу и не дали самосвал.

И все - таки он его довез, на попутках, щедро посыпая дорогу поллитрами. На вокзал приехали за двадцать минут до отхода поезда.

— Куда?! — рывкнула проводница и загородила проход.

— У нас разрешение есть, — задуревшим с дороги голосом прошептал капитан: он всю дорогу, в минус двадцать, ехал сверху

— Назад! — не унималась проводница. — Я тебе дам «разрешение», а людей я куда дену! —

Она вытолкнула капитана вместе с ящиком назад. Капитан, совершенно обессиленный белым безмолвием, вытаспил собранные на Иванова деньги и, стыдно сказать, угостил проводницу четвертным.

— Ну ладно, — ожалилась она, — волоките, сейчас покажу куда.

Гроб заволокли, куда показали. Не успели тронуться с места, как появился бригадир.

— Где тут эти похоронщики? — бригадир смотрел так, будто заранее знал, кто где нагадил.

— Ты, что ли? — ткнул он пальцем в капитана, и у капитана сразу же забился пульс. — Да? Документы давай.

Капитану нельзя было волноваться. Пальцы его наконец достали документы.

— Ну, так и знал, — вздохнул бригадир, — неправильно. На следующей слазь. Не забудь его прихватить. Проверю. Знаю я вас, был уже один такой прохвост, намаялись.

Достался еще один четвертной. Все - таки есть хорошие люди, есть, сейчас он на тебя наорал, набрызгал, а сейчас он уже хороший человек и ты его полюбил, истив до дна радость прощенья.

— Ты когда в следующий раз повезешь кого - нибудь, ты обязательно все правильно оформи, — обхватил капитана за плечи

бригадир, — да, и смотри, он у нас, сам понимаешь, где едет, у нас иногда «Жигули» раздевают, не то что твоего родственника; цинк — это вещь; приедешь, его снимать — а цинка нет, и давно уже один покойник голый едет. Было такое, бесплатно дарю, — бригадир хохотнул.

Капитан выбегал на каждой станции.

И началась дорога. Многим мы ей обязаны, дороге. Ты едешь, и едут мимо тебя мясо, масло, «а как у вас», дети, тещи, подарки, какие-то праздники, каникулы. О чем только люди не говорят, чем только они не живут; а ты как с другой планеты, будто и не жил никогда.

Через двое суток ему стало казаться, что он давно уже живет в вагоне, что он родился здесь, среди плача детского, мято лежащих тел, бесконечных закусываний, чая и торчащих в проходе ног. Он отдался безразличию и теперь почти все время сидел у окна смотрящим вперёд. А навстречу ему неслась Россия... Россия... огромная страна...

Капитану предстояла пересадка. Не будем ее описывать, а то все увеличится втрое. Скажем только громко: «Хорошо!» Хорошо, что люди пьют. А может, и не люди, а отдельные граждане, но все равно — хорошо. Сколько бы дел не было сделано, вот так, с лету, в один присест, если б они не пили; и наш капитан никогда бы не погал вовремя с оцинкованным Ивановым с вокзала на вокзал. Пускай они пьют. А если б они не пили, то стоило бы, наверное, для пользы дела, ее им привить — привычку пить. Наверное, стоило бы. .

А вот и станция Малые Махаловки, похожая на тысячи наших пустынных беленьких станций. Не прошло и пяти суток.

Поезд встречали двое — тетка и бородач. Капитан каким-то внутренним чутьем почувствовал тетку Марию и конец своего путешествия и наполнился, в который раз за дорогу, счастьем, подпрыгивающим ликованием.

— Вот! — через каких-нибудь пять минут воскликнул капитан, и израсходовав на улыбку весь имеемый сахар, указал на гроб: — Сам!

Он чуть не добавил: «Красивый сам собой», — но вовремя спохватился. Ему опять стало хорошо. Это «хорошо» накатывало на него волнами, и сейчас он был просто рад за себя, за Иванова, за окружающую среду, опять за себя, за тетку Марию, как будто привез ей не гроб, а кусок золота. И вообще, чем дальше от флота, тем больше он испытывал за него гордость; гордость за нашу боего-

товность, ощущал прочные узы родства...

— Что еще... документы, фотографии — вот!

— Слышь, милоч, — засомневалась тетка Мария, — а вроде... это и не Мишка вовсе... Иванов - то... я его маленьким помню, после не видала... позабыла уже, а волосики у него вроде черные были, да и курносый он, а этот какой - то... лысый, что ли?

Дитя флота мгновенно приехало на землю. Капитана прошиб крупный пот, все вокруг промокло и стало гнусным.

— Да ты что, мать! — Земля уверенно поехала из - под ног. — КАК НЕ ТОТ!!

— МАТЬ!!! — заорал он, вложив в этот крик все свои раны, отчаянье, цинк, бригадира, дорогу, черт - те что... — Мать! Это ж... не мальчик кудрявый, это ж... мужчина, и потому он... эта... под водой, подводник он, мать, подводник, а там не то что на себя, на лошадь не будешь похож!

— Ну тогда ладно... конечно... чего уж там... это я так, — быстро согласилась, испугавшись его, тетка Мария и виновато уставилась под ноги.

Бородатый с ходу понял, в чем затор.

— Вылитый Мишка, — он тоже испугался, что поминок не будет и этот сейчас подхватит гроб и поминай как звали, — вылитый. Я его, мерзавца, вот с такого возраста, — он отмерил сантиметров двадцать, — знаю. Вылитый.

— Ну вот! — вырвалось у капитана. К нему сразу вернулась ушедшая было куча здоровья. — Дааа, ну ты, мать, даешь! Мишку не узнать, а? Дааа! — теперь ему опять стало хорошо, даже как - то молодцевато стало, раскудрись оно провались!

— Ну ладно, граждане, — махнул рукой куда - то в сторону капитан, — вам — туда, а мне — обратно. Извините, если что...

— Ну нет, милый, ты чего эта? — бородач встал рядом. — При - вез и давай мотаем? Вам, значить, туда, а нам отсюда, так, что ли? А поминки? А народ? Не пустим! — он вдруг взял капитана под локоток. Рука у деда была деревянная, и капитан понял — точно, не пустят.

— Так... флот же тоже ждет... боевые корабли - ии, — замямлил он.

— Подождет, не обломится, — обрубил бородач. — народ тебя ждет. А мы тебе справку заделаем... печать... вроде ты у нас приболел, что ли, — борода так захохотал, что какая - то впереди крадущаяся тетка с кошелкой присела, дернула головой, завереща -

ла: «Милиция» — и мотанула куда - то совсем.

Действительно, все было готово. С Ивановым разделились в момент. Никто так и не вспомнил, был ли он черным или, может, сразу лысым. Праздничный стол раздался в осеннем великолепии. Это был какой - то ведерный край: в середине стола стояла такая ужасная бутылка самогона, такой величины и прозрачности, что сквозь нее была полностью видна высоко поднятая табуретка.

За столом сидели старики и старушки, празднично убранные. На стариках так горели ордена и медали, что стояло сплошное сияние. У одного векового деда, с серебряной в пояс бородой, кроме всего прочего было еще четыре Георгиевских креста.

Через двадцать минут за столом все были свои. Старики с интересом рассматривали Мишкины медали за десять и пятнадцать лет безупречной службы. Они передавали их друг другу, и каждый обязательно переворачивал и читал вслух.

— Дааа. Нам такие не давали. Они теперь вон какие. Молодца, Мишка, молодца, не посрамил, дааа...

Вскоре капитан решил, что ему нужно что - то сказать, а то через пару минут, он так прикинул, сказать он уже ничего не сможет, через пару минут он уже сможет только закивать это дело. Он встал и сначала бессвязно, а потом все лучше и лучше начал говорить про флот, про море, про Мишку, которого совсем не знал, и чем больше он говорил, тем больше ему казалось, что он говорит не про Мишку, а про себя, про свою жизнь, про службу, про флотское братство, которое, гори оно ясным пламенем, все равно не сгорит, про Родину, про тех, кто ее сейчас защищает и, в случае чего, не пожалеет жизни, про священные рубежи...

— ...Пусть у них все будет хорошо, — голос капитана звенел в наступившей тишине, — пусть они не горят, не тонут, пусть им всегда хватает воздуха; пусть они всегда всплывают; пусть их ждут на берегу дети, любят жены, их нельзя не любить, товарищи, их нельзя не любить! — И так у него получалось складно и гладко, и, может быть, в первый раз в жизни его так слушали, может быть в первый раз в жизни он говорил то, что думал; и у людей блестели на глазах слезы, может быть, в первый раз в жизни с ним такое происходило... У него вдруг перехватило горло, он запнулся, махнул рукой; все задвигались, а какая - то тетка, как и другие, наполовину не понимая, но видевшая, что человек мается, схватилась ладонью за щеку и забормотала:

— Ох, мамочки, бедные вы мои, бедные...

Пир шел горой. С капитаном все хотели поцеловаться. Особенно не удавалось вековому деду.

— Гришка! — прорывался он. — Язви ты, ты что, зараза, второй раз лезешь? А ну брысь!

Громадный Гришка, лет шестидесяти, смутился и пропустил старика.

— Ну вот, милай, ну... дай я тебя поцелую!

Потом пели морские песни: «Славное море — священный Байкал», «Варяг»; капитан тут же за столом обучил всех песне «Северный флот не подведет».

Вскоре его отнесли на воздух, надели шапку и усадили на лавочке. Он сидел и плакал. Слезы текли по небритому еще с вагона лицу, собирались на подбородке и капали в жадный песок. Он говорил что-то и грозил в темноту — видно, что-то привиделось или вспомнилось, что-то свое, известное ему одному.

Горе сменилось, теперь он хрипло смеялся, мотал худой головой и бил себя по колену; потом повторил раз двадцать: «Помереть на флоте — ни в жисть», упал с лавки, улыбнулся и заснул.

Его подобрали и отнесли в дом, чтоб не застудился.

Капитана отпустили через неделю. Он всучил — таки тетке Марии оставшиеся деньги, прибавив от себя. Тетка смущалась, махала руками, говорила, что не возьмет, что Бог ее за это накажет.

Его долго вспоминали, желали ему через бога здоровья счастья в личной жизни и много детей.

А вскоре после этого случая в дом к тетке Марии ворвался кто-то в огромной черной шинели, схватил ее и затискал.

У тетки остановилось дыхание, она узнала Мишку, курносого, черноволосого, как в детстве.

Она вяло отпихнулась от него, села на случившийся табурет и замерла.

Она не слышала, что Мишка орал. Лицо ее как-то заострилось, она впервые почувствовала, как бьется ее сердце — бисерной ниточкой. Губы ее разжались, она вздохнула: «Бог наказал», — мягко упала с табурета на пол и умерла.

На деревне говорили: «Срок пришел», а вскрытие показало, что на момент смерти она была совершенно здорова.

Были поминки. Мишка, которому рассказали, что он вроде бы помер, напился и пел в углу; остальные пели «Варяга», «Славное море — священный Байкал» и «Северный флот не подведет».

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ МЕРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА

Что отличает военного от остальных двуногих? Многое отличает! Но прежде всего, я думаю, — умение петь в любое время и в любом месте.

К примеру, двадцать четыре экипажа наших подводных лодок могут в мирное время, в полном уме и свежем разуме, в минус двадцать собраться на плацу, построиться в каре и морозными глотками спеть Гимн Советского Союза.

А в середине плаца будет стоять и прислушиваться, хорошо ли поют, проверяющий из штаба базы, капитан первого ранга.

И прислушивается он потому, что это зачетное происходит пение, то есть — пение на зачет.

И проверяющий будет ходить вдоль строя и останавливаться, и, по всем законам физики, чем ближе он подходит, тем громче в том месте поют, и чем дальше — тем затухаистей.

Для некоторых будет божьим откровением, если я скажу, что подводники могут петь не только на плацу, но и в воскресенье в казарме, построившись в колонну по четыре, обозначая шаг на месте.

Это дело у нас называется «мерлезонским балетом».

— На мес - те... ша - го - м... марш!

И пошли. Раз - два - три... Раз - два - три... Раз - два - три...

— Идти не в ногу...

Конечно, не в ногу. А то потолок рухнет. Обязательно рухнет. Это же наш потолок, в нашей казарме... всенепременнейше рухнет... Раз - два - три... Раз - два - три...

Так мы всегда к строевому смотру готовимся к смотру с песней; маршируем на месте и песню орем. Отрабатываемся. Спрашиваем только

— Офицеры спереди?

Нам говорят:

— Спереди, спереди, становитесь.

Становимся спереди и начинаем выть:

— Мы службу отслужим, пойдем по домам...

— Отставить петь! Петь только по команде!

Раз - два - три...

Правифланговым у нас рыжий штурман. Он у нас ротный завала. Он прослужил на флоте больше, чем я прожил, уцелел каким-то чудом, и на этом основании петь любил.

Как он поет, это надо видеть. Я видел: лицо горит, — на нем, на лице, полно всякой мимики; эта мимика устремляется вверх и, дойдя до какой-то эпической точки, возвращается вниз — ать-два, ать-два! Глотка луженая, в ней — тридцать два зуба, из которых только тринадцать — своих.

— За-пе-ва-й! — подается команда, и тут штурман как гаркнет.

— И тогда! Вода нам как земля!

А мы подхватываем:

— И тогда... нам экипаж семья... И тогда любой из нас не против... Хотя всю жизнь... служить в военном флоте...

Песню для смотра мы готовим не одну, а две. В те времена недалекие песни пелись флотом зазорные и удивительные. Вот послушайте, что мы пели в полном уме и свежем разуме:

— Если решатся враги на войну... Мы им устроим прогулку по дну... Северный флот... Северный флот... Северный флот... не подведет...

И еще раз...

— Северный флот... плюнь ему в рот, Северный флот... не подведет...

Ну, конечно, «плюнь ему в рот» — это наша отсебятина, но насчет всего остального — это, извините, к автору.

Правда, положила руку на сердце, надо сказать, что нам, на нашем экипаже, еще хорошо живется. Грех жаловаться. Мы хоть и в воскресенье уродуемся, но все же все это происходит до обеда, и нас действительно домой отпускают, если мы поем прилично, а вот за стенкой у нас живет экипаж Чеботарева — «бешеного Чеботаря», вот там — да-а! Там — кино. Финиш! Перед каждым смотром, каждое воскресенье, они, независимо от качества пения, поют с утра и до 23-х часов. В 23.00 — доклад, и в 23.30 — по домам!

А дома у них в соседней губе. Туда пешком бежать — часа четыре. А в 8 часов утра, будьте любезны, — опять в ствол. Вот где песня была! Вот где жизнь! И койки у нас за стенкой дрожали и с места трогались, когда через переборку звенело:

— Северный флот... Северный флот... Северный флот.. не подведет...

ВТОРАЯ ЧАСТЬ МЕРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА

Плац. Воздух льдистый. На плацу — экипажи. Наш экипаж — третий на очереди. Петь сейчас будем. На зачет.

Мороз с лицами творит что - то невообразимое: вместо лиц — застывшее мясо.

Но план есть план. По плану пение. Плану плевать, что мороз под тридцать.

Над строями стоит пар. Дышим вполгруды: иначе от кашля зай - дешься как петь — неизвестно.

— Рав - ний - сь! Смир - но! Пря - мо... ша - го - м... ма - рш!

Ну, началось...

Через полчаса все экипажи каким - то чудом песню сдали и — бегом в казарму. А нас третий раз крутят. Не получается у нас. Не идет песня. В казарме получалась, а здесь — ни в какую.

После третьего захода начштаба машет рукой и говорит ко - мандиру:

— Командир! Занимайтесь сами. Предъявите по готовности.

После этого начштаба исчезает.

— Старпом! — говорит командир. — Экипаж уйдет с плаца тогда, когда споет нормально! — сказал и тоже исчез.

Остаемся мы и старпом. Старпом злой как собака. Нет, как сто собак. Лицо у него белое.

— Экипаж! Рав - ний - сь! Одновременный рывок голов! Петров! Я для кого говорю! Отставить. Рав - ний - сь! Смир - но! Ша - го - м! Марш!.. Песню!.. Запе - вай!

— ...Если решатся враги на войну...

От холода мы уже не соображаем. Ног не чувствуется как на дровах идешь.

— Отставить песню! Раз - два - три! Раз - два - три .. Песню за - певай!

Итак десять раз. Старпом нас гоняет как проклятых. От мороза в глазах стоят слезы.

— Песню!.. Запе - вай!..

И тут — молчание. Строй молчит, как один человек. Не сгова - риваясь. Только злое дыхание и — все.

— Песню!.. Запе - вай!..

Молчание и топот ног.

— Эки - паж. стой!.. Нале - во! Рав - няй - сь! Смир - но! Воль - но! Почему не поем? Учтите, не споете как положено, не уйдем с плаца. Всем ясно?! Напра - во! Рав - ня - сь! Смир - но! С места... ша - го - ом... марш! Песню... запе - вай!

И молчание. Теперь оно уже уверенное. Только стук ног — тук, тук, тук, — да дыхание. Какое - то время так и идем. Потом штурман густым голосом затягивает.

— Россия... березки... тополя... — он поет только эти три слова, но зато на все лады.

За штурманом подтягиваемся и мы:

— Россия... березки... тополя...

Старпом молчит. Строй сам, без команды, поворачивает и идет в казарму. Набыченный старпом идет рядом. Тук - тук, тук - тук — тукуют в землю деревянные ноги, и до самых дверей казармы не - сется

— Россия... березки... тополя...

НА ЗАБОРЕ

Ночь. Забор. Вы когда - нибудь сидели ночью на заборе? Нет, вы никогда не сидели ночью на заборе, и вам не узнать, не почув - ствовать, как хочется по ночам жить, когда рядом в кустах шуршит, стучит, стрекочет сверчок, цикада или кто - то еще. У ночи густой, пряный запах, звезды смотрят на вас с высоты, и луна выглядывает из облаков только для того, чтоб облить волшебным светом всю при - роду; и того, на заборе, — волшебным светом. А вдоль забора трава в пояс, вся в огоньках и искрах, и огромные копны перекати - поля, колючие, как зараза.

Командир роты, прозванный за свой нос, репообразность и общую деревянность Буратино, даже не подозревал, что ночью на заборе может быть так хорошо. Он сидел минут двадцать, переодетый в форму третьекурсника, в надежде поймать подчиненных, идущих в самоход.

Но ночь, ночь вошла; ночь повернула; ночь мягко приняла его в свои объятия, прижала его, как сына, к своей теплой груди, и он по - чувствовал себя ребенком, дитем природы, и незаметно размечтался о жизни в шалаше после демобилизации. Утро. Роса. Трава, тяжелая,

спутанная, как волосы любимой. Туман, живой, как амеба. Удочка. Поплавок. Дальше бедное флотское воображение Буратино, до сих пор способное нарисовать только строевые приемы на месте и в движении, шло по кругу: опять утро, опять трава, кусты...

В кустах зашевелилось. Муза кончилась. Буратино встрепенулся как сова на насесте, и закрутил тем, что у других двуногих называется башкой. На забор взбиралось, кряхтело и воняло издалека. В серебряном свете луны мелькнули нашивки пятого курса.

— Товарищ курсант, стойте! — просипел среди общего пейзажа Буратино, обливаемый лунным светом, похожий там, где его облило, на Алешу Поповича, а где не облило — на американского ковбоя.

Пятикурсник, перекидывая ногу через забор, задержался, как прыгун в стоп - кадре, и вскинул ладонь ко лбу. Теперь в облитых местах он был крупно похож на Илью Муромца, высматривающего монгола.

— Ага, — сказал он, увидев три галочки.

И не успело его «ага» растаять в природе, как он хлопнул Буратино по деревянным ушам ладошками с обеих сторон. Хлоп! Так все мы в детстве играли в ладушки.

Природа опрокинулась. Буратино, завизжав зацепившимися штанами, кудахнул, пролетев до дна копну перекасти - поля. А когда он пришел в себя, среди тишины, в непрерывном колючем кружеве, он увидел луну. Она обливала.

ФРЕЙЛИНА ДВОРА

— Лий - ти - нант! Вы у меня будете заглядывать в жерло каждого матросу! — Командир — лысоватый, седоватый, с глазами на выкате — уставился на только что представившегося ему, «по случаю дальнейшего прохождения», лейтенанта - медика — в парадной тужурке, — только что прибывшего служить из Медицинской академии.

Вокруг — пирс, экипаж, лодка.

От такого приветствия лейтенант онемел. Столбовой интеллигент: прабабка — фрейлина двора; дедушка — академик вместе с Курчатовым; бабушка — академик вместе с Александровым; папа

— академик вместе с мамой; тетка — профессор и действительный член, еще одна тетка — почетный член! И все пожизненно в Бри - танском географическом обществе!

Хорошо, что командир ничего не знал про фрейлину двора, а то б не обошлось без командирских умозаключений относительно средств ее существования.

— Вы гов - но, лейтенант! — продекламировал командир. — Повторите! — Лейтенант — как обухом по голове — повторил и — Вы говно, лейтенант, повторите! — и лейтенант опять повторил.

— И вы останетесь гов - ном до тех пор, пока не сдадите на допуск к самостоятельному управлению отсеком. Пи - ро - го - вым вы не будете. Мне нужен офицер, а не клистирная труба! Командир отсека — а не давящий клопов медик! Вы научитесь ползать, лейте - нант! Ни - как - ких сходов на берег! Жену отправить в Ленинград. Жить на железе. На же - ле - зе! Все! А теперь поздравляю вас со срочным погружением в задницу!

— Внимание личного состава! — обратился командир к строю. — В наши стройные ряды вливается еще один. обманутый на всю оставшуюся жизнь. Пе - ре - д вами наша ме - ди - ци - на!!!

Офицеры, мичмана и матросы изобразили гомерический хо - хот.

Командир еще что - то говорил, прерываемый хохотом масс, а лейтенант отключился. Он стоял и пробовал как - то улыбаться.

Под музыку можно грезить. Под музыку командирского голоса, вылетающего, как ни странно, из командирского рта, лейтенанту грезилась поля навозные.

Молодой лейтенант на флоте беззащитен. Это моллюск, у ко - торого не отросла раковина. Он или погибает, или она у него отрастает.

«Офицерская честь» — павший афоризм, а слова «человечес - кое достоинство» — вызывают у офицеров дикий хохот, так сме - ются пьяные проститутки, когда с ними вдруг говорят о любви.

Лейтенант - медик, рафинированный интеллигент, — его шесть лет учили, все это происходило на «вы», интернатура, полный дом академиков, — решил покончить с собой — пошел и наглотался таблеток. Еле откачали.

Командира вызвали к комдиву и на парткомиссию.

— Ты чего это... старый, облупленный, седоватый, облезлый,

лупоглазый козел, лейтенантов истребляешь? Совсем нюх потерял? — сказал ему комдив.

То же самое, только в несколько более плоской форме, ему сказали на парткомиссии и вlepили выговор. Там же он узнал про чувство собственного достоинства у лейтенанта, про академиков, Британское географическое общество и фрейлину двора.

Командир вылетел с парткомиссии бешеный.

— Где этот наш недолизанный лейтенант? У них благородное происхождение! Дайте мне его, я его долижу!

И обстоятельства позволили ему долизать лейтенанта.

— Лий - ти - нант, к такой - то матери, — сказал командир по слогам, — имея бабушку, про - с - ти - ту - т - ку двора Ее Величества и британских географических членов со связями в белой эмиграции, нужно быть по - л - ны - м и - ди - о - то - м, чтобы попасть на флот! Флот у нас — рабоче - крестьянский! А подводный — тем более. И служат здесь должны рабоче - крестьяне. Великие дети здесь не служат. Срочные погружения не для элиты! Вас обидели? Запомни - те, лейтенант! Вам за все заплачено! Деньгами! Продано, лейтенант, продано. Обманули и продали. И ничего тут девочку изображать. Поздно. Офицер, как ра - бы - ня на помосте, может рыдать на весь базар — никто не услышит. Так что ползать вы у меня будете!

Лейтенант пошел и повесился. Его успели снять и привести в чувство.

Командира вызвали и вставили ему стержень от земли до неба.

— А - а - а, — заорал командир, — х - х - х, так!!! — и помчался доставать лейтенанта.

— Почему вы не повесились, лейтенант? Я спрашиваю, почему? Вы же должны были повеситься? Я должен был прийти, а вы должны были уже висеть! Ах, мы не умеем, нас не научили, бабушки - академики, сифилитики с кибернетиками. Не умеете вешаться — не мусольте шею! А уж если припичило, то это надо делать не на моем экипаже, чтоб не портить мне показатели соцсоревнования и атмосферу охватившего нас внезапно всеобщего подъема! ВОН ОТСЮДА!

Лейтенант прослужил на флоте ровно семь дней! Вмешалась пра - бабушка — фрейлина двора, со связями в белой эмиграции, Британское географическое общество, со всеми своими членами; напряглись академики, — и он улетел в Ленинград... к такой - то матери...

У - ТЮ - ТЮ, МАЛЕНЬКИЙ

Службу на флоте нельзя воспринимать всерьез, иначе спятишь. И начальника нельзя воспринимать всерьез. И орет он на тебя не потому, что орет, а потому что начальник — ему по штату положено. Не может он по-другому. Он орет, а ты стоишь и думаешь:

— Вот летела корова... и, пролетая над тобой, любимый ты мой, наделала та корова тебе прямо... — и тут главное, во время процесса, не улыбнуться, а то начальника кондратий хватит, в горле поперхнет, и умрет он, и дадут тебе другого начальника.

Но лучше всего во время разноса не думать ни о чем, отключаться: только он прорвался к твоему телу, а ты — хлоп, и вырубился. А еще можно мечтать: стоишь... и мечтаешь...

— ЦДГ!

— Есть ЦДГ!

Центральный вызывает, вот черт!

— Начим есть?

— Есть.

— Вас в центральный пост.

Вот так всегда: только подумает о начальнике, а он тут как тут. Ну, теперь расслабьтесь. На лицо — страх и замученный взгляд девочки-полонянки.

— Идите сюда!.. Ближе!.. Нечего трястись! Вы — кто?! Я вас спрашиваю: вы — кто? Я вам что? Я вам кто?! Кто! Кто! Кто!

Про себя медленно: «Дед Пихто!»

— Почему не доложили?! Почему? Я вас спрашиваю — почему?!

Ой! О чем он?

— Очнитесь, вы очарованы! Я спрашиваю: где? Где?!

Под «где» такая масса смешных ответов, просто диву иногда даешься. Но главное, чтоб на лице читался страх — за взыскание, за перевод, за все. Пусть читается страх. А внутри мозг себе нужно заблокировать. Сейчас мы этим и займемся, благо что времени у нас навалом. Прекрасные бывают блоки. У некоторых получается так хорошо и сразу, что трудности только с возвращением в тот верхний, удивительный мир. Например, он к тебе уже приступил, а ты представляешь себе арбуз. Тяжелый. Попочка должна быть маленькой, это я про арбуз, а маковка — большой. Только тронешь — сразу треснет. И вгрызаемся. И потекло по рукам. Можно теперь

немножко посмотреть, что там он делает.

— Когда?! Когда?! Когда это случилось?!

Ой, что тут творится! Ой, сколько слюней!

— ...в приказе! Не сойдете с корабля! Сдохнете!!! Да! Я вам покажу!..

Интересно, что...

— Я вас научу!

— Интересно, чему...

— Вить у меня будете!

Ах, этому...

— Вить!!! И грызть железо! Вот вам сход, вот!

Ой, какие неприличные у нас жесты.

— Вот... вам перевод! Вот... вам... в рот... ручку от зонтика!

Обсосетесь!!!

Ну что за выражения. И вообще, Саша, с кем ты служишь? Где мама дала ему высшее образование?

— Запрещаю вам сход навсегда! Сгниете здесь! ВОТ ТАК ВОТ! Чего нос воротите?! Чего нос... каждый день мне доклад! Слышите? Каждый божий день!

У - то - то, маленький, ну чего ж ты так орешь, а?

— ...и зачетный лист... сегодня же! У помощника! Лично мне будете все сдавать! Вот так... да... а вы думали... Жить начнем по новой! Никуда вы не переведетесь! Сгниете здесь! Вместе сгнием! А вот когда вы приползете... вот тогда...

Ну, какие дикие у нас мечты.

— Да, да, да! Вот тогда посмотрим! ВОН ОТСЮДА - А!

Ох и пасть! Пропасть. Ну и пасть, чтоб им пропасть. Медленно по трапу — «рожденный ползать, летать не может». А как хотелось. Бабочкой. Махаоном. И по полю. До горизонта. Небо синее. Далеко - далеко. Головенка безмозглая. Ни черта там нет. Совсем ничего. А иначе как бы мы сюда попали, целоваться в клюз. . Теперь — увы нам...

ЛОШАДЬ

— Почему зад зашит?!

Я обернулся и увидел нашего коменданта. Он смотрел на меня.

— Почему у вас зашит зад?!

А - а... это он про шинель. Шинель у меня новая, а складку на спине я еще не распустил. Это он про складку.

— Разорвите себе зад, или я вам его разорву!!!

— Есть... разорвать себе зад...

Все коменданты отлиты из одной формы. Рожа в рожу. Одинаковы. Не искажены глубокой внутренней жизнью. Сицилийские братья. А наш уж точно — головной образец. В поселке его не любят даже собаки, а воины - строители, самые примитивные из приматов, те ненавидят его и днем и ночью; то лом ему вварят вместо батареи, то паркет унесут. Позволят комендантской жене и скажут:

— Комендант прислал нас паркет перестелить, — (наш комендант большой любитель дешевой рабочей силы). — Соберут паркет в мешок, и привез!

А однажды они привели ему на четвертый этаж голодную лошадь. Обернули ей тряпками копыта и притащили. Привязали ее ноздрями за ручку двери, позвонили и слиняли.

Четыре утра. Комендант в трусах до колена, спросонья:

— Кто?

Лошадь за дверью.

— Уф!

— Что? — комендант посмотрел в глазок.

Кто - то стоит. Рыжий. Щелкнул замок, комендант потянул дверь, и лошадь, удивляя запятившегося коменданта, вошла в прихожую, заполнив ее всю. Вплотную. Справа — вешалка, слева — полка.

— Брысь! — сказал ей комендант. — Эй, кыш.

— Уф! — сказала лошадь и, обратив внимание влево, съела японский календарь.

— Ах ты, зараза с кишками! — сказал шепотом комендант, чтоб не разбудить домашних.

Дверь открыта, лошадь стоит, по ногам дует. Он отвязал ее от двери и стал выталкивать, но она приседала, мотала головой и ни в какую не хотела покидать прихожей.

— Ах ты, дрянь! Дрянь! — Комендант встал на четвереньки. — Лярва караванная! — и прополз у лошади между копытами на ту сторону. Там он встал и закрыл дверь. Пока придумаешь, что с ней делать, ангину схватишь.

— Скотина! — сказал комендант, ничего не придумав, лошади

в зад и ткнул в него обеими руками.

Лошадь легко двинулась в комнату, снабдив коменданта запахом свежего навоза. Комендант, резво замелькав, обежал эту кучу и поскакал за ней, за лошадью, держась у стремени, пытаясь с ходу развернуть ее в комнате на выход.

Лошадь по дороге, потянувшись до горшка с традесканцией, лихо — вжик! — ее мотанула. И приземлился горшочек коменданту на темечко. Вселенная разлетелась, блеснув!

От грохота проснулась жена. Жена зажгла бра.

— Коля... чего там?

Комендант Коля, сидя на полу, пытался собрать по осколкам череп и впечатления от всей своей жизни.

— Господи, опять чего-то уронил, — прошипела жена и задремала с досады.

Лошадь одним вдохом выпила аквариум, заскользила по паркету передними копытами и въехала в спальню.

Почувствовав над собой нависшее дыхание, жена Коли открыла глаза. Не знаю, как в четыре утра выглядит морда лошади, — с ноздрями, с губами, с зубами, — дожевывающая аквариумных рыбок. Впечатляет, наверное, когда над тобой нависает, а ты еще спишь и думаешь, что все это дышит мерзавец Коля. Открываешь глаза и видишь... зубы — клац! клац! — жуть вампирная.

Долгий крик из спальни возвестил об этом поселку.

Лошадь выгаскивали всем населением.

Уходя, она лягнула сервант.

Я — ЗВЕРЕВ!

Те, что долго толкаются на флоте, знают всех. Как собаки с одного района — подбежал, понюхал за ножкой — свой!

Если вам не надо объяснять, почему на флоте нет больных, а есть только живые и мертвые, значит, вы должны знать Мишу Зверева, старшего помощника начальника штаба дивизии атомоходов, капитана второго ранга.

Когда он получил своего «кап - два», он шлялся по пирсу пьяненький и орал в три часа ночи, весь в розовом закате, нижним слоям атмосферы:

— Звезда! Нашла! Своего! Героя!

У него была молодая жена. Придя с моря, он всегда ей звонил и оповещал: «Гони всех, я начал движение», — и жена встречала его в полном ажуре, как у нас говорят, по стойке «смирно»; закусив подол. И он никогда не находил свои в беспорядке брошенные рога. Всегда все было в полном порядке.

С ним все время происходили какие-нибудь маленькие истории: то колами побьют на Рижском взморье, потому что рядом уехали мотоцикл, а рога у Миши не внушают доверия, то еще что-нибудь.

Он обожал их рассказывать. При этом он улыбался, смотрел мечтательно вдаль и рассказывал не торопясь, с паузами для смеха, поджидая отстающих. Обычно это происходило после обеда, когда все уже наковырялись в тарелках. Рассказ начинался с такого романтического взгляда поверх голов, кают-компания замирала, а Миша вздыхал и начинал с грустной улыбкой:

— Родился я в Нечерноземье... на одном полустанке... едри его мать... Мда-а... Так вот, в отпуске я задумал однажды сходить в баню...

Для того чтобы сократить количество «едри его мать» до необходимого минимума, расскажем всю историю сами.

Перед баней он оброс недельной щетиной до самых глаз, надел ватничек на голое тело, треух, синие репсовые штаны, наши флотские дырявые сандалии на босую ногу, взял под мышку березовый веник и двинулся не спеша.

А вокруг лето; птички чирикают; воздух, цветы, настроение, свобода!

Давно замечено, что чем дальше от флота, тем лучше твое настроение, и чем ближе к флоту, тем оно все пакостней и пакостней, а непосредственно на флоте — оно и вовсе никуда не годится.

Далеко от флота ты хорошо дышишь, шутишь, смеешься веселый, говоришь и делаешь всякие глупости, как все прочее гражданское население.

Для того чтоб дойти до бани, нужно миновать полустанок. На нем как раз остановился какой-то воинский эшелон. У ближайшего вагона стоял часовой. Ну какой строевик, я вас спрашиваю, пройдет спокойно мимо солдата и ничего не скажет? Это ж так же тяжело, как псу пройти мимо столба.

Миша не мог пройти, он почувствовал сопричастность, остано-

вился и подошел.

— Откуда едете?

Часовой покосился на него и хмуро буркнул:

— Откуда надо, оттуда и едем.

— А куда едете?

— Куда надо... туда и едем...

— А что везете - то?

— А что надо... то и везем...

— Ну ладно, сынок, служи, охраняй. Родина тебе доверила, так что давай бди! А я пошел.

— Куда ж ты пошел, дядя — скинул часовой с плеча карабин и передернул затвор, — стой, стрелять буду...

Капитан, начальник эшелона, с трудом оторвал голову от стола. Вид у него был синюшный (их бин больно).

Перед ним стоял Миша Зверев, и сквозь дремучую щетину на капитана смотрели веселые глаза.

— Здравствуйте, хе - хе...

— Здравствуйте...

— Вот, взяли... хе - хе... — некстати захекал Миша.

— Интересовался, — вылез вперед часовой, — куда едем, что везем.

— Молодец, Петров! — прокашлял капитан. — Документы есть?

— Как - кие документы, отец родной? — сказал Миша. — Я же в баню шел...

— Значит, так! Особый отдел мы с тобой не возим. Поэтому на станции сдадим.

— Товарищ капитан, я — капитан второго ранга Зверев, старший помощник начальника штаба, я документы могу принести, если надо!

— Не надо, — сказал капитан, застряв взглядом в Мишиной щетине. — Сидоров!

Появился Сидоров, который был на три головы больше того, что себе физически можно представить.

— Так, Сидоров, заверни товарища... м - м... старшего помощника начальника штаба... и в тот, дальний штабной вагон. Писать не выводить, пусть там делает. Ну, и так далее...

Сидоров завернул товарища (старшего помощника начальника штаба) под мышку и отнес его в тот дальний вагон, бросил ворохом на пол и — со словами: «Ша, Маша» — закрыл дверь.

«В вагоне раньше ехали лошади», — успел подумать Миша. Дернуло. От толчка он резко пробежался на четвереньках, остановился, подобрал веник и рассмеялся.

— Надо же, — сказал он, — поехали...

Вагон как вагон. Перестук колес располагал к осмыслению, и Миша расположился к осмыслению прямо на соломе.

Скором остановились. Станция. Зверев вскочил и заволновался. Сейчас за ним придут. «Это что ж за станция? — все беспокоился и беспокоился он. — Не видно. Черт знает что! Чего же они?» За ним не шли.

— Эй! — высунулся он в окошко, перепоясанное колючей проволокой. — Скажите там командиру эшелона! Я — Зверев! Я — старший помощник начальника штаба! — обращался он ко всем подряд, и все подряд пугались его неожиданной физиономии, а одна бабка так расчувствовалась, от внезапности, что сказала: «О-о, господи!» — ослабела и села во что-то, чвакнув.

Миша хохотал над ней как безумный, пока вагон не дернуло. О нем явно забыли. Станции мелькали, и на каждой он орал, подкарауливая у окошка прохожих «Я — Зверев! Скажите! Я — Зверев!»

Через трое суток в Ярославле о нем вспомнили («У нас там был этот... как его... начальник штаба») и сдали в КГБ.

За трое суток он превратился в дикое, волосатое, взерошенное существо, с выпученными глазами и острым кадыком. Пахло от него так, что вокруг носились взволнованные мужи.

— Ну? — спросили его в КГБ.

— Я — Зверев! — заявил он с видом среднего каторжанина. — Я — старший помощник начальника штаба! — добавил он не без гордости и подмигнул. Мигать не хотелось, просто так получилось. Роба — самая галерная.

— Документы есть?

— Как-ки-е до-ку-мен-ты? — в который раз задохнулся Миша. — Я в баню шел! Вот! — и в доказательство он сунул им под нос веник, которым иногда подметал в вагоне.

— А чем вы еще можете доказать?

— Что?

— Ну то, что вы — Зверев.

Миша осмотрел себя и ничего не нашел. И тут он вспомнил. Вспомнил! Что в Ярославле у него есть дядя Ы-ы! Родной! Двадцать

лет не виделись!

— Дядя у меня есть! — вскричал он. — Ы - ы! Родной! Двадцать лет не виделись! Родной дядя! Едри - его - мать!

К дяде поехали уже к ночи.

— Вы такой - то?..

— Я... такой - то...

— Одевайтесь!

И дядя вспомнил то героическое время, когда по ночам выясняли, кто ты такой.

Родного дядю привезли вместе с сандалиями. Когда он вошел в помещение, к нему из угла, растопырив цепкие руки, метнулось странное существо.

— Дядя! Родной! — верещало оно противно, дышало гнилым пищеводом и наждачило щеку.

— Какой я тебе дядя?! Преступник!.. — освобождался дядя, шлепая существо по рукам.

Дядю успокоили, и под настольной лампой он признал племянника и прослезился.

— Служба у нас такая, — извинились перед ним, — вы знаете, черт его знает, а вдруг...

— Да! Да!.. — повторял радостный дядя. — Черт его знает! — и пожимал руки КГБ, племяннику и самому себе. Радующегося непрерывно, его увезли домой.

— А вы, товарищ Зверев, если хотите, можете прямо сейчас идти на вокзал. Здесь недалеко. А мы позвоним.

На вокзал он попал в четыре утра. Серо, сыро, и окошко закрыто. Миша постучал, тетка открыла.

— Я — Зверев! — сунул он свою рожу. — Мне билет нужен. Вам звонили.

— Давайте деньги.

— Какие деньги? Я же без денег! Ты что, кукла, — он заскреб щетиной по прилавку, — совсем, что ли, людей не понимаешь?

«Кукла» закрыла форточку.

Нервы, расшатанные вагоном, КГБ и дядей, не выдержали.

— Я — Зверев! — замолотил он в окошко. — Я — от КГБ! Вам звонили! Я — от КГБ! От! Ка! Ге! Бе! — скандировал он.

Тетка взялась за телефон:

— Здесь хулиганяя!

Миша молотил и молотил.

— Я — Зверев! Открой! Эй!

За его спиной уже минут пять стоял милиционер. Он дождался, когда Миша устал, и вежливо постучал его по плечу. Миша обернулся

— Вы Зверев?

— Да - а... — Миша до того растерялся оттого, что его хоть кто - то сразу признал, что расплакался и дал себя связать. В машине он припадал к милиционерскому плечу и, слюнявя его, твердил, что он — Зверев, что он — в баню, что он — в КГБ...

— Знаем, знаем, — говорили ему мудрые милиционеры.

— А я еще старший начальник помощника штаба! — останавливался среди соплей Миша и, отстранившись и вперившись, напрядженно искал возражений.

— Видим, видим, — отвечали ему милиционеры.

Мудрые милиционеры сдали его немудрым, а те заперли его до понедельника.

Миша замолотил опять.

— Я — Зверев! Сообщите в КГБ! Я — Зверев!

— А почему не в ООН? Пересу де Куэльяру, ему тоже будет интересно, — говорили немудрые и пожимали плечами. — Ну, так нельзя! Не дают работать. Накостылять ему, что ли? Чутьочку... — и накостыляли...

В конце концов в понедельник все разобрались во всем! (Едри его мать!) КГБ с милицией проводили его на вокзал, вручили ему билет, посадили в поезд, и он начал обратный путь на свой полустанок...

Когда он слез с поезда, от него шарахнулись даже гуси. Миша пробирался домой огородами. Подойдя ближе, он услышал музыку. В его доме творилось веселье. Миша присел в кустах. Жизнь научила его осторожности.

Вскоре на крыльцо вывалился друг детства Вася. Вывалился, встал с криком и отправился в кусты, гундося и расстегиваясь по дороге. У кустов он остановился, закачался, схватил себя посередине, и из него тут же забил длинненький фонтанчик.

Когда фонтанчик свое почти отметал, навстречу ему из кустов вдруг поднялось странное создание.

— Чего это здесь?.. А? Вася? — спросило создание голосом Мишки.

— Вот надо же было так упиться! — сказал Вася — Привидится же такое... — и, сунув недоделанный фонтанчик в штаны, повернул к дому.

— Стой! — одним махом настиг его Миша, и Вася засучил ножками, утаскиваемый.

Оказалось, что Мишу всем полустанком дней десять искали баграми на озере, а потом решили — хорош! — и справили поминки.

ГДЕ ВЫ БЫЛИ?

— Где вы были?

— Кто? Я?

— Да, да, вы! Где вы были?

— Где я был?

Комдив - раз — командир первого дивизиона — пытается Колю Митрофанова, командира группы.

— Я был на месте.

— Не было вас на месте. Где вы были?

Лодка только прибыла с контрольного выхода перед автономной, и Колюня свалил с корабля прямо в ватнике и маркированных ботинках. Еще вывод ГЭУ¹ не начался, а его уже след простыл.

— Где вы были?

— Кто? Я?

— Нет, вы на него посмотрите, дитя подзаборное, да, да, именно вы, где вы были?

— Где я был?

Колоша на перекладных был в Мурманске через три часа. Просто повезло юноше бледному. А в аэропорту он был через четыре часа. Сел в самолет и улетел в Ленинград. Ровно в семь утра он был уже в Ленинграде.

— Где вы были?

— Кто? Я?

— Да, да! — Вы, вы, голубь мой, вы — яхонт, где вы были?

— Я был где все.

¹ГЭУ — главная энергетическая установка.

— А где все были?

Шинель у Коленки висела в каюте; там же ботинки, фуражка. Его хватились часа через четыре. Все говорили, что он здесь где-то шляется или спит где-то тут.

— Где вы были?!

— Кто? Я?

— ДА! ДА! Вы!! — сука, где вы были?!

— Ну, Владимир Семенович, ну что вы в самом деле, ну где я мог быть?

— Где вы были, я вас спрашиваю?!

За десять часов в Ленинграде Коля успел: встретить незнакомую девушку, совершить с ней массу интересных дел и вылететь обратно в Мурманск. Отсутствовал он, в общей сложности, двадцать часов.

— Где вы были, я вас спрашиваю?!

— КТО? Я?

— Да, сука, вы! Вы, кларнет вам в жопу! Где вы были?

— Я был в отсеке.

Комдив чуть не захлебнулся.

— В отсеке?! В отсеке?! Где вы были?!!!

Я ушел из каюты, чтоб не слышать эти вопли венского леса.

«БОТИК ПЕТРА ПЕРВОГО»

Закончился опрос жалоб и заявлений, но личный состав, разведенный по категориям, остался в строю.

— Приступить к опросу функциональных обязанностей, знаний статей устава, осмотру формы одежды! — прокаркал начальник штаба.

Огромный нос начальника штаба был главным виновником его клички, известной всем — от адмирала до рассыльного, — Долгоносик.

Шел инспекторский строевой смотр. К нему долго готовились и тренировались: десятки раз разводили экипажи подводных лодок под барабан и строили их по категориям: то есть в одну шеренгу — командиры, в другую — замы со старпомами, потом — старшие офицеры, а затем уже — мелочь россыпью.

В шеренге старших офицеров стоял огромный капитан второго ранга, командир БЧ-5, по кличке «Ботик Петра Первого», старый, как дерьмо мамонта, — на флоте так долго не живут. Он весь

растрескался, как такыр, от времени и невзгод. В строю он мирно дремал, нагретый с заливка мазками весеннего солнца; кожа на лице у него задубела, как на ногах у слона. Он видел все. Он не имел ни жалоб, ни заявлений и не помнил, с какого конца начинают его функциональные обязанности.

Перед ним остановился проверяющий из Москвы, отглаженный и свежий капитан третьего ранга (два выходных в неделю), служащий центрального аппарата, или, как их еще зовут на флоте, — «подшакальник».

«Служащий» сделал строевую стойку и...

— Товарищ капитан второго ранга, доложите мне... — проверяющий порылся в узелках своей памяти, нашел нужный и про светлел ответственно, — ...текст присяги!

Произошел толчок, похожий на щелчок выключателя; веки у «Ботика» дрогнули, поползли в разные стороны, открылся один глаз, посмотрел на мир, за ним другой. Изображение проверяющего замутило, качнулось и начало кристаллизоваться. И он его увидел и услышал. Внутри у «Ботика» что-то вспучилось, лопнуло, возмутилось. Он открыл рот и...

— Пошшел ты... — и в нескольких следующих буквах «Ботик» обозначил проверяющему направление движения. Ежесекундно на флоте несколько тысяч глоток произносят это направление.

— Что?! — не понял проверяющий из Москвы (два выходных в неделю).

— Пошел ты... — специально для него повторил «Ботик Петра Первого» и закрыл глаза. Хорош! На сегодня он решил их больше не открывать.

Младший проверяющий бросился на розыски старшего проверяющего из Москвы.

— А вот там... а вот он... — взбалмошно и жалобно доносились где-то с краю.

— Кто?! — слышался старший проверяющий. — Где?!

И вот они стоят вдвоем у «Ботика Петра Первого».

Старшему проверяющему достаточно было только взглянуть, чтобы все понять, он умел ценить вечность. «Ботик» откупорил глаза — в них была пропасть серой влаги.

— Куда он тебя послал? — хрипло наклонился старший к младшему, не отрываясь от «Ботика».

Младший почтительно потянулся к уху начальства.

— Мда - а? — недоверчиво протянул старший и спокойно заметил. — Ну и иди, куда послали. Спрашиваешь всякую... — и тут старший проверяющий позволил себе выражение, несомненно относящееся к животному миру нашей родной планеты.

— Закончить опрос функциональных обязанностей! — протяжно продолгоносил начальник штаба. — Приступить к строевым приемам на месте и в движении!

БАБОЧКА

Офицер свихнуться не может. Он просто не должен свихнуться. По идее — не должен.

Бывают, правда, отдельные случаи. Помню, был такой офицер, который на эсминце «Грозный» исполнял, кроме трех должностей одновременно, еще и должность помощника командира.

Его год не спускали на берег. Сначала он просился как собака под дверь: все ходил, скулил все, а потом затих в углу и сошел с ума.

Его сняли с борта, поместили в госпиталь, потом еще куда - то, а потом уволили по - тихому в запас.

Говорят, когда он шел с корабля, он смеялся, как ребенок. Бывает, конечно, у нас такое, но чаще всего офицер, если окружающим что - то начинает казаться, все же дурочку валяет — это ему в запас уйти хочется, офицеру, вот он и лепит горбатого.

Раньше в запас уйти сложно было; раньше нужно было или пить беспробудно, или, как уже говорилось, лепить горбатого.

Но лепить горбатого можно только тогда, когда у тебя способности есть, когда талант имеется и в придачу, соответствующая физиономия, когда есть склонность к импровизации, к театру есть склонность или там — к пантомиме..

Был у нас такой орел. Когда в магазине появились детские бабочки на колесиках, он купил одну на пробу.

Бабочка приводилась в действие прикрепленной к ней палочкой: нужно было идти и катить перед собой бабочку, держась за палочку; бабочка при этом махала крыльями.

Он водил ее на службу. Каждый день. На службу и со службы.

Долго водил: бабочка весело бежала рядом.

С того момента, как он бабочку водить стал, он онемел: все время молчал и улыбался.

С ним пытались говорить, беседовать, его проверяли: таскали по врачам. А он всюду ходил с бабочкой: открывалась дверь, и к врачу сначала впархивала бабочка, а потом уже он.

И к командиру дивизии он пошел с бабочкой, и к командую - щему...

Врачи пожимали плечами и говорили, что он здоров... хотя...

— Ну - ка, посмотрите вот сюда... нет... все вроде... до носа дотроньтесь...

Врачи пожимали плечами и не давали ему годности. Скоро его уволили в запас. На пенсию ему хватило. До вагона его провожал заместитель командира по политической части: случай был исклю - чительно тяжелый. Зам даже помог донести кое - что из вещей.

Верная бабочка бежала рядом, порхая под ногами прохожих и уворачиваясь от чемоданов. Перед вагоном она взмахнула крыльями в последний раз: он вошел в вагон, а ее, неразлучную, оставил на перроне.

Зам увидел и вспотел.

— Вадим Сергеич! — закричал зам, подхватив бабочку: как бы там в вагоне без бабочки что - нибудь не случилось; выбросится еще на ходу — не отпишешься потом. — Вадим Сергеич! — зам даже задохнулся — Бабочку... бабочку забыли... — суетился зам, пытаясь найти дверь вагона и в нее попасть.

— Не надо, — услышал он голос свьше, поднял голову и уви - дел его, спокойного, в окне, — не надо, — он смотрел на зама чудесными глазами, — оставь ее себе, дорогой, я поводил, теперь ты поводи, теперь твоя очередь... — с тем и уехал, а зам с тем и остался.

Или, вернее, с той: с бабочкой...

ХИМИК

— Где этот моральный урод?!

Слышите? Это меня старпом ищет. Сейчас он меня найдет и заорет:

— Куда вы суетесь со своим ампутированным мозгом?!

А теперь разрешите представиться: подводник флота Ее Величества России, начальник химической службы атомной подводной лодки, или, проще, — химик.

Одиннадцать лет Северный флот качал меня в своих ладонях и докачал до капитана третьего ранга.

— Доросли тут до капитана третьего ранга!!! — периодически выл и визжал мой старпом, после того как у него включалась вторая сигнальная система и появлялась, извините, речь, и я знал, что если мой старпом забился в злобной пене, значит, все я сделал правильно — но — дорос!

Умный на флоте дорастает до капитана первого ранга, мудрый — до третьего, а человек — легенда — только до старшего лейтенанта.

Нужно выбирать между капитаном первого ранга, мудростью и легендой.

«Кто бы ты ни был, радуйся солнцу!» — учили меня древние греки, и я радовался солнцу. Только солнцу и больше ничему.

Химия на флоте всегда помещалась где-то в районе гальюна и ящиков для противогазов.

— Нахимичили тут! — говорило эпизодически мое начальство, и я всегда удивлялся, почему при этом оно не зажимает себе нос.

Химик на флоте — это не профессиональный промысел, не этническая принадлежность и даже не окончательный диагноз.

Химик на флоте — это кличка. «Отзывается на кличку «химик»».

— Хы-мик! — кричали мне, и я бежал со всех ног, разлаписто мелькая, как цыпленок за ускользящим конвейером с пищей; и мне не надо было подавать дополнительных команд «Беги сюда» или «Беги отсюда». Свою кличку «химик» лично я воспринимал только с низкого старта.

— Наглец! — говорили мне.

— Виноват! — говорил я.

— Накажите его, — говорили уже не мне — и меня наказывали.

«НХС» — значилось у меня на карманной бирке и расшифровывалось друзьями как — «нахальный, хамовитый, скандальный».

— С вашим куриным пониманием всей сущности офицерской службы!!! — кричали мне в края моей ушной раковины, на что я хлопал себя своими собственными крыльями по бедрам и кричал:

— Ку - ка - ре - ку!!! — и бывал тут же уестествлён.

«Кластерный метод» — как говорят математики. Берется «кластер» — и по роже! И по роже!

На флоте меня проверяли на «вшивость», на «отсутствие», на «проходимость» и «непроходимость», на «яйценоскость» и на «куку-порку», и везде стояло — «вып.» с оценкой «о хорошо».

— Наклоните сюда свой рукомойник!!! (Голову, наверное.)

— Я сделаю вам вливание! Я вас физически накажу!

— Есть, наклонил.

— Перестаньте являть собой полное отсутствие!!!

Есть, перестал.

— И закусите для себя воярод!!!

Уже закусил.

А что вы вообще можете, товарищ капитан третьего ранга, подводник флота Ее Величества России?

Я могу все:

От тамады до дворника,

От лопаты до космоса,

От канавы до флота!

Могу — носить, возить, копать, выливать,
вставлять!

Могу — протереть влажной ветошью!

Могу — еще раз!

А Родину защищать?

А это и есть — «Родину защищать». Родина начинается с половой тряпки... для подводника флота Ее Величества России... и химика, извините за выражение...

КАРТИНА НАВСЕГДА

В глазах застыла картина навсегда: центральный пост атомного ракетоносца; размеренно и тихо; все по углам; лодка у пирса; послеобеденное время; все переваривают, в едином временном измерении; дремотно.

Вдруг в центральный — ни с того ни с сего — влетает старпом и, наклонившись, орет:

— Суки! Суки! Суки! Все — суки!!! У - у - у, ё - ёлки! — и убегает.

Все застывают. Замирают. Соображают. Думают про себя. Оно - мело. Остекленело. Минуту, наверное.

Наконец, мимо, внося с собой жизнь, проходит вахтенный: он пришел из другого отсека, не присутствовал.

Словно подул. Потихоньку отпускает. Дышится Движения свободней. Дежурный говорит матросу:

— Ты в трюме был? Давай рысью туда.

Тот в трюм.

Все оживает, восстанавливается и — потекло; размеренно; чинно; послеобеденное время; хорошо; опять все переваривают...

ФЛОТ

в выражениях, междометиях, афоризмах, в вопросах и ответах, в бессвязных выкриках...

— Что это у вас?

— Это усы, товарищ капитан первого ранга!

— Это не усы, это трамплин для мандавошек.

— Сгниешь на «железе», сгниешь!.. А я говорю, сгниешь!.. Да... а вы думали, здесь что?.. Что вы думали?..

— Чего вы тут сявку раз - зявили?! Что вы тут сидите... молью! Я вам тут что?! Что?! Я вас - с - спрашиваю!!! Мал - чи - те!.. Лучше!!! Я вам верну дар речи, когда это нужно будет!!! Если хотите со мной говорить, то молчите!..

Абсолютно новый крик:

— Что вы тут ходите!.. Ногами!.. С умной рожей!.. Па - дай - ди - те сюда... я вам верну человеческий облик!..

- ...по - ротню... на одного линейного дистанции...
- ...Ссс - чет! — Раз! — Ииии - раз!!!
- ...Поздравляю вас...
- Уууу - ррр - ааа!!!. .

- Эй, сколопендра!
- Это вы мне?..
- А кому же! Ползи сюда!..

— Что вы мечетесь, как раненная в жопу рысь! Вы мичман или где?..
— Слушай, что стряслось во вселенной? Умер кто - нибудь из высшего командования или съели твой завтрак?

- Где ваш конспект?
- Сильные не конспектируют...
- Кто вы такой?! Кто вы такой, я вас спрашиваю?! Вот доложи - те: кто вы такой?!
- Что вы тут разматываете сопли по щекам?! Что вы тут роняете пену на асфальт?! Га - ва - ри - те члена - раздель - на! Члена - раз - дельна! Каждый свой член в отдельности...

— Где ваш план? Что вы мне подсовываете здесь постоянно?! Это что?! План?! Почему за месяц?! Где за год?! Восстановить не - медленно! Жизнь без плана — жизнь впустую!..

- Что вы тут опять написали? Липа должна быть липовой, а не дубовой. Поймите, дело может стоять, но журнал должен идти...
- Что такое флотский смех? Это когда по тебе промахнулись.
- И все - таки, а какова преамбула?
- Чё?..
- Преамбула... говорю, какова?
- Чё?..

— Дадада!.. Да! Те же яйца, только в профиль! Значить так! Задёрнить! Восстановить методом заливания! Нештатные тропинки уничтожить! Ямы защебёнить! Для чего достать щебенку! Озеро одеть в гранитные берега. Назначаю вас старшим над этим безобразием.

Горячку пороть не будем. К утру сделаем.

Через три часа, когда ты уже задёрнул:

— Так! Все! Дрова в исходное! Удалось отбиться теперь это не наш объект.

— Видишь ли, Шура, замечания и традиции у нас с русско-японской войны. А может быть, с Чингис-хана... Не устранены еще... И грань между замечанием и традицией такая стертая... что замечание легко переходит в традицию, а традиция... в замечание... Так что потом, когда мне говорят вот это: «славная традиция» или «беречь и умножать традиции, бережно сохранять»... я все думаю: о чем они говорят... бедные...

— У вас такое лицо, будто вы только что побывали в лапах нашей флотской организации...

— Не организации, а «долбо-ледизма».

— А это как что?

— Дробь БП и долбить лед... до бетона...

— Личный состав, обалдевший от обилия вводных, действует ли по этим вводным?

— А как же! Аж пиджак заворачивается!..

— ...и осуществили ремонт методом выхода из дверей...

— Боже мой, сколько не сделано... сколько не сделано... а сколько еще предстоит не сделать...

— Кя-як сейчас размажу... по переборке! Тебя будет легче покрасить, чем отскрести...

— Говорят, подводнику положено десять метров дополнительной жилой площади. Есть постановление...

— Это только после увольнения в запас...

— Чтоб лечь и умереть спокойно...

— Только не квадратной, а кубической...

— Что это за корыто на вас?

— Это фуражка, товарищ капитан первого ранга!

— Бросьте ее бакланам, чтоб они ее полною нафрали...

- Товарищ капитан третьего ранга, а когда нас накормят?
— Вот если б ты питался от моей груди, то был бы всегда сыт...

— Па - че - му не гла - жен?! Почему?! (По кочану, вот почему.)
Времени не хватило?! Я вам найду время! Лучше б ты в море упал.
Наберут отовсюду не поймешь каких трюмных!..

Начальник физической подготовки и спорта — флагманский мускул — доложил: «Слишком много у нас больных!»

Принято решение: впредь больных вместо физзарядки выводить на прогулку с... ломami! И знаете, больные резко сократились.

— Ч - т - о ж т - ы с - п - и - ш - ь, с - о - б - а - к - а, т - ы ж г - е - р - м - а - н - с - к - и - й к - о - н - ь... — между прочим, из германского героического эпоса.

— А из японского можешь?

— Могу: Ч - т - о ж т - ы с - п - и - ш - ь, с - о - б - а - к - а, т - ы ж я - п - о - н - с - к - и - й к - о - н - ь...

— ...В е л и к о е, старина, — это простое... П р о с т о е, старина, — это плоское... В е л и к о е — это п л о с к о е, старина...

— Ты мешаешь мне правильно реагировать на те порции света и тепла, которые исходят от солнца лично для меня...

— Ты знаешь, какая самая первая самцовская обязанность?

— ?

— Метить территорию. О - собыми выделениями о - собой территорияльной железы... Выходишь... ежедневно и... метишь...

— И последнее, товарищи! Так, с хвостов, встаньте в каре. И последнее. Командующий требует спокойствия и выдержки. В ходе инспекции десять человек сымитировали повешение. Трое доимитировались до того, что повесились...

— Ну как ваш новый зам?

— Видишь ли, Шура, в детстве его так сильно напугали «бабайкой», что еще с колыбели в ответ на «Коза идет, коза идет» он

научился приставлять ладонь торцом к переносице.

— Наберут трусов на флот, а потом хотят, чтоб они умирали гер - роями...

Цок, цок, цок

— Доложите в центральный: прибыл гражданский специалист к радистам.

— Цэнтральный. Пришол дэвишка, хочет радыстов.

— Я не девушка, я гражданский специалист. К радистам.

— Цэнтральный... ана нэ дэвишка... ана хочет радыстов.

— В пять утра прибыть в казарму!

— Мда - а...

— Не успели с моря приплыть — на тебе...

— Сейчас почти час, в два — дома, в три — на жене, в пять — в казарме...

— Вот они, пассаты, дующие в лицо...

— Мама моя, лучше б я назад в море ушел или в говно упал.

— Страна ты моя Дуремария...

— Вы что - то сказали или мне показалось?

— Вам показалось...

— Ночь. Везде темно. И только в Стране Дураков загорался свет...

— А в Абрам - мысе водку по прописке продают...

— Иди ты! А где ее берут?

— Кого? Водку?

— Нет, прописку...

— Внимание, товарищи! Командующий флотом объявил орг - период флоту! С сегодняшнего дня — якорный режим. Сход зап - решен. Экипаж на борту. Сходню сбросить!

— Мать моя женщина, опять семья на якорном режиме...

— Жалуйтесь. В лигу защиты сексуальных реформ...

— Никак не пойму, это что — домой сегодня не пустят?

— Плохо быть деревянным...

— Не - ет, флотом управляют двоечники...

— Вы хотите сказать, что командующий флотом — двоечник?

— А разве командующий флотом управляет флотом?..
— А мне еще двенадцать лет вот так просидеть на оргпериоде — и все!

— Помрешь, что ли?

— Пенсия...

— А - а...

— А американцы вообще говорят: «Войну им объявим, но не начнем. Они себя сами задолбают оргпериодами...»

Крыса попала в петлю. Ее повесили в боевой рубке с биркой: «Повесилась в результате якорного режима».

— Я вас категорически приветствую. Прошу разрешения по - держаться за вашу мужественную руку. Как ваше драгоценное для флота здоровье?

— Безнадежно здоров. Годен только к службе на подводных лодках. Место службы изменить нельзя. У нас нет оснований для беспокойств и переводов. А списывают с плавсостава теперь по двум статьям: трупные пятна и прободение матки.

— Ну с маткой, я думаю, у нас все в порядке.

— Слушай, что это за козел ходил с вами море удобрять?

— Из института. Мы с ним три вахты проговорили. Я думал, он серьезный мужик, а он кандидатскую пишет...

— «Есть», «так точно», «никак нет» и «ура!» — четыре слова, отпущенных военнослужащему. Как из них сделать кандидатскую диссертацию? Не понимаю...

— Мужики, слушайте, что пишут в нашей любимой газете, удивительное рядом, докладываю близко к тексту: «Крейсер. Ночь. Корабль спит. Устало дышат кубрики. Затихли оружейные стволы. Легкий бриз. Лишь одно окно освещено. Это окно замполита. Стук в дверь. На пороге — старшина трюмный, старшина первой статьи Перфильев».

— Разрешите, товарищ капитан третьего ранга?

— Проходи, проходи... Перфильев...

— Вот, задумка есть, товарищ капитан второго ранга, как бы мне вывести свою команду в отличные?... — и еще долго - долго не тушился свет в каюте замполита».

— Во дают, растудыт ее в качель... живут же люди... к замполиту тянутся...

— А наш хрючит по ночам, как трофейная лошадь, аж занавески развеваются...

— Почему у вас начштаба зовут Бамбуком?

— Потому что деревянный и растет быстро.

— Факт, как говорится, на лице; я не хочу, чтоб он был у вас на лице.

— Я сейчас соберу узкий круг ограниченных людей; опираясь на них, разберусь как следует и накажу кого попало.

— Я теперь, порой, иногда даже думаю с ошибками.

— Если нет мозгов, бери блокнот и записывай! Я всегда так делаю.

— Я вчера в первый раз в жизни подумал, осмотрелся, осмотрелся, взглянул на жизнь трезво и ужаснулся.

— Поймите вы, созерцательное отношение к жизни нам чуждо, чуждо... Этим занимались древние греки... и хрен с ними.

— Товарищ командир, прошу разрешения быть свободным.

— Вас освободила Великая Октябрьская революция.

— Товарищ командир, прошу разрешения на сход с корабля.

— А зачем?

— К жене.

— Дети есть?

— Двое.

— Остальное — разврат!

ПАЧЕМУ БРЕВНО ПЛАВАЕТ?! .

Командир дивизии уставился в распорядительного дежурного (вахтенные, собаки, проворонили; черт, как он возник, неизвестно).

— Почему бревно плавает?

Распорядительный (в первый раз заступивший самостоятельно

испуганный лейтенант с чахоточной грудью) испуганно приподнимается, вылезая из очков.

— Вы что... онемели?

— Так... (время идет).

— Я спрашиваю: почему плавает бревно?!!

— Так... удельный вес... этой... воды... он больше...

— Вы что, идиот?!

Лейтенант вздрагивает и смотрит долго.

— Идиот?!!

Лейтенант вздрагивает и смотрит долго.

— Почему... бревно... плавает?!!

Лейтенанта сняли, унесли, откачали, отжали. Комдив имел в виду акваторию, захлмленную плавником.

Запись в личном деле: «Передан вместе с материальной частью».

В КАЮТ - КОМПАНИИ

НА ЗАВТРАКЕ

— ...и жрет и жрет...

— А это психология отличника боевой и политической подготовки...

— ...лежу я, значит, мечтаю о демобилизации и вдруг...

— Крысиные блохи из вентиляции сыплются тебе прямо на рожу.

— Да они на человеке не живут.

— Укусят... и подышают...

— А у меня вчера на подушке крыса ночевала...

— Военнослужащий может испытывать радость от человека напротив. Вот сидит человек напротив, а военнослужащий смотрит на него... и радуется... Так что ты говоришь насчет крысы?..

...НА ОБЕДЕ

— Там город, Саня, город! Театр! Кино! Там женщины, Саня... прямо на асфальте... Идешь... на асфальте — и женщина... идешь

— еще одна...

— Не люблю ночевать с дурами. Никакого интеллектуального удовлетворения...

— Ох и баба на днях попалась...

— Ви - тя (укоризненно)... Пехотный офицер образца 1913 уроджайного года сообщил бы офицерскому собранию: «Элегия... элегия, а не женщина» или сказал бы: «Ее бедра метались, как пойманные форели», а Витенька, интеллект которого неизмеримо выше табурета, говорит «баба». И с этой женщиной он провел лучшие минуты сегодняшней ночи...

— Да пошел ты...

— ЧТО ВЫ ПОЛЗЕТЕ, КАК БЕРЕМЕННАЯ МАНДАВОШКА ПО МОКРОМУ.. ХУУУ - Ю?!!

— А - а - а - тдать носовой?

— Есть, отдать носовой!

— Отдать кормовой!

— Есть, отдать кормовой!

— Проверить буй усилием шести человек на отрыв!

— Есть, проверить буй усилием шести человек на отрыв!. Проверен буй усилием шести человек на отрыв!.. Буй оторван...

— ПА - ЧЕ - МУ?!! (Пятнадцать восклицательных знаков.) Па - чему не стрижен?!! (Г глаза оловянные.)

— Так... тащ капитан второго ранга... ведь перешвартовка... а время теперь на подготовку к вахте не предоставляют... я доклады ввал... а в парикмахерской очередь...

Визг:

— Почему не стрижен?!!

— Тык... я же... время же не дают... я отпрашивался... сегодня...

Вой:

— ПАЧЕМУ НЕ СТРИЖЕН?!!

— Тык.. времени... же... а в парикмахерской...

— Хер в парикмахерской, хер! Почему не стрижен?!

Длительное молчание по стойке «смирно», потом:

— Есть...

Что и требовалось...

СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВА

«Все пропьем, но флот не опозорим!»

— Да... был у нас один... непьющий... вообще ничего не пил совершенно... из партии исключили... он думал, что все тут — как в газетах... ну и от несоответствия совсем... одичал... командир его как вызовет на профилактику... так он выходил от него, и его тошнило... аллергия у него была... на командира... отказался с ним в автономку идти... ну и выгнали его... а что делать...

Твердые, как дерево; обветренные, как скалы; пьют все, что говорит, после чего любят бешено все, что шевелится.

Белая ночь, розовая вода, тишь. По заливу медленно маневрирует тральщик. Гладь. На мостике три вытянувшиеся, остекленевшие рожи (по три стакана в каждой). В глазах — синь. Воздух хрустальный. Баклан пытается сесть на флапшток. Мегафон в его сторону, и с поворота:

— Ты куда - а! Ку - да! Та - кой - то и такой - то рас - ку - ро - чен - ный па - пу - а - с!!!

По рейду: «...ас ...ас ...ас...»

С испугу баклан срывается и, хлопая крыльями, летит. Вслед ему на весь залив:

— Вот так и лети... ле - ти... к та - кой - то ма - те - ри!!!

Комбриг перед строем, в подпитии, фуражка на глаза, чтоб никто не заметил. Из него факел метра на полтора. Покачиваясь, сложив губы дудочкой, примеряясь:

— Ну - у... Кто у на - с за - ле - тел?.. се... дня...

— Да вот, Плоскостопов...

— Плос - кос - то - пов! (Тыча пальцем.) Обрубок вы... а не офицер...

— Товарищ командир, тут вот телефонограмма для вас.

Командир слегка не в себе, старательно не дыша:

— А выбрось ее... сь... сь...

— А? Что вы сказали, товарищ командир, куда? — дежурный склоняется от усердия.

— Выб - рось ее к - к - к... х - хе - рам...

На офицерском собрании:

— ...И далее. Лейтенант Кузин привел себя в состояние полной непотребности и в этом состоянии вошел сквозь витрину прилавка магазина готового платья и всем стоячим манекенам задрал платья, после чего он выпачкал свой...

Комдив, прерывая докладчика:

— Лейтенант...

Лейтенант встал.

— Вы что, не можете себе бабу найти?!

— Что?! Опять?! И уписался?! Где он лежит?! Так... ясно... струя кардинала, почерк австрийский...

— Пол - ный впе - ред!

— Так... товарищ командир, пирс же...

— Я те что?! Я те что, клозет тя поглоти?! Полный...

Т - та - х!!

— На - зад... Отдать носовой...

На пирсе строй полупьяных со вчерашнего матросов. Отмечали приказ. Перед ними замполит: два метра и кулаки слава Богу, с голову шахматиста. Зам проводит индивидуальную беседу со всем строем одновременно:

— Я уже задрался идти вам навстречу!!! Облупился... весь! Ноги отстегиваются! Куда ни поцелуй моряка, везде жопа! Ублюдки! Рок - ло! Салаги! Карасьва! (Волосатый кулак под нос.) Вот вам, суки, и вся политработа! Всем понюхать!

Все понюхали. Пожалуй, всё.. а теперь на горшок и спать. Та - кая армия непобедима...

УЧЕНИЕ

Мороз дул. Те, кто испытал на себе мороз, знают, что так сказать можно. Чахлое солнце, размером с копейку, мутно что - то делало сквозь небесную серь. Под серью сидел диверсант. Он сидел на сопке. На нем были непроницаемый комбинезон, мехом внутрь, с башлыком и электроподогревом. И ботинки на нем тоже были. Высокые. Непромокаемые, наши. И диверсант тоже был наш, но привлеченный со стороны — из диверсантского отряда. Ночевал он здесь же. В нашем снегу. А теперь он ел. Тупо. Из нашей банки консервной. Он что - то в ней отвернул - повернул - откупорил и стал есть, потому что банка сама сразу же и разогрелась.

Широко и мерно двигая лошадиной челюстью, диверсант в то же время смотрел в подножье. Сопки, конечно. Он ждал, когда его оттуда возьмут.

Шел третий день учения. Неумолимо шел. Наши учились отражать нападение — таких вот электро - рыбо - лошадей — на нашу военно - морскую базу.

Был создан штаб обороны. Была создана оперативная часть, которая и ловила этих приглашенных лошадей с помощью сводного взвода восточных волкодавов.

Справка: восточный волкодав — мелок, поджарист, вынослив, отважен. Красив. По - своему. Один метр с четвертью. В холке. А главное — не думает. Вцепился — и намертво. И главное — много его. Сколько хочешь, столько бери, и еще останется.

Волкодавов взяли из разных мест в шинелях с ремнем, в сапогах с фланелевыми портянками на обычную ногу, накормили на берегу камбузе обычно едой, которую можно есть только с идейной убежденностью, и пустили их на диверсантов. Только рукавицы им забыли выдать. Но это детали. И потом, у матроса из страны Волкодавии руки мерзнут только первые полгода. А если вы имеете что сказать насчет еды, так мы вам на это ответим: если армию хорошо кормить, то зачем ее держать!

Шел третий день учения. В первый день группа не нашего захвата, одетая во все наше, прорвалась в штаб. Прорвалась она так: она поделилась пополам, после чего одна половина взяла другую в плен и повела прямо мимо штаба. А замкомандующего увидел через окно, как кого - то ведут, и крикнул:

— Бойцы! Кого ведете?!
— Диверсантов поймали!
— Молодцы! Всем объявляю благодарность! Ведите их прямо ко мне!

И они привели. Прямо к нему. По пути захватили штаб.

Во второй день учения «рыбы» подплыли со стороны полярной ночи и слюдяной воды и «заминировали» все наши корабли. Последняя «рыба» вышла на берег, переодетая в форму капитана первого ранга, проверяющего, по документам, и, пройдя на ПКЗ, нарезала верхнему вахтенному... нет - нет - нет — только сектор наблюдения за водной гладью. А то он не туда смотрел. Только сектор и больше ничего. И чтоб все время! Как припаянный! Не моргая. Наблюдал чтоб. Неотрывно. Во - он в ту сторону.

И вахтенный наблюдал, а «товарищ капитан первого ранга, проверяющий» зашел по ходу дела к командиру дивизии, штаб которого размещался тут же на ПКЗ. (По дороге он спросил у службы: «Бдите?!» Те сказали: «Бдим!» — «Ну - ну, — сказал он, — так дер - жать!» — и поднялся вверх.) И арестовал командира дивизии, вы - таскил его через окно, спустил с противоположного сектора и увез на надувной лодке. Причем лодку, говорят, надувал сам командир дивизии под наблюдением «проверяющего». Врут. Лодка уже была надута и стояла вместе с гребцами у специально сброшенного шторм - трапика. Шелкового такого. Очень удобного. Хорошая лодка. Мечта, а не лодка.

Вахтенный видел, конечно, что не в его секторе движется ка - кая - то лодка, но отвечал он только за свой сектор и поэтому не доложил. Так закончился второй день.

На третий день надо было взять диверсанта. Живьем. На сопке. Вот он сидел и ждал, когда же это случится. А наши стояли у под - ножья, указывали на него и совещались возбужденно. Наших было человек двадцать, и они поражали своей решительностью. Вместе со старшим. Он тоже поражал.

— Окружить сопку! Касымбеков! Заходи! — наконец скоман - довал старший, и они начали окружать и заходить.

Волкодавы пахали снег, по грудь в него уходя, плыли в нем и неумолимо окружали. Во главе с Касымбековым. Не прошло и со - рока минут, как первый из них подплыл к диверсанту. Первый ра - достно улыбался и задыхался.

— Стой! — сказал он. — Руки вверх!

После чего силы у него иссякли, а улыбка осталась.

Диверсант кончил есть, встал и лягнул первого. В следующие пятнадцать минут к тому месту, где раньше стоял первый, сошлись остальные. Еще десять минут были посвящены тому, что волкодавы, входя в соприкосновение с диверсантом, не переставая улыбаться и азартно, по-восточному, кричать, взлетали в воздух, сверкая портянками, а затем они сминали кусты и летели, летели, вращаясь, вниз, и портянки наматывались им вокруг шеи. Это было здорово! Потом диверсант сдался. Он сказал: «Я сдаюсь».

И его взяли. Живьем. Упаковали и понесли на руках.

Так закончился третий день.

С этого дня мы начали побеждать.

ДАВАЙ!

Утро начинается с построения. И не просто утро — организация начинается с построения. И не просто организация — вся жизнь начинается с построения. Лично моя жизнь началась с построения. Жизнь — это построение.

Конечно, могут быть и перестроения, но начальное, первичное построение является основой всей жизни и всех последующих перестроений.

Можно построиться по боевым частям, можно — по ранжиру, то есть, говоря по-человечески, по росту, можно — в колонну по четыре, можно — по шесть, можно, чтоб офицеры были впереди, можно, чтоб не были, можно — три раза в день.

На флоте столько всего можно, что просто уши закладывает.

Есть мнение, что построение — это то место, где каждый думает, что за него думает стоящий рядом.

Это ошибочное мнение. На построении хорошо думается вообще. Так иногда задумаешься на построении, а мысли уже кипят, теснятся, обгоняют, мешают друг друга, несутся куда-то... Хорошо!

Я, например, думаю только на построении. И если оно утром, в обед и вечером, то я думаю утром, в обед и вечером.

Опоздание на построение — смертельный грех. Нет, ну конечно же, опаздывать можно и, может быть, даже нужно, но в ра-

зумных же пределах!

А где они, эти разумные пределы? Где вообще грань разумного и его плавное сползание в неразумное? Вот стоит на построении разумное, смотришь на него, а оно — хлоп! — и уже неразумное.

— ...опять тянутся по построению. Что вы на меня смотрите? Ваши! Ваши тянутся!

Это у нас старпом. Наши всегда тянутся. Можно потом целый день ни черта не делать, но главное — на построение не опаздывать и не тянуться по построению.

Старпом на корабле — цепной страж всякого построения. Новый старпом — это новый страж, собственная цепь которого еще не оборвала все внутренние, такие маленькие связи и цепочки.

Старпом — лицо ответственное, и отвечает оно за все, кроме матчасти.

Приятно иногда увидеть лицо, ответственное за все на фоне нашей с вами ежедневной, буйной, как свалка, безответственности. Хотел бы я быть вот таким «ответственным за все» — всем все раздать, а себе оставить только страдание.

— Где Иванов?

Между прочим, старпом к нам обращается, и надо как-то реагировать.

— Иванов? Какой Иванов?

— Ну ваш Иванов, ваш. И не делайте такие глаза. Где он? Почему его нет на построении?

— Ах, Иванов наш!

— Да, ваш Иванов. Где он?

— На подходе... наверное...

— Ну и начальнички! «На подходе». Стоите тут, мечтаете о чем-то, а личный состав не сосчитан. Первая заповедь: встал в строй — проверь личный состав. Ну, а Петров где?

— ???

— А где Сидоров ваш? Почему он отсутствует на построении?

— Си - до - ров?..

— Да, да, Сидоров, Сидоров. Где он? Что вы на меня так смотрите?

Кость лобковая! Действительно, где Сидоров? Ну, эти два придурка — понятно, но Сидоров! Не понятно. Ну, появится — я ему...

— Все!.. — Ладонь старпома шлепнула по столу в кают-компа -

нии второго отсека атомной подводной лодки на докладе командиров боевых частей и служб, и командиры боевых частей и служб, собранные на доклад, внутренне приподнялись и посмотрели на ладони старпома.

Вот такое хлопанье ладонью старпома по столу означает переход в новую эру служебных отношений. Этот переход может осуществляться по пять раз в день. Правда, может наблюдаться не сколько эр.

— Все! Завтра начинается новая жизнь!

Новая жизнь, слава Богу, всегда начинается завтра, а не просто сейчас. Есть еще время решиться и застрелиться или, наоборот, возлюбить и, обливаясь слюнями, воскликнуть: «Прав ты был, Господи!»

— Если завтра кто -нибудь... какая -нибудь... слышите? Независимо от ранга. Если завтра хоть кто -нибудь опоздает на построение... невзирая на лица... тогда...

Что тогда? Все напряглись. Всем хотелось знать, «тады что?».

— Тогда узнаете, что я сделаю... узнаете... увидите...

Значит, надо опоздать, прийти и увидеть.

— Не понимаете по - человечески. Будем наводить драконовские методы.

О - о - о, этот сказочный персонаж на флоте не любят. Всех остальных любят, а этот — нет. И не потому ли, что не любят, после доклада и подведения итогов за день в каюте собрались и шептались Иванов, Петров и Сидоров?! Ну, эти два придурка — понятно, а вот Сидоров, Сидоров — непонятно.

Как вы думаете, что будет с входной дверью в квартире старпома, если в замочную скважину со стороны подъезда ей, или, может быть, ему, залить эпоксидную смолу? Наверное, ничего не будет.

Утром дверь у старпома не открылась — замок почему - то не вращался. Собака заскулила, ибо она почувствовала, что останется гадить в комнате. Он тоже почувствовал.

Сначала старпом хотел кричать в форточку, но потом ему вспомнилось, что существует такое бесценное чудо на флоте, как телефон.

Старпом позвонил распорядительному дежурному:

— Это говорит старпом Попова Павлов.

Распорядительный подумал: «Я счастлив», — и ответил:

— Есть

— Сообщите на корабль, что я задерживаюсь, что - то с зам -

ком, дверь не открывается. Пусть наш дежурный пришлет кого -нибудь посообразительней.

Распорядительный позвонил на корабль. Дежурный по кораблю ответил: «Есть. Сейчас пришлем», — и оглянулся.

Сообразительный на флоте находится в момент, потому что он всегда рядом.

— Слышь, ты сейчас что делаешь? Так, ладно, все бросай. К старпому пойдешь, у него там что - то с дверью. На месте разберешься. Так, не переодевайся, в ватнике можно; наверное, сопкой пойдешь. Топор захвати. Ну и сообразишь там, как и что. Ты у нас, по - моему, сообразительный.

Сообразительный был телом крупен. Такие берут в руки топор и приходят.

— Здравия желаю! — сказал он старпому через дверь.

— Ну, здравствуй, — сказал ему старпом, ощутив вдруг желание надеть на себя еще что -нибудь кроме трусов, что -нибудь с погонами.

“А зачем я взял топор? — соображал в тот момент сообразительный. — И без топора же можно. Только руки все оттянул”.

Он даже посмотрел на руки и тяжело вздохнул — точно, оттянул.

— Ну, чего там, — услышал он голос старпома, который уже успел одеться и застегнуть китель, — чего затих? Умер, что ли? Давай!

А вот это неосторожно. Нельзя так кричать «давай!» личному составу, нельзя пугать личный состав, когда он думает. Личный состав может так дать — в тот момент, когда он думает, — костей не соберешь!

— Щас! — Наш сообразительный больше не думал. Он застегнул ватник на все пуговицы, натянул зачем - то на уши шапку, засосал через губы, сложенные дудочкой, немножко воздуха, изготовился, как борец, — и - и - и - ех! — и как дал! Вышла дверь, и вышел он. Неужели все вышло? Не - ет! Что - то осталось. А что осталось? А такой небольшой кусочек двери вместе с замочной скважиной. Мда - а, мда - а...

ДЕРЕВО

— Дерево тянется к дереву...

— Деревянность спасает от многого...

Эти фразы были брошены в кают - компании второго отсека в самой середине той небольшой истории, которую мы хотим вам рассказать.

Итак... В шестом отсеке, приткнувшись за каким - то железным ящиком, новый заместитель командира по политической части следил за вахтенным. Новый заместитель командира лишь недавно при - был на борт, а уже следил за вахтенным.

Человек следит за человеком по многим причинам. Одна из причин: проверить отношение наблюдаемого к несению ходовой вахты. Для этого и приходится прятаться. Иначе не проверишь. А тут как в кино: дикий охотник с поймы Амазонки.

Из - за ящика хрипло дышало луком; повозившись, оттуда да - леко выглядывал соколиный замовский глаз и клочок волос.

Лодка куда - то неторопливо перемещалась, и вахтенный реак - торного отсека видел, что его наблюдают. Он давно заметил зама в ветвях и теперь вел себя, как кинозвезда перед камерой: позиро - вал во все стороны света, втыкал свой взгляд в приборы, доставал то то, то это и удивлял пульт главной энергетической установки оби - лием и разнообразием докладов.

— Он что, там с ума сошел, что ли?

— Пульт, шестьдесят пятый...

— Есть...

— Прошу разрешения осмотреть механизмы реакторного от - сека.

— Ну вот опять... — вахтенный пульта повертел у виска, но раз - решил. — Осмотреть все механизмы реакторного отсека.

— Есть, осмотреть все механизмы реакторного отсека, — от - репетовал команду вахтенный.

— Даже репетует, — пожали плечами на пульте. — И это По - пов. Удивительно. Он, наверное, перегрелся. С каждым днем глава - нья растет общая долбанутость нашего любимого личного состава. Сказывается его усталость.

Вахтенный тем временем вернул «банан» переговорного устрой - ства на место, как артист. Потом он вытащил откуда - то две аварийные

доски и, засунув это дерево себе в штаны, кое-как заседлал себя им спереди и сзади, отчего стало казаться, что он сидит в ящике.

Засеменив, как японская гейша, он двинулся в реакторный отсек, непрерывно придерживая и поправляя сползающую деревянную сбрую.

Ровно через десять минут его мучения были вознаграждены по-царски: у переборки реакторного его дождался горящий от любопытства зам.

— Реакторный осмотрен, замечаний нет, — сказал заму вахтенный.

— Хорошо, хорошо... а вот это зачем? — ткнул зам в доски, выглядывавшие из штанов вахтенного.

— Нейтроны там летают. Попадают даже нейтрино. Дерево — лучший замедлитель. Так и спасаемся.

— Дааа... и другой защиты нет?

— Нет, — наглости вахтенного не было предела.

— И мне бы тоже... — помялся зам, — нужно проверить несение вахты в корме.

Дело в том, что за неделю плавания зам пока что никак не мог добраться до кормы, а тут ему представлялась такая великолепная возможность.

Через минуту зам был одет в дерево и зашнурован. А когда он свежекастрированным чудовищем исчез за переборкой, восхищенный вахтенный весело бросился к «каштану».

— Восьмой!

— Есть восьмой..

— Деревянный к тебе пополз... по полной схеме...

— Есть...

Медленно, толчками ползущего по восьмому отсеку деревянного зама встретил такой же медленно ползущий деревянный вахтенный.

— В восьмом замечаний нет!

На следующий день мимо зама все пытались быстро проскользнуть, чтоб вдоволь порадоваться подалше.

Каждый день его теперь ждали аварийные доски, и каждый день вахтенные кормы прикрывали свой срам аварийно-спасательным имуществом. Его ежедневные одевания демонстрировались при таившимся за умеренную плату.

Через неделю доски кончились.

— Как это кончились?! — зам строго глянул в бесстыжие глаза вахтенного.

— Ааа... вот эта... — рот вахтенного, видимо, хотел что-то сказать, а вот мозг еще не сообразил. Глаза его, от такого неожиданного затмения, наполнились невольными слезами, наконец он всхлипнул, махнул рукой и выдавил:

— Ук-рали...

— Безобразие! И это при непрерывно стоящей вахте! Возмутительно! Какая безответственность! Просто вопиющая безответственность! Как же я осматриваю корму?..

Зам, помявшись, двинулся назад. В тот день он не осматривал корму.

Вечером на докладе от него все чего-то ждали. Всем, кроме командира, было известно, что у зама кончились доски.

— Александр Николаич, — сказал командир заму в конце доклада, — у вас есть что-нибудь?

И зам встал. У него было что сказать.

— Товарищи! — сказал зам. — Я сегодня наблюдал вопиющую безответственность! Причем все делается при непрерывно несущейся вахте. И все проходят мимо. Товарищи! В корме пропали все доски. Личный состав в настоящее время несет вахту без досок, ничем не защищенный. Я сегодня пытался проверить несение вахты в корме и так и не сумел это сделать...

— Погоди, — опешил командир (как всякий командир, он все узнавал последним), — какие доски?

И зам объяснил. Кают-компания взорвалась: сил терпеть все это не было. На столах так рыдали, что казалось, они все сейчас умрут от разрыва сердца: некоторые так открывали-закрывали рты, словно хотели жевать на столах все свои бумажки.

ПАСТЬ

— Пасть пошире открой... Та-ак... Где тут, говоришь, твои корни торчат? Ага, вот они...

Наш корабельный док бесцеремонно, как дрессировщик ко льву, залез в пасть к Паше - артиллеристу и надолго там заторчал.

Я бы доку свои клыки не доверил. Никогда в жизни. Паша, на-

верное, тоже, но его так разнесло, беднягу.

— Пойду к доку сдаваться, — сказал нам Паша, и мы его пере-крестили. Лучше сразу выпить цианистого калия и не ходить к на-шему доку. Начни он рвать зубы манекену — и манекен убежит в форточку. Не зря его зовут «табуретом». Табурет он и есть. А ко-мандир его еще называет — «оскотиненное человекообразное». Это за то, что он собаку укусил.

Было это так: пошли мы в кабак и напоили там дока до поро-сячьего визга. До состояния, так сказать, общего нестояния. Он нас честно предупредил: «Не надо, я пьяный — дурной», но мы не по-верили. Через полчаса он уже пил без посторонней помощи. Влил в себя литр водки, потом шампанским отлакировал это дело, и.. и тут мы замечаем, что у него в глазах появляется какой-то нехороший блеск.

Первое, что он сделал, — это схватил за корму проплывающую мимо кобылистую тетку. Сжал в своей землечерпалке всю ее по-почку и тупо наблюдал, как она верещит.

Пришлось нам срочно линять. Ведем его втроем, за руки за ноги, а он орет, дерется и показывает нам приемы кун-фу. И тащи-ли мы его задами-огородами. На темной улочке попадаем на му-жика с кобелем. Огромная такая овчарка.

При виде кобеля док возликовал, в один миг раскидал нас всех, бросился к псу, схватил его одной рукой за хвост, другой — за холку и посредине — укусил.

Пес вырвался, завыл, спрятался за хозяина. Он, видимо, всего ожидал от наших Вооруженных Сил, но только не этого.

Док все рвался его еще раз укусить, но пес дикими скачками умчал своего хозяина в темноту. Вслед ему выл и скреб задними лапами землю наш одичавший док.

Мы потом приволокли его на корабль, забросили в каюту и вы-ставили вахтенного. Он до утра раскачивал нашу жалкую посудину.

— Сложный зуб. Рвать надо, — сказал док Паше, и наш Паша сильно засомневался относительно необходимости своего появле-ния на свет Божий.

Но было поздно. Док впечатал свою левую руку в Пашин заты-лок, а правой начал методично вкручивать ему в зуб какой-то што-пор.

— Не ори! — бил он Пашу по рукам. — Чего орешь! Где ж я

тебе новокаин - то достану, родной! Не ори, хуже будет!

Паша дрался до потери пульсации; дрался, плевался, мотал головой, задрал губу, из которой, как клык кабана, торчал этот испанский буравчик.

Доку надоело сражаться. Он крикнул двух матросов, и те заломали Пашу в момент.

У Паши текло изо всех дыр под треск, хруст, скрежет. Наконец его доломали, бросили на пол и отлили двумя ведрами воды.

— Все! — сказал ему Табурет. — Получите, — и подарил Паше его личный осколок.

На следующий день в кают - компании Паша сиял счастьем. Щека его, синюшного цвета, излучала благодущие, совершенно затмевая левый погон.

Паша ничего и никого не слышал, не видел, не замечал. Он вздыхал, улыбался и радовался жизни и отсутствию в ней всякого насилия.

ОРДЕН ХРЕНА ЛЫСОГО

Нашего комдива — контр - адмирала Артамонова — звали или Артемоном, или «генералом Кешей». И все из - за того, что при приеме задач от экипажей он вел себя в центральном посту по - генеральски: то есть как вахлак, то есть — лез во все дыры.

Он обожал отдавать команды, брать управление кораблем на себя и вмешиваться в дела штурманов, радистов, гидроакустиков, рулевых и трюмных.

Причем энергии у него было столько, что он успевал навредить всем одновременно.

А как данная ситуация трактуется нашим любимым Корабель - ным Уставом? Она трактуется так: «Не в свое — не лезь!»

Но тактично напомнить об этом адмиралу, то есть сказать во всеуслышанье: «Куды ж вы лезете?» — ни у кого язык не поворачивался.

Вышли мы однажды в море на сдачу задачи с нашим «генералом», и была у нас не жизнь, а дикий ужас. Когда Кеша в очередной раз полез к нашему боцману, у нас произошла заклинка вертикального руля, и наш обалдевший от всех этих издева -

тельств подводный атомоход, пребывавший в надводном положении, принялся выписывать по воде концентрические окружности, немало удивляя уворачивавшиеся от него рыбацкие сейнеры и наблюдавшую за нашим безобразием разведшхуну «Марианна».

Потом Кеша что-то гаркнул трюмным, и они тут же обнулили штурману лаг.

И вот, когда на виду у всего мирового сообщества у нас обнулился лаг, в центральном появился наш штурман, милейший Кудинов Александр Александрович, лучший специалист, с отобранным за строптивость званием — «последователь лучшего специалиста военных лет».

У Александра Александровича была кличка «Давным-давно». Знаете гусарскую песню «Давным-давно, давным-давно, давным-давно... давно»? Так вот, наш Александр Александрович, кратко — Ал Алыч, был трижды «давным-давно»: давным-давно — капитаном третьего ранга, давным-давно — лысым и давным-давно — командиром штурманской боевой части, а с гусарами его роднила привычка в состоянии «вне себя» хватать что попало и кидать в кого попало, но так как подчиненные не могли его вывести из себя, а начальство могло, то кидался он исключительно в начальство.

Это было настолько уникально, что начальство сразу как-то даже не соображало, что в него запустили, допустим, в торец предметом, а соображало только через несколько суток, когда Ал Алыч был уже далеко.

На этот раз он не нашел чем запустить, но зато он нашел что сказать:

— Какой... (и далее он сказал ровно двадцать семь слов, которые заканчиваются на «как»). Какие это слова? Ну, например: лошак, колпак, конак...)

— Какой... — Ал Алыч позволил себе повториться, — мудака обнулил мне лаг?!

У всего центрального на лицах сделалось выражение «проглотила Маша мянью», после чего все в центральном стали вспоминать, что они еще не сделали по суточному плану.

Генерал Кеша побагровел, вскочил и заорал:

— Штурман! Вы что, рехнулись, что ли? Что вы себе позволяете?

Да я вас...

Не в силах выразить теснивших грудь чувств, комдив влетел в штурманскую, увлекая за собой штурмана.

Дверь штурманской с треском закрылась, и из-за нее тут же послышался визг, писк, топот ног, вой крокодила и звон разбиваемой посуды.

Пока в штурманской крушили благородный хрусталь и жрали человечину, в центральном чутко прислушивались — кто кого.

Корабль в это время плыл куда-то сам.

Наконец дверь штурманской распахнулась настежь. Из нее с глазами надетого на кол филина выпорхнул комдив. Пока он летел до командирского кресла, у него с головы слетел редкий начес, образованный мученически уложенной прядью метровых волос, которые росли у комдива только в одном месте на голове — у левого уха.

Начес развалился, и волосы полетели вслед за комдивом по воздуху, как хвост дикой кобылицы.

Комдив домчался и в одно касание рухнул в кресло, обиженно скрипнув. Волосы, успокоившись, свисли от левого уха до пола.

Штурман высунулся в дверь и заорал ему напоследок:

— Лы-sss-ы-й Хрен!

На что комдив отреагировал тут же и так же лапидарно:

— От лысого слышу!

Кеша - генерал долго переживал этот случай. Но надо сказать, что, несмотря на внешность охамевшего крестьянина - середняка, он не был лишен благородства. Когда Кудинова представили к ордену и документы оказались на столе у комдива, то сначала он завозился, закряхтел, сделал вид, будто тужится вспомнить, кто это такой — Кудинов, потом будто вспомнил:

— Да, да... неплохой специалист... неплохой... — и подписал, старательно выводя свою загогулину.

Но орден штурману так и не дали. Этот орден даже до флота не дошел, его где-то наверху свистнули. Так и остался наш штурман без ордена. И вот тогда-то в утешение, вместо ордена, комдив и снял с него ранее наложенное взыскание, то самое — «за хамское поведение со старшим по званию», а вся эта история получила у нас название: «награждение орденом Хрена Лысого».

ПО ПЕРСИДСКОМУ ЗАЛИВУ

Тихо. По Персидскому заливу крадется плавбаза подводных лодок «Иван Кожемьякин». На мостике — командир. Любимые выражения командира — «серпом по яйцам» и «перестаньте идиотничать!». Ночь непроглядная. В темноте, справа по борту, угадывается какая-то фелюга береговой охраны. Она сопровождает нашу плавбазу, чтоб мы «не туда не заехали».

— Ракету! — говорит командир. — А то в эту темень мы его еще и придавим невзначай, извиняйся потом по-английски, а я в школе, если все собрать, английский учил только полчаса.

С английским у командира, действительно... запор мысли, зато уж по-русски — бурные, клопочущие потоки. В Суэцком канале плавбаза головной шла, и поэтому ей полагался лоцман. Когда этот темный брат оказался на борту, он сказал командиру:

— Монинг, кэптан!

— Угу, — ответил командир.

— Хау ду ю ду?

— Ага.

А жара градусов сорок. Наших на мостике навалом: зам, пом, старпом и прочая шушера. Все в галстуках, в фуражках и в трусах — в тропической форме одежды. Из-под каркаса протекают головы. Это кэп всех вырядил: неудобно, вдруг «хау ду ю ду» спросят.

— Ду ю спик инглиш?

— Ноу.

— О, кэптан!

Кэп отвернулся в сторону своих и процедил:

— Я ж тебя не спрашиваю, макака - резус, чего это ты по-русски не разговариваешь?

Ночью все - таки получше. Прохладней.

— Дайте им еще ракету, — говорит командир, — чего - то они не реагируют.

Плавбаза стара, как лагун под пищевые отходы. Однажды дизеля встали — трое суток плыли сами куда-то тихо в даль, и вообще, за что ни возьми, все ломается.

Катерок опять не отвечает.

— А ну - ка, — говорит командир, — ослепите - ка его проектором!

Пока нашли, кому ослеплять, чем ослеплять, прошло немного времени. Потом решали, как ослеплять. Посланный включил совсем не то, не с того пакетника, и то, что он включил, кого - то там чуть не убило. Потом включили как надо, но опять не слава Богу.

— Товарищ командир, фазу выбило!

— Ах, курвы, мокрощелки вареные, электриков всех сюда!

Уже стоят на мостике все электрики. Командир, вылив на них несколько ночных горшков, успокаивается и величаво тычет в катерок.

— Ну - ка, ослепите мне его!

Прожектор включился, но слаб, зараза, не достает. Командир смотрит на механика и говорит ему подряд три наши самые любимые буквы.

— На камбузе, товарищ командир, есть, по - моему, хорошая лампочка, — осеняет механика, — на камбузе!

— Так давайте ее сюда.

С грохотом побежали на камбуз, вывинтили там, с грохотом прибежали назад, ввинтили, включили — чуть - чуть лучше.

И вдруг — столб огня по глазам, как солнце, ни черта не видно, больно. Все хватаются, защищаются руками. Ничего не понятно.

Свет метнулся в сторону, все отводят руки от лица. Ах, вот оно что: это катерок осветил нас в ответ своим сверхмощным прожектором.

— Товарищ командир, — спросили у кэпа после некоторого молчания, — осветить его в ответ прожектором?

— В ответ? — оживает командир. — Ну нет! Хватит! А я еще, старый дурак, говорю: ослепите этого братана из Арабских Эмиратов. Ха! А мне бы хоть одна падла сказала бы: зря вы, товарищ командир, изготовились и ждете, зря вы сусало свое дремучее раздолдонили и слюни, понимаешь, ожидаючи, напустили тут целое ведро. Нет! А я еще говорю: ослепите его! Мда! Да если он нас еще разик вот так осветит своим фонариком, мы все утонем! Ослепители! Свободны все, великий народ!

Пустеет. На мостике один командир. Он страдает.

СПИШЬ, СОБАКА!

Военнослужащего бьют, когда он спит. Так лучше всего. И по голове — лучше всего. Тяжелым — лучше всего. Раз — и готово!

Фамилия у него была — Чан, а звали, как Чехова, — Антон Палыч. Наверное, когда называли, хотели нового Чехова.

Он был строен и красив, как болт: большая голова шестьдесят последнего размера, плоская сверху; розовая аккуратная лысина, сбегаящая назад и вперед, украшенная родинками, как поляна грибами; седые лохмотья, обмотав уши, залезали на уложенный грядкой затылок; в глазах — потухшая пустыня.

Герой - подводник. К тому же боцман. Двадцать календарей. Ненасытный герой.

Он все время спал. Даже на рулях. Каждую вахту.

Он спал, а командир ходил и ныл — пританцовывая, как художник без кисти: так ему хотелось дать чем-нибудь по этому спящему великолепию. Не было чем. Везде эта лысина. Она его встречала, водила по центральному и нахально блестела в спину.

Штурман появился из штурманской рубки, шлепнув дверь. Под мышкой у него был зажат огромный синий квадратный метр — атлас морей и океанов.

— Стой! Дай - ка сюда эту штуку.

Штурман протянул командиру атлас. Командир легко подобрал тяжелый том.

— Тяжела жисть морского летчика! — пропел командир в верхней точке, бросив взгляд в подволок.

Лысина спело покачивалась и пришепetyвала. Атлас, набрав побольше энергии, замер — язык набок, и, привстав, командир срубил ее, давно ждущую своего часа.

Атлас смахнул ее, как муху. Икнув и разметав руки, Чан улетел в прибор, звонко шлепнулся и осел, хватаясь в минуту опасности за рули — единственный источник своих благосостояний.

Рули так здорово переложились на погружение, что сразу же заклинили.

Лодка ринулась вниз. Кто стоял — побежал головой в переборку; кто сидел — вылетел с изяществом пробки; в каютах падали с коек.

— ПОЛНЫЙ НАЗАД! ПУЗЫРЬ В НОС! — орал по боевому ошалевший командир.

Долго и мучительно выбирались из зовущей бездны. Долго и

мучительно, замирая, вздрагивая вместе с лодкой, глотая воздух.

С тех пор, чуть чего, командир просто выбивал пальчиками по лысине Антон Палыча, как по крышке рояля, музыкальную дробь.

— Ан - то - ша, — осторожно наклонялся он к самому его уху, чтоб ничего больше не получилось. — Спи - шь? Спишь, собака...

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Как ноготь на большом пальце правой ноги старпома может внезапно оздоровить весь экипаж? А вот как!

От долгого сидения на жестком «железе» толстый, желтый, словно прокуренный ноготь на большом пальце правой ноги старпома впился ему в тело. Это легендарное событие было совмещено со смешками в гальюне и рекомендациями чаще мыть ноги и резать ногти. Кают - компания ехидничала:

— Монтигомо Ястребиный Коготь.

— Григорий Гаврилович до того загружен предьядерной возней, что ему даже ногти постричь некогда.

— И некому это сделать за него.

— А по уставу начальник обязан ежедневно осматривать на ночь ноги подчиненного личного состава.

— Командир совсем забросил старпома. Не осматривает его ноги. А когда командир забрасывает свой любимый личный состав, личный состав загнивает.

И поехало. Чем дальше, тем больше. Улыбкам не было конца. Старпом кожей чувствовал — ржут, сволочи. Он прохромал еще два дня и пошел сдаваться в госпиталь.

Медики у нас на флоте устроены очень просто: они просто взяли и вырвали ему ноготь; ногу, поскольку она осталась на месте, привязали к талочку и выпустили старпома на свободу — гуляй.

Но от служебных обязанностей у нас освобождают не медики, а командир. Командир не освободил старпома.

— А на кого вы собираетесь бросить корабль? — спросил он его.

Старпом вообще - то собирался бросить корабль на командира, и поэтому он почернел лицом и остался на борту. Болел он в каюте. С тех пор никто никогда не получал у него никаких освобождений.

— Что?! — говорил он, когда корабельный врач спрашивал у него разрешения освободить от службы того или этого. — Что?! Постельный режим? Дома? Я вас правильно понял? Поразительно! Температура? А жена что, жаропонижающее? Вы меня удивляете, доктор! Болеть здесь. Так ему и передайте. На корабле болеть. У нас все условия Санаторий с профилакторием, ядрена мама. А профилактику я ему делаю. Обязательно. Засандаю по самый пищевод. Что? Температура тридцать девять? Ну и что, доктор? Ну и что?! Вы доктор или хрен в пальто! Вот и лечите. Что вы тут мечетесь, демонстрируя тупость? Несите сюда этот ваш градусник. Я ему сам измеряю. Ни хрена! Офицер так просто не умирает. А я сказал, не сдохнет! Что вам не ясно? Положите его у себя в амбулатории, а сами — рядышком. И сидеть, чтоб не сбежал. И кормить его таблетками. Я проверю. И потом, почему у вас есть больные? Это ж минусы в вашей работе. Где у вас профилактика на ранних стадиях? А? Мне он нужен живьем через три дня. На ногах чтоб стоял, ясно? Три дня даю, доктор. Чтоб встал. Хоть на подторках. Хоть сами подпирайте. Запрещаю вам сход на берег, пока он не выздоровеет. Вот так! Пропуск ваш из зоны сюда, ко мне в сейф. Немедленно. Ваша матчасть — люди. Усвойте вы наконец. Люди. Какое вы имеете моральное право на сход с корабля, если у вас матчасть не в строю? Все! Идите! И вводите в строй.

Вот так - то! С тех пор на корабле никто не болел. Все были здоровы, ядрена вошь! А если кто и дергался из офицеров и мичманов, то непосредственный начальник говорил ему, подражая голосу старпома:

— Болен? Поразительно! В рот, сука, градусник и закусить. Жалуйтесь. Пересу де Куялеру, ядрена мама!

А матросов вообще лечили лопатой и на канаве. Трудотерапия. Профессьюн де фуа, короче говоря.

Вот так - то.

Ядрена мама!

ПРАВДУ В ГЛАЗА

Назначили к нам на экипаж нового зама. Пришел он к нам в первый день и сказал:

— Давайте говорить правду в глаза. В центре уже давно гово -

рят правду в глаза. Давайте и мы тоже будем говорить.

И начали мы говорить правду в глаза: первым рубанули командира — выбросили его из партбюро за пьянство — взяли и выкинули, а вдогонку еще и по лысине треснули — выговор воткнули, но и этого показалось мало — догнали и еще ему навтыкали, пока он не успел опомниться — переделали выговор на строгий выговор. Потом его потащили за чуприну на парткомиссию, и парткомиссия до того от перестройки в беспамятство впала, что утвердила ему не просто строгий выговор, а еще и с занесением.

Командир сначала от всех этих потрясений дара речи лишился и всю эту процедуру продержался в каком-то небывалом отупении.

Потом он себе замочил мозги на сутки в настое радиолы розовой, пришел в себя и заорал на пирсе:

— Ме - ня - яяя!!! Как ссс - ра - но - го ко - тааа!!! Этот пидор македонский! Этот перестройщик ушастый!

ГАНДОН ШТОПАНЬИ!!! И - я - я - я! Дни и ночи - ии! Напролет... как проститутка - ааа! В одной и той же позе - еее! ..Не ме - ня - я бе - ль - яя! Насиловали все кому не лень! Брали за уши и... я не спал... не жрал... У меня кожа на роже стала, как на жожюко - пе у кррро - ко - дила! Откуда он взялся на мою лысую голову?! Откуда?! Где нашли это чудо природы?! Где он был, когда я автономил? Где?! Я ВАМ ЧТО!!!

После этого два дня было тихо. Потом от нас зама убрали.

ЧЕРНЫЙ ПЕСЕЦ

Есть такой на флоте зверь — «черный песец», и водится он в удивительных количествах. Появляется он всегда внезапно, и тогда говорят: «Это «черный песец» — военно - морской зверь».

...Первый час ночи; лодка только с контрольного выхода, еще не успели как следует приткнуться, привязаться, принять концы питания с берега, а уже звонками всех вызвали на пирс, построили и объявили, что завтра, а вернее, уже сегодня, в десять утра, на корабль прибывает не просто так, а вице - президент Академии наук СССР вместе с командующим, а посему — прибытие личного состава на корабль в пять утра, большая приборка до девяти часов, а затем на корабле должны остаться: вахта, командиры отсеков и боевых час -

тей, для предъявления. В общем, смотрины, и поэтому кто - то сразу отправился домой к женам, кто - то остался на вахте и на выводе нашей главной энергетической установки, а кто - то, с тоски, лег в каюте в коечку и тут же... кто сказал «подох»? — тут же уснул, чтоб далеко не ходить.

К девяти утра сделали приборку, и корабль обезлюдет; в центральном в кресле уселся командир, рядом — механик, комдив три, и остальные - прочие из табеля комплектации центрального поста; весь этот человеческий материал разместился по - штатному и предался ожиданию. Волнение, поначалу способствующее оживлению рецепторов кожи, потихоньку улеглось, состояние устоялось, и сознание из сплошного сделалось проблесковым.

Вице - президента не было ни в десять, ни в одиннадцать, где - то в полдвенадцатого обстановку оживил вызов «каштана», резкий, как зубная боль, — все подскочили. Матрос Аллахвердиев Тимуртаз запросил «добро» на продувание гальюна третьего отсека.

— Комдив три! — сказал командир с раздражением.

— Есть!

— Уймите свой личный состав, уймите, ведь до инфаркта доведут!

— Есть!

— И научите их обращаться с «каштаном»! Это боевая трансляция. Научите, проинструктируйте, наконец, а то ведь утопят когда -нибудь нас, запросят вот так «добро» и утопят!

— Есть!

Трюмный Аллахвердиев Тимуртаз был в свое время послан на корабль самим небом. Проинструктировали его не только по поводу обращения с «каштаном», но и по поводу продувания гальюна. Происходило это так:

— Эй, там внизу, «баш уста», ты где там?

— Я здэс, таш мычман!

— Ты знаешь, где там чего открывать - то, ходячее недоразумение?

— Так точно!

— Смотри мне, сын великого народа, бортовые клапана не забудь открыть! Да, и крышку унитаза прижми, а то там захлопка не пашет, так обделаешься — до ДМБ не отмоешься, мама не узнает!

— Ест..

— А ну, докладывай, каким давлением давить будешь?

— Э - э... все нормально будет.

— Я те дам «все нормально», знаем мы; смотри, если будет, как в прошлый раз, обрез из тебя сделаю.

— Ест...

Бортовые клапана Тимуртаз перепутал; он открыл, конечно, но не те. Потом он тщательно закрыл крышку унитаза, встал на нее сверху и вдул в баллон гальюна сорок пять кило вместо двух: он подумал, что так быстрее будет. Поскольку «идти» баллону гальюна было некуда, а Тимуртаз все давил и давил, то баллон потужился - потужился, а потом труба по шву лопнула и содержимое баллона гальюна — двести килограммов смешных кашешек — принялись сифонить в отсек, по дороге под давлением превращаясь в едучий туман. Наконец баллон облегченно вздохнул. Туман лениво затопил трюм. Тимуртаз, наблюдая по манометрам за процессом, решил, наконец, что все у него из баллона вышло, перекрыл воздух, спрыгнул с крышки унитаза и отправился в трюм, чтоб перекрыть бортовые клапана. При подходе к люку, ведущему в трюм, Тимуртаз что-то почувствовал, он подбежал к отверстию, встал на четвереньки, свесил туда голову и сказал только: «Вай, Аллах!»

Прошло минут двадцать, за это время в центральном успели забыть напрочь, что у них когда-то продували гальюн. Туман, заполнив трюм по самые закоулки, заполнил затем нижнюю палубу и, нерешительно постояв перед трапом, задумчиво полез на среднюю, расположенную непосредственно под центральным постом.

Центральный пребывал в святом неведении:

— Что у нас с вентиляцией, дежурный?

— Отключена, товарищ командир.

— Включите, тянет откуда - то...

Дежурный послал кого-то. Прошло минут пять.

— Чем это у нас пованивает? — думал вслух командир. — Комдив три!

— Есть!

— Пошлите кого-нибудь разобраться.

Старшина команды трюмных нырнул из центрального головой вниз и пропал. Прошла минута — никаких докладов.

— Комдив три!

— Есть!

— В чем дело?! Что происходит?!

— Есть, товарищ командир!

— Что «есть»? Разберитесь сначала!

Комдив три прямо с трапа ведущего вниз исчез и... тишина! Командир ворочался в кресле. Прошла еще минута.

— Чёрти что! — возмущался командир. — Чёрти что!

Туман остановился перед трапом в центральный и заволновался. В нем что-то происходило. Видно, правда, ничего не было, но жизнь чувствовалась.

— Черт знает что! — возмущался командир. — Воняет чем-то. Почти дерьмом несет, и никого не найдешь!

Командир даже встал и прошелся по центральному, потом он сел.

— Командир БЧ-5! — обратился он к механику.

— Есть!

— Что «есть»? Все мне говорят «есть», а говном продолжает нести! Где эти трюмные, мать их уети! Разберитесь наконец!

Командир БЧ-5 встал и вышел. Командиру не сиделось, он опять вскочил.

— Старпом!

— Я!!!

— Что у вас творится в центральном?! Где организация?! Где все?! Куда все делись?!

Старпом сказал: «Есть!» — и тоже пропал. Наступила тишина, которая была гораздо тишине той, прошлой тишины. Туман полез в центральный, и тут, опережая его, в центральный ввалился комдив три и, ни слова не говоря, с безумным взглядом, вывалил к ногам командира груды дезодорантов, одеколонов, лосьонов и освежителей.

— Сейчас! — сказал он горячно. — Сейчас, товарищ командир! Все устраним! Все устраним!

— Что!!! — заорал командир, все еще не понимающий. — Что вы устранили?! Что?!

— Аллахвердиев!..

— Что Аллахвердиев?!

— Он...

— Ну?!

— Галльон в трюм продул... зараза!..

— А - а - а... а вытяжной... вытяжной пустили?!

— Сейчас... сейчас пустим, товарищ командир, не волнуйтесь!..

— Не волнуйтесь?! — и тут командир вспомнил про Академию наук, правда, несколько не в той форме: — Я тебе «пущу» вытяжной! Ты у меня уйдешь в академию! Все документы вернуть! В прочный корпус тебе нужно, академик, гальюны продувать... вместе с твоим толстожопым механиком! Сами будете продувать, пока всех своих киргизов не обучите! Всех раком поставлю! Всех! И в этом ракообразном состоянии... — Командир еще долго бы говорил и говорил о «киргизах» и о «ракообразном состоянии», но тут центральный вызвал на связь верхний вахтенный.

— Есть, центральный!

— На корабль спускается командующий и... и ... — Вахтенный забыл это слово.

— Ну?!

— ...и вице - президент Академии наук СССР...

И наступил «черный песец». Командир, как укушенный, подскочил к люку, сунул в него голову и посерел: на центральный надвигалась необъятная задница. То была задница Академии наук! Командир задергался, заметался, потом остановился и вдруг в прыжке он схватил с палубы дезодоранты и освежители и начал ими поливать и поливать, прямо в надвигающийся зад академику, и поливал он до тех пор, пока тот не слез. Академик слез, повернулся, а за ним слез командующий, а командир успел пнуть ногой под пульт одеколоны и дезодоранты и представиться Академик потянул носом воздух и пожевал:

— М - м... да... э - э... а у вас всегда так... м - м... Э - э... пахнет?..

— Так точно! — отчеканил командир.

— Э - э... что - то не додумали наши ученые... с очисткой... мда, не додумали... — покачал головой академик.

Командующий был невозмутим. Он тоже покачал головой, мол, да, действительно, что - то не додумали, и проводил академика до переборки во второй отсек. Командир следовал за ними, соблюдая уставную дистанцию, как верная собака. Он был застегнут, подтянут, готов к исполнению. У переборки, когда зад академика мелькнул во второй раз, командующий повернулся к командиру и тихо заметил:

— Я вам додумаю. Я вам всем додумаю. Я вам так додумаю, что месяц на задницу сесть будет страшно. Потому что больно будет сесть... Слезми... все у меня изойдете... слезми...

ФЛОТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Жили - были в Севастополе два крейсера: крейсер «Крым» и крейсер «Кавказ». Они постоянно соревновались в организации службы. Подъем флага и прочие регалии происходили на них секунда в секунду, а посыльные катера отходили ну просто потелька в потельку, на хорошей скорости, пеня носом, по красивой дуге. Командиры обоих кораблей приветствовали друг друга с той порцией теплоты и сердечности, которая только подчеркивала высокое различие. Команды крейсеров, можно сказать, дружили, но во всем, даже в снимании женщин и в легком питии, хорошим тоном считалась равная скорость.

Время было послевоенное, голодное, и отдельным женщинам, проще говоря теткам, разрешалось забирать остатки с камбуза. Ровно в 14.00 они вместе с ведрами загружались в оба катера и отправлялись забирать на оба крейсера. Катера никогда не опаздывали — 14.00 и баста. И вот однажды свезли на берег двух шифровальщицков. Те направились прямо в штаб и надолго там застряли. Стрелка подползала к 14-ти часам, и командир одного из крейсеров, дожидаясь отправления, жестоко страдал. Скоро 14.00, а этих двух лахудр не наблюдается. Тяжелое это дело — ожидание подчиненных, просто невыносимое. Командир неотрывно смотрел на дорогу, поминутно обращаясь к часам. Оставалось пять минут до возникновения непредсказуемой ситуации, и тут вдалеке показались эти два уroda — шифровальщицки. Они шли в легком променаде и болтали, а перед ними, шагов за десять, в том же направлении шлепали и болтали две тетки с ведрами под камбузную баланду.

— И-и-из-зза-д-ву-х-бли-ии-де-й! — тонко закричал командир шифровальщицкам, передавая в голосе все свое непростое страдание, — нарушается флотская организация!

Тетки, приняв крик на свой счет, прибавили шагу, а за ними и шифровальщицки.

— Быстрей! — возмутился командир. — Бегом, я сказал!

Тетки побежали, а за ними и шифровальщицки. Их скорость не влезала ни в какие ворота, стрелка подкрадывалась к 14-ти часам.

— Антилопистей, суки, антилопистей!!! — заорал командир, время отхода мог спасти только отборнейший мат.

— Вы-де-ру! — бесновался командир. — Всех выдеру!

Громяхая ведрами, высоко вскидывая коленями юбки, мчались, мчались несчастные тетки, а за ними и шифровальщики, тяжело дыша. «Кавалькада» неслась наперегонки с секундной стрелкой. В эту гонку вмешались все: кто - то смотрел на бегущих, кто - то на стрелку, кто - то шептал: «Давай! Давай!» Все! Первыми свалились с причала тет - ки, за ними загремели шифровальщики — каждый в свой катер, и ровно в 14.00, тютелька в тютельку, катера отвалили и на хорошей скорости, пеня носом, разошлись, направляясь к крейсерам по кра - сивой дуге.

Я ВСЕ ЕЩЕ МОГУ...

Я все еще могу отравить колодец, напустить на врага заражен - ных сусликов, надеть противогаз за две секунды.

Я могу запустить установку, вырабатывающую ядовитые дымы, отличить по виду и запаху адамсит от фосгена, иприт от зомана, Си - Эс от хлорацетофенона.

Я знаю «свойства», «поражающие факторы» и «способы».

Я могу не спать трое суток, или просыпаться через каждый час, или спать сидя, стоя; могу так суток десять.

Могу не пить, столько же не есть, столько же бежать или сле - довать марш - бросками по двадцать четыре километра, в полной выкладке, выполнив команду «Газы!», то есть в противогазе, в за - щитной одежде, вот только иногда нужно будет сливать из - под маски противогаза пот — наши маски не приспособлены к тому, чтоб он сливался автоматически, особенно если его наберется столько, что он начинает хлопать под маской и лезть в ноздри.

Я хорошо вижу ночью, переносу обмерзание и жару. Я не пу - гаюсь, если зубы начинают шататься, а десны болеть и из - под них, при надавливании языком, появляется кровь. Я знаю, что делать.

Я знаю съедобные травы, листья; я знаю, что если долго жевать, то усваивается даже ягель.

Я могу плыть — в штиль или в шторм, по течению или против, в лагах и не в лагах, в костюмах с подогревом или вовсе без костюма. Я долго так могу плыть.

Я могу на несколько месяцев разлучаться с семьей, могу высту - пить «на защиту интересов», собраться, бросив все, и вылететь черт -

те куда. Могу жить по десять человек в одной комнате, в мороз, могу вместе с женами — своей, чужими, — отогреваться под одеялами собственным дыханием, надев водолазные свитера.

Могу стрелять — в жару, когда ствол раскаляется и — в холод, когда пальцы приклеиваются к металлу.

Могу разместить на крыше дома пулеметы так, чтобы простреливался целый квартал, могу разработать план захвата или нападения, могу бросить гранату или убить человека с одного удара — человека так легко убить.

Я все это еще могу...

МАФИЯ

В коридоре, за дверью, слышалась возня и грохот сапог. Оттуда тянулся портяночный запах растрепанной казармы.

Вот и утро. «Народ» наш еще спит, проснулся только я. В каюте у нас три койки: две подряд и одна с краю. На ближней к двери спит СМР (читать надо так — Сэ - Мэ - эР, у него такие инициалы), на следующей — я, а на той, что в стороне, развалился Лоб.

Обычно курсантские клички — точный слепок с человека, но почему меня называют Папулей, я понятия не имею. Вот Лоб — это Лоб. Длинный, лохматый, тощий; целых два метра и сверху гнется. Вот он, собака, дышит. Опять не постирал носки. Чтоб постоянно выводить его из себя, достаточно хотя бы раз в сутки, лучше в одно и то же время, примерно в 22 часа, спрашивать у него: «Лоб, носки постирал!» А еще лучше разбудить и спросить.

СМР дышит так, что не поймешь, дышит ли он вообще. Если б в сутках было бы двадцать пять часов, СМР проспал бы двадцать шесть. Он всегда умудряется проспать на один час больше того, что физически возможно.

СМР — вдохновенный изобретатель поз для сна. Он может охватить голову левой рукой и, воткнув подбородок в сгиб локтя, зафиксировать ее вертикально. Не вынимая ручки из правой руки, он втыкает ее в конспект и так спит на лекциях. В мои обязанности в таких случаях входит подталкивание его при подходе преподавателя. Тогда первой просыпается ручка, сначала она чертит неровную кривую, а потом появляются буквы.

СМР с детства плешив. Когда его спрашивают, как это с ним случилось, он с удовольствием перечисляет: пять лет по лагерям (по пионерским, родители отправляли его на три смены, не вынимая), три года колонии для малолетних преступников (он закончил Нахимовское училище) и пять лет южной ссылки (как неисправимый троечник, он был направлен в Каспийское училище вместо Ленинградского).

Правда, если его спросить: «Слушай, а отчего ты так много спишь?» — он, не балуя разнообразием, затыкает: «Пять лет по лагерям...»

Шесть часов утра. Мы живем в казарме. У нас отдельная каюта. Замок мы сменили, а дырку от ключа закрыли наклеенными со стороны каюты газетами. Так что найти нас или достать — невозможно. Не жизнь, а конфета. Вообще - то уже две недели как мы на практике, на атомных ракетносцах. По - моему, ракетносцы об этом даже не подозревают. Встаем мы в восемь, идем на завтрак, потом сон до обеда, обед, сон до ужина, ужин и кино. И так две недели. Колоссально. Правда, лично я уже смотрю на койку как на утомительный снаряд — все тело болит.

Раздается ужасный грохот: кто - то барабанит в нашу дверь. СМР вытаскивается из одеяла: «Ну, чего надо?» «Народ» наш проснулся, но вставать лень. Стучит наверняка дежурный. Вот придурок (дежурными стоят мичмана).

— Жопой постучи, — советует СМР.

Мы с Лбом устраиваемся, как римляне на пиру, сейчас будет весело. Грохот после «жопы» усиливается. Какой - то бешеный мичман.

— А теперь, — СМР вытаскивает палец из - под одеяла и, налюбовавшись им, милостиво тыкает в дверь, — го - ло - вой!

Дверь ходит ходуном.

— А теперь опять жопой! — СМР уже накрылся одеялом с головой, сделал в нем дырку и верещит оттуда.

В дверь молотят ногами.

— Вот дурак! — говорит нам СМР и без всякой подготовки тонко, противно вопит: — А теперь опять головой!

За дверью слышится такой вой, будто кусают бешеную собаку.

— Жаль человека, — роняет СМР со значением, — пойду от - крою.

Он закутывается в одеяло и торжественный, как патриций, от-
правляется открывать.

— Заслужил, бя-яш-ка, — говорит он двери и, открыв, еле
успекает отпрыгнуть в сторону.

В дверь влетает капитан первого ранга, маленький, как пони,
примерно метр от пола. Он с воем, боком, как ворона по полю,
скачет до батареи, хватает с нее портсигар с сигаретами и, хрякнув,
бьет им об пол.

— Вста-ать!

Мы встаем. Это командир соседей по кличке «Мафия», или
«Саша — тихий ужас», вообще - то интеллигентный мужчина.

— Суки про-то-коль-ные! — визжит он поросенком на од-
ной ноте. — Я вас научу Родину любить!

Мы в трусах, босиком, уже построены в одну шеренгу. Инте-
ресно, пороть будет или как?

— Одеться!

Через минуту мы одеты. Мафия покачивается на носках. Кличку
он получил за привычку, втянув воздух, говорить: «У-у-у, мафия!»

— Раздеться!

Мы тренируемся уже полчаса: минута — на одевание, минута —
на раздевание. Мафия терпеть не может длинных. Все, что выше
метр двадцать, он считает личным оскорблением и пламенно нена-
видит. К сожалению, даже мелкий СМР смотрит на него сверху
вниз.

— А тебя-я, — Мафия подползает к двухметровому Лбу, —
тебя-я, — захлебывается он, подворачивая головой, — я сгною!
Сначала остригу. Налысо. А потом сгною! Ты хочешь, чтоб я тебя
сгноил?

В общем - то, Лоб у нас трусоват. У него мощная шевелюра и
ужас в глазах. От страха он говорить не может и потому мотает
головой. Он не хочет, чтоб его сгноили.

Мафия оглядывается СМРа, так, здесь стричь нечего, и меня, но
я недавно стригся.

— Я перепишу вас к себе на экипаж. Я люблю таких... Вот та-
ких... У-ро-ды!

В этот момент, как - то подозрительно сразу, Мафия успокаива-
ется. Он видит на стене гитару. СМР делает нетерпеливое, шейное
движение. Это его личная гитара. Если ею брякнут об пол...

— Чья гитара?

— Моя.

— Разрешите поиграть? — неожиданно буднично спрашивает
Мафия.

СМР от неожиданности давится и говорит:

— Разрешаю.

Через минуту из соседней комнаты доносится плач гитары и
«Темная ночь...».

После обеда мы решили не приходить. Лоб и я в каюту пошел
только СМР.

— Не могу, — объяснил он, — спать хочу больше, чем жить.
Закроюсь.

Ровно в 18.00 он открыл нам дверь, белый, как грудное молоко.

— Меня откупоривали.

Как только СМР после обеда лег, он сразу перестал дышать.
Через двадцать минут в дверь уже барабанили.

— Открой, я же знаю, что ты здесь, хуже будет.

За дверью слышалась возня. Два капитана первого ранга, ко-
мандиры лодок, сидели на корточках и пытались подсмотреть в нашу
замочную скважину. Через три листа газеты нас не очень - то и уви-
дишь.

— Ни хрена не видно, зелень пузатая, дырку заделали. Дежур-
ный, тащи сюда все ключи, какие найдешь.

Скоро за дверью послышалось звяканье и голос Мафии:

— Так, так, так, вот, вот, вот, уже, уже, уже. Во - от сейчас доста-
нем. Эй, может, сам выйдешь? Я ему матку оборву, глаз на жопу
натяну.

СМР чувствовал себя мышью в консервной банке: сейчас от-
кроют и будут тыкать вилкой.

— Вот, вот уже.

Сердце замирало, пот выступал, тело каменело. СМР стано-
вился все более плоским.

— Тащи топор, — не унывали открыватели. — Эй ты, — ши-
пели за дверью, — ты меня слышишь? Топор уже тащат.

СМР молчал. Сердце стучало так, что могло выдать.

— Ну, ломаем? — решали за дверью. — Тут делать нечего —
два раза погнуть. Ты там каюту еще не обгадил? Смотри у меня. Да
ладно, пусть живет. Дверь жалко. Эй ты, хрен с бугра, ты меня слы-

шишь? Ну, сука потная, считай, что тебе повезло.

Возня стихла. У СМРа еще два часа не работали ни руки, ни ноги.

Я встретил Мафию через пять лет.

— Здравия желаю, товарищ капитан первого ранга.

Он узнал меня.

— А, это ты?

— Неужели помните?

— Я вас всех помню.

И я рассказал ему эту историю. Мы еще долго стояли и смеялись. Он был уже старый, домашний, больной.

ВРАГИ

Зам сидел в кают - компании на обеде и жевал. У него жевало все: уши, глаза, ноздри, растопыренная челка, ну и рот, само собой. Неприступно и торжественно. Даже во время жевания он умудрялся сохранять выражение высокой себестоимости всей проделанной работы.

Напротив него, на своем обычном месте, сидел помощник ко - мандира по кличке «Поручик Ржевский» — грязная скотина, ма - терщинник и бабник.

Зам старался не смотреть на помощника, особенно на его сальные волосы, губы и воротничок кремовой рубашки. Это не добавляло аппетита.

Зам был фантастически, до неприличия брезглив. Следы вестового на стакане с чаем могли вызвать у него судороги.

Помощник внимательно изучал лицо жующего зама сквозь полузакрытые веки. Они были старые враги.

«Зам младше на три года и уже капитан 3 - го ранга. Им что — четыре года, и уже человек, а у нас — пять лет — и еще говно. Замуууля. Великий наш. Рот закрыл — матчасть в исходное. Изрек — и в койку. Х - х - хорек твой папа».

Помощник подавил вздох и заковырял в тарелке. Его только что отодрали нещадно - площадно. Вот эта довольная рожа на - против: «Конспекты первоисточников... ваше полное отсутствие... порядок на камбузе... а ваш Атахаджаев опять в лагуне ноги мыл...» —

и все при личном составе, курвеныш.

Увы, помощника просто раздирало от желания нагадить заму. Он, правда, еще не знал как.

Рядом из щели вылез огромный, жирный, блестящий таракан и зашевелил антеннами.

Помощник улыбнулся внутренностями, покосился на зама, лживо вздохнул и со словами: «Куда у нас только доктор смотрит?» — потянувшись, проткнул его вилкой.

Зам, секунду назад жевавший безмятежно, испытал такой толчок, что у него чуть глаза не вышибло.

Помощник быстро сунул таракана в рот и сочно зажевал.

Зам забился головенкой, засвистал фистулой, вскочил, наткнулся на вестового, с треском ударился о переборку и побежал, пуская во все стороны тонкую струю сквозь закупоренные губы, и скоро, захлебываясь, упал в буфетной в раковину и начал страстно ей все объяснять.

Ни в одну полтитинформацию зам не вложил еще столько огня.

Помощник, все слыша, подумал неторопливо: «Вот как вредно столько жрать», — достал изо рта все еще живого таракана, щелчком отправил его в угол, сказав: «Чуть не съел, хороняку», — ковырнул в зубах, обсосал и довольный завозился в тарелке.

На сегодня крупных дел больше не было.

«...РАССТРЕЛЯТЬ!»

Утро окончательно заползло в окошко и оживило замурованных мух, судьба считывала дни по затасканному списку, и комендант города Н., замшелый майор, чувствовал себя как - то печально, как, может быть, чувствует себя отслужившая картофельная ботва.

Его волосы, глаза, губы - скулы, шея - уши, руки - ноги — все говорило о том, что ему пора: либо удавиться, либо демобилизоваться. Но демобилизация, неизбежная, как крах капитализма, не делала навстречу ни одного шага, и дни тянулись, как коридоры гауптвахты, выкрашенные шаровой краской, и капали, капали в побитое темечко.

Комендант давно был существом круглым, но все еще мечтал, и все его мечты, как мы уже говорили, с плачем цеплялись только за

ослепительный подол ее величества мадам демобилизации.

Дверь — в нее, конечно же, постучали — открылась как раз в тот момент, когда все мечты коменданта все еще были на подоле, и комендант, очнувшись и оглянувшись на своего помощника, молодого лейтенанта, стоящего тут же, вздохнул и уставился навстречу знакомым неожиданностям.

— Прошу разрешения, — в двери возник заношенный старший лейтенант, который, потоптавшись, втащил за собой солдата, держа его за шиворот, — вот, товарищ майор, пьет! Каждый день пьет! И вообще, товарищ майор...

Голос старлея убаюкал бы коменданта до конца, продолжайся он не пять минут, а десять.

— Пьешь? А, воин - созидатель? — комендант, тоскливо скучившись, уставился воину в лоб, туда, где, по его разумению, должны были быть явные признаки среднего образования.

«Скотинизм», — подумал комендант насчет того, что ему не давали демобилизации, и со стоном взялся за обкусанную телефонную трубку: слуховые чашечки ее были так стерты, как будто комендант владел деревянными ушами.

— Москва? Министра обороны... да, подожду...

Помощник коменданта — свежий, хрустящий, только с дерева лейтенант — со страхом удивился, — так бывает с людьми, к которым на лавочку, после обеда, когда хочется рыгнуть и подумать о политике, на самый краешек подсаживается умалишенный.

— Министр обороны? Товарищ маршал Советского Союза, докладывает майор Носотыкин... Да, товарищ маршал, да! Как я уже и докладывал. Пьет!.. Да... Каждый день... Прошу разрешения... Есть... Есть расстрелять... По месту жительства сообщим... Прошу разрешения приступить... Есть...

Комендант положил трубку.

— Помощник! Где у нас книга расстрелов?.. А - а, вот она... Так... фамилия, имя, отчество, год и место рождения... домашний адрес... национальность... партийность... Так, где у нас план расстрела?

Комендант нашел какой-то план, потом он полез в сейф, вытащил оттуда пистолет, передернул его и положил рядом.

Помощник, вылезая из орбит, затрясся своей нижней частью, а верхней — гипнозно уставился коменданту в затылок, в самый мозг, и по каплям наполнялся ужасом. Каждая новая капля обжигала.

— ...Так... планируемое мероприятие — расстрел... участники... так, место — плац, наглядное пособие — пистолет Макарова, шестнадцать патронов... руководитель — я... исполнитель... Помощник! Слышь, лейтенант, сегодня твоя очередь. Привыкай к нашим боевым будням! Расстреляешь этого, я уже договорился. Распишись вот здесь. Привести в исполнение. Когда шлепнешь его...

Командант не договорил: оба тела дробно рухнули; впечатлительный лейтенант — просто, а солдат — с запахом.

Командант долго лил на них из графина с мухами.

Его уволили в запас через месяц. Командант построил гауптвахту в последний раз и заявил ей, что, если бы знать, что все так просто, он бы начал их стрелять еще лет десять назад. Пачками.

МУКИ КОРОВИНА

Старпом Коровин был известен как существо дикое, грубое и неотесанное. Огромный, сильный как мамонт, к офицерам он обращался только по фамилии и только с добавлением слов «козел вонючий».

— Ну ты, — говорил он, — козел вонючий! — И офицер понимал, что он провинился.

Когда у офицерского состава терпение все вышло, он — офицерский состав — заплакался замполиту.

— Владим Сергеич! — начал замполит. — Народ... то есть люди... вас не понимают, то ли вы их оскорбляете, то ли что? И что это вы за слова такие находите? У нас на флоте давно сложилась практика обращения друг к другу по имени - отчеству. Вот и обращайтесь...

Старпом ушел черный и обиженный. Двое суток он ломал себя, ходил по притихшему кораблю и, наконец, доломав, упал в центральном в командирское кресло. Обида все еще покусывала его за ласты, но в общем он был готов начать новую жизнь.

Вняв внушениям зама, старпом принял решение пообщаться. Он сел в кресло поудобней, оглянулся на сразу уткнувшиеся головы и бодро схватил график нарядов.

Первой фамилией, попавшейся ему на глаза, была фамилия Петрова. Рядом с фамилией гнездились инициалы — В. И.

— Так, Петрова в центральный пост! — откинулся в кресле старпом.

— Старший лейтенант Петров по вашему приказанию прибыл!

Старпом разглядывал Петрова секунд пять, начиная с ботинок, потом он сделал себе доброе лицо и ласково, тихо спросил:

— Ну... как жизнь... Володя?

— Да... я, вообще - то, не Володя.. я — Вася.. вообще - то...

В центральном стало тихо, у всех нашлись дела. Посеревший старпом взял себя в руки, втянул на лицо сбежавшую было улыбку, шепнул про себя: «Курва лагерная» — и ласково продолжил:

— Ну, а дела твои как... как дела... Иваныч!

— Да я вообще - то не Иваныч, я — Игнатыч... вообще - то...

— Во - обще - то - о, — припадая грудью к коленям, зашипел потерявший терпенье старпом, вытянувшись как вертишейка, — коз - з - зел воночий, пош - шел вон отсюда, жопа сраная..

САПОГ И ТРАП

Капитан первого ранга Сапогов (кличка Сапог), хам, пьяница и зам командира дивизии по боевой подготовке, бежал на лодку. Рядом с ним вприпрыжку, еле успевая бежал ученый из Севастополя. Он был совершенно не подготовлен к тому, что на флоте так не - сятся. Тяжко дыша и стараясь забежать перед Сапогом, он все пы - тался заглянуть ему в глаза. Ученый интересовался трапами. Он должен был выдумать такой трап, который был бы настоящим подарком для флота. Для этого он и приехал, чтоб пристально изучить запросы и нужды флота. Пристально не получалось. Его пристегнули к Сапогу, а тот постоянно куда - то бежал. Вот и сейчас он очень опаздывал, до зуда чесоточного опаздывал.

— А... какой вам нужен трап? — вырывалось из научной груди со столетним хрипом.

— Трап? Я ж тебе говорю — легкий, прочный, чтоб усилием шести человек: раз — и в сторону, — бежал вперед пьяница, хам и зам командира дивизии.

Времени ни капли, он даже ныл на бегу. С минуту они бежали молча, ученый обсасывал информацию.

— Ну, а все - таки? Какие особенности должны быть?.. Как вы

считаете?

— У кого? У трапа? Ну, ты... я ж тебе говорю: легкий, прочный, чтоб шесть человек с пирса на пирс...

«Скорей, скорей, — гнал себя Сапог, вечно в диком цейтноте, — а тут еще наука за штаны цепляется». Он прибавил темп. Через минуту его нагнал ученый.

— Ну, а все - таки, как вы считаете?.. Что он должен иметь в первую очередь?

— Кто? Трап?

Зам командира дивизии, пьяница и хам, резко затормозил. Природный цвет у него был красный. Рачьи глаза уставились на ученого. Потом он взял его за галстук и придвинулся вплотную. Неожиданно для науки он завизжал:

— Кле - па - ный Ку - ли - бин!!! Я тебе что сказал? Легкий, прочный, чтоб шесть человек с разгону его хватъ — и на горбюку; и впереди своего визга, вприпрыжку, километрами неслись, радостно жопы задрал. Ты чего, наука? Вялым Келдышем, что ли, сделан? А? Чего уставился, глист в обмороке? Откуда ты взялся, ящур? Тебе ж сдохнуть пора, а ты все трапы изобретаешь. Присосались к Родине, как кенгурята к сисе. Не оторвешь, пока не порвешь. Облепили, ду - ре - ма - ры...

И так далее, и так далее. В направлении уменьшения количества слов, букв и культура. Сапог остановился, когда культуры совсем не осталось, а букв осталось всего три. Он перевел дух и сложил три буквы в последнее слово, короткое как кукиш.

Ученый окаменел. В живом виде он такие слова в свою сторону никогда не слышал.

Увидев, что ученый окаменел, Сапог бросил его со словами: «Охмурил окончательно, не обмочился бы» — и убежал на дудящий вонсю пароход.

Когда он пришел из автономки, его ждал трап. По нему можно было наладить двустороннее движение. Весил он ровно на тонну больше того, что могут, надорвавшись, поднять шесть человек.

— Где этот Кулибин? — завопил Сапог, увидев трап и пнув его с размаху ногой. — Разрубить на куски и отправить в Севастополь. Откуда это взялось, я спрашиваю, с чьей подачи?

Он долго еще мотался по пирсу, а рядом виновато суетился и во все вникал дежурный по дивизии.

ВАРЕННЫЙ ЗАМ

Зама мы называли «Мардановым через «а». Как только он появился у нас на экипаже, мы — командиры боевых частей — утверждали им планы политико-воспитательной работы. Все написали: «Утверждаю, Морданов». Через «о».

— Я — Марданов через «а», — объявил он нам, и мы тогда впервые услышали его голос. То был голос вконец изнасилованной и обессиленной весенней телки.

Когда он сидел в аэропорту города Симферополя, где человек пятьсот мечтало вслух улететь и составляло по этому поводу какие-то списки, он двое суток ходил вокруг этой безумной толпы, перидически подпрыгивал, чтоб заглянуть, и кричал при этом криком коростеля

— Посмотрите! Там Марданов через «а» есть?..

Инженер неискушенных душ. Он познал нужду на Черном флоте, был основательно истоптан жизнью и людьми, имел троих детей и любил слово «нищета».

— Нищета там, — говорил он про Черноморский флот, и нам тут же вспоминались подворотни Манхэттена.

У него был большой узкий рот, крупные уши, зачеркнутая морщинами шея и тусклый взгляд уснувшего карася.

Мы его еще ласково называли Мардан Марданычем и «Подарком из Африки». Он у нас тяготел к наглядной агитации, соцсоревнованию и ко всему сельскому: сбор колосовых приводил его в судорожное возбуждение.

— Наш зернобобовый! — изрекали в его сторону корабельные негодяи, а матросы называли его Мухомором, потому что рядом с ним не хотелось жить.

Он любил повторять: «Нас никто не поймет» — и обладал вредной привычкой общаться с личным составом.

— Ну, как наши дела? — произносил он перед общением замогильным голосом восставшей совести, от которого живот начинал чесаться, по спине шла крупная гусиная кожа, а руки сами начинали бегать и хватать сзади что попало.

Хотелось тут же переделать все дела.

Однажды мы его сварили.

Вам, конечно же, будет интересно узнать, как мы его сварили. А

вот как.

— Ну, как наши дела? — втиснулся он как - то к нам на боевой пост. Входил он всегда так медленно и так бурлачно, как будто за ним сзади тянулся бронированный хвост.

В этот момент наши дела шли следующим образом: киловат - тным кипятильником у нас кипятилось три литра воды в стеклянной банке. Банка кипела, как на вулкане. Чай мы заваривали.

— Ну, как..

Дальше мы не слышали, мы наблюдали: он запутался рукавом в нагревателе и поволок его вместе с банкой за собой.

Мы: я и мой мичман — мастер военного дела — проследили зачарованно их — его и банки — последний путь.

— ...наши дела... — закончил он и сел; банка опрокинулась, и три литра кипятка вылилось ему за шиворот.

Его будто подняли. Первый раз в жизни я видел вареного зама: он взлетел вверх, стукнулся об потолок и заорал как необразован - ный, как будто нигде до этого не учился, — и я понял, как орал дикие печенег, когда Владимир - Солнышко поливал их кипящей смолой.

Слаба у нас индивидуальная подготовка! Слаба.

Не готовы замы к кипятку. Не готовы. И к чему их только гото - вят?

Наконец мы очнулись и бросились на помощь. Я зачем - то схва - тил зама за руки, а мой мичман — мастер военного дела — кричал: «Ой! Ой!» — и хлопал его зачем - то руками по спине. Тушил, на - верное.

— Беги за подсолнечным маслом! — заорал я мичману.

Тот бросил зама и с воплями: «Сварили! Сварили!» — умчался на камбуз.

Там у нас служили наши штатные мерзавцы.

— Насмерть?! — спросили они быстро. Им хотелось насмерть.

Мой мичман выпил у них от волнения воду из того лагуна, где мыли картошку, и сказал: «Не знаю».

За то, что он «не знает», ему налили полный стакан.

Мы раздели зама и начали лечить его бедное тело. Он дрожал всей кожей и исторгал героические крики.

Однако и проняло его же его! Мда - а. А проняло его от самой шеи до самых ягодич и двумя ручьями затекло ниже пояса вперед и

там спереди — ха - ха — все тоже обработало!

Спасло его только то, что при +28С° в отсеке он вместо нижнего белья носил шерстяной костюм.

Своя шерсть у него вылезла чуть позже — через неделю. Кожа, та тоже слезла, а там, где двумя ручьями затекло, там — ха - ха — снималось, как обертка с сосиски, то есть частично вместо с сосиской.

— Ну, как наши дела? — вполз он к нам на боевой пост остророженько через две недели, живой. — Воду не кипятите?..

КУВАЛДОМЕТР

— Смирно!

— Вольно!

В центральный пост атомного ракетноносца, ставший тесным от собранных командиров боевых частей, решительно врывается комдив, на его пути все расступаются.

Подводная лодка сдает задачу номер два. Море, подводное положение, командиры и начальники собраны на разбор задачи, сейчас будет раздача слонов и пряников.

Комдив — сын героя. Про него говорят: «Сын героя — сам герой!» Поджарый, нервный, быстрый, злющий, «хамло трамвайное». Когда он вызывает к себе подчиненных, у тех начинается приступ трусости. «Разрешите!» — открывают они дверь каюты комдива; открывают, но не переступают, потому что навстречу может полететь бронзовая пепельница и в это время самое главное — быстро закрыть дверь; пепельница врезается в нее, как ядро, теперь можно открывать — теперь ничего не прилетит. Комдив кидается, потому что «сын героя».

— Та - ак! Все собраны? — Комдив не в духе, он резко поворачивается на каблуках и охватывает всех быстрым, злым взглядом.

— Товарищ комдив! — к нему протискивается штурман с катим - то журналом. — Вот!

Комдив смотрит в журнал, багровеет и орет.

— Вы что? Опупели?! Чем вы думаете? Головой? Жопой? Турецким седлом?!

После этого он бросает журнал штурману в рожу. Рожа у штурмана большая, и сам он большой, не промахнешься, журнал не зак-

рывает ее даже наполовину: стучается и отлетает. Штурман, отшатнувшись, столбенеет, «копупел», но ровно на одну секунду, потом происходит непредвиденное, потом происходит свист, и комдив, «сын героя», получив в лобешник (в лоб, значить) штурманским кувалдометром (кулачком, значить), взлетает в воздух и падает в командирское кресло, и кресло при этом разваливается: отваливается спинка и подлокотник.

Оценепело. Комдив лежит... с ангельским выражением... с остановившимися открытыми глазами... смотрит в потолок... рот полуоткрыт... «Буль - буль - буль», — за бортом булькает дырявая цистерна главного балласта... Ти - хо, как перед отпеванием; все стоят, молчат, смотрят, до того потерялись, что даже глаза комдиву закрыть некому; тяжело... Но вот лицо у комдива вдруг шевельнулось, дрогнуло, покосилось, где - то у уха пробежала судорога, глаза затеплели, получился первый вдох, который сразу срезонировал в окружающие: они тоже вдыхают; покашливает зам: горло перехватило. Комдив медленно приподнимается, осторожно садится, бережно берет лицо в ладони, подержал, трет лицо, говорит: «Мда - а - а...», думает, после чего находит глазами командира и говорит: «Доклад переносится на 21 час... помогите мне...», — и ему, некогда такому поджарому и быстрому, помогают, под руки, остальные провожают взглядами. На трапе он чуть - чуть шумно не поскользнулся: все вздрагивают, дергают головами, наконец он исчезает, командование корабля, не подав ни одной команды, тоже; офицеры, постояв для приличия секунду - другую, расходятся по одному; наступает мирная, сельская тишина...

Нет - нет - нет, штурману ничего не было, и задача была сдана с оценкой «хорошо».

КИСЛОРОД

— Химик! В качестве чего вы служите на флоте? В качестве мяса?!

Автономка. Четвертые сутки. Командир вызвал меня в центральный, и теперь мы общаемся.

— Где воздух, химик?

— Тык, товарищ командир, — развожу я руками, — пошло же

сто сорок человек. Я проверил по аттестатам. А установка.. (и далее скучнейший расчет) а установка.. (цифры, цифры, а в конце)...и больше не может. Вот, товарищ командир.

— Что вы мне тут арифметику... суете?! Где воздух, я вас спрашиваю? Я задыхаюсь. Везде по девятнадцать процентов кислорода. Вы что, очумели? Четвертые сутки похода, не успели от базы оторваться, а у вас уже нет кислорода. А что же дальше будет? Нет у вас кислорода — носите его в мешке! Что же нам, зажать нос и жопу и не дышать, пока у вас кислород не появится?!

— Тык... товарищ командир... я же докладывал, что в автономку можно взять только сто двадцать человек...

— Не знаю! Я! Все! Идите! Если через полчаса не будет по всем отсекам по двадцать с половиной процентов, выверну мехом внутрь! Идите, вам говорят! Хватит сопли жевать!

Скользя по трапу, я про себя облегчал душу и спускал пары:

— Ну, пещера! Ну, воще! Терракотова бездна! Старый гофрированный... коз - зель! Кто управляет флотом? Двоечники! Короли паркета! Скопище утраченных иллюзий! Убежище умственной оскопленности! Кладбище тухлых бифштексов! Бар - раны!..

Зайдя на пост, я заорал мичману:

— Идиоты! Имя вам — легион! Ходячие междометия. Кислород ему рожай! Понаберут на флот! Сейчас встану в позу генератора, лузой кверху, и буду рожать!

Вдохнув в себя воздух и успокоившись, я сказал мичману:

— Ладно, давай, пройдишь по отсекам. Подкрути там газоанализаторы. Много не надо. Сделаешь по двадцать с половиной.

— Товарищ командир, — доложил я через полчаса, — везде стало по двадцать с половиной процента кислорода.

— Ну вот! — сказал командир весело. — И дышится, сразу полегчало. Я же каждый процент шкурой чувствую. Химик! Вот вас пока не наплялишь... на глобус... вы же работать не будете...

— Есть, — сказал я, — прошу разрешения. — Повернулся и вышел.

А выходя, подумал: «Полегчало ему. Хе - х, птеродактиль!»

ПАРДОН

Этого кота почему - то нарекли Пардоном. Это был страшный серый котище самого бандитского вида, настоящее украшение по - мойки. Когда он лежал на теплой палубе, в его зеленых глазах сонно дремала вся его беспутная жизнь. На тралец его затащили матросы. Ему вменялось в обязанность обнуление крысиного поголовья.

— Смотри, сука, — пригрозили ему, — не будешь крыс ловить, за яйца повесим, а пока считай, что у тебя пошел курс молодого бойца.

В ту же ночь по кораблю пронесся дикий визг. Повыскакивали кто в чем: в офицерском коридоре Пардон волок за шкурку визжащую и извивающуюся крысу, почти такую же громадную, как и он сам, — отработывал оказанное ему высокое доверие. На виду у всех он задавил ее и сожрал вместе со всеми потрохами, после чего, раздувшись как шар, рыгая, икая и облизываясь, он важно продефилировал, перевалился через комингс и, волоча подгибающиеся задние ноги и хвост, выполз на верхнюю палубу подышать свежим морским воздухом, наверное только для того, чтобы усилить в себе обменные процессы.

— Молодец, Пардон! — сказали все и отправились досыпать.

Неделю длилась эта кровавая баня визг, писк, топот убегающих ног, крики и кровь наполняли теперь матросские ночи, а кровавые следы на палубе вызывали у приборщиков такое восхищение, что Пардону прощались отдельные мелочи жизни. Пардона на корабле очень уважали, даже командир разрешил ему появляться на мостике, где Пардон появлялся регулярно, повадившись храпеть в святое для корабля время утреннего распорядка. Он стал еще шире и лишь лениво отбегал в сторону при встрече с минером.

Есть мнение, что минные офицеры — это флотское отродье с идиотскими штуками. Они могут вставить коту в зад детонатор, поджечь его и ждать, пока он не взорвется (детонатор, естественно). Есть подозрение, что минные офицеры — это то, к чему приводит офицера на флоте безотцовщина. Минер — это сучье вымя, короче. Пардон чувствовал подлое племя на расстоянии.

— Ну, кош - шара! — всегда восхищался минер, пытаясь ухватить кота, но тот ускользал с ловкостью мангусты.

— Ну, сукин кот, попадешься! — веселился минер.

“Как же, держи в обе руки”, — казалось, говорил Пардон, брезгливо встряхивая лапами на безопасном расстоянии.

Дни шли за днями, Пардон ловко уворачивался от минера, давил крыс и сжирал их с исключительным проворством, за что любовь к нему все возрастала. Однако через месяц процесс истребления крыс достиг своего насыщения, а еще через какое-то время Пардон удивил население корабля тем, что интерес его к крысам как бы совсем ослабел, и они снова беспрепятственно забродили по кораблю. Дело в том, что, преследуя крыс, Пардон вышел на провизионку. И все. Боец пал. Погиб. Его, как и всякую выдающуюся личность, стубило изобилие. Его ошеломила эта генеральная репетиция рая небесного. Он зажил, как у Христа под левой грудью, и вскоре выражением своей обвислой рожи стал удивительно напоминать интенданта. Пардон попадал в провизионку через дырищу за обшивкой. Со всей страстью неприкаянной души помоечного бродяги он привязался к фантастическим кускам сливочного масла, связкам колбас полукопченых и к сметане. Крысы вызывали теперь в нем такое же неприкрытое отвращение, какое они вызывают у любого мыслящего существа. Вскоре бдительность его притупилась, и Пардон попался. Поймал его кок. Пардона повесили за хвост. Он орал, махал лапами и выл что-то сквозь зубы, очень похожее на «мать вашу!».

Его спас механик. Он отцепил кота и площадно изругал матросов, назвал их садистами, сволочами, вырожденками, скотами, «бородавками маминой писи», ублюдками и суками.

— Отныне, — сказал он напоследок, — это бедное животное будет жить в моей каюте.

Пардон был настолько умен, что без всяких проволочек тут же превратился в «бедное животное». Свое непосредственное начало он теперь приветствовал распушенным хвостом, мурлыкал и лез на колени целоваться. Механик, бедный старый индюк, впадал в детство, сосокал, пускал сентиментальные пузыри и заявлял в каюткомпании, что теперь-то уж он точно знает, зачем на земле живут коты и кошки: они живут, чтоб дарить человеку его доброту.

Идиллия длилась недолго, она оборвалась с выходом в море на самом интересном месте. С первой же волной стало ясно, что Пардон укачивается до безумия. Как только корабль подняло вверх и ухнуло вниз, Пардон понял, что его убивают. Дикий, взъерошен-

ный, он метался по каюте механика, прыгал на диван, на койку, на занавески, умудряясь ударяться при этом об подволоку, об стол, об пол и орать не переставая. Останавливался он только затем, чтоб, расставив лапы, блевануть куда-нибудь в угол с пуповинным надрывом, и потом его вскоре понесло изо всех дыр, отчего он носился, подскакивая от струй реактивных. В разложенный на столе ЖБП — журнал боевой подготовки — он запросто нагадил, пролетая мимо. От страха и одиночества мечущийся Пардон выл, как издыхающая гиена.

Наконец дверь открылась, и в этот разгром вошел мех. Мех обомлел. Застыл и стал синим. Несчастный кот с плачем бросился ему на грудь за спасением, мех отшвырнул его и ринулся к ЖБП. Было поздно.

— Пятимесячный труд! — зарыдал он, как дитя, обнимая свое теоретическое наследие, изгаженное прицельным калометанием. — Пятимесячный труд!

Пардон понял, что в этом человеке он ошибся в нем сострада- ния не наблюдалось; и еще он понял, что его, Пардона, сейчас бу- дут бить с риском для жизни кошачьей, — после этого он перестал укачиваться.

Мех схватил аварийный клин и с криком «убью гада!» помчался за котом. За десять минут они доломали в каюте все, что в ней еще оставалось, потом Пардон вылетел в иллюминатор, упал за борт и сильными рывками поплыл в волнах к берегу так быстро, будто в той прошлой помоечной жизни он только и делал, что плавал в шторм.

Мех высунулся с клином в иллюминатор, махал им и орал:

— Вы - д - ра - а - а! У - бь - ю - ю - ю! Все равно най - ду - у! Кок - ну - у!
До берега Пардон доплыл.

ЛЕВ ПУКНУЛ

Конечно же, для наших подводных лодок несение боевой служ- бы — это ответственная задача. Надо в океане войти, прежде всего, в район, который тебе из Москвы для несения службы нарезали, надо какое-то время ходить по этому району, словно сторож по колхозному огороду, сторожить, и надо, наконец, покинуть этот район своевременно и целым - невредимым вернуться домой. Утомляет это

все, прежде всего. И прежде всего это утомляет нашего старпома Льва Львовича Зуйкова, по прозвищу Лев.

То, что наш старпом в автономках работает не покладая рук, — это всем ясно: он и на камбузе, он и в корме, он и на приборке, он опять на камбузе — он везде. Ну и устает он! Устав, он плюхается в центральном в кресло и либо сразу засыпает, либо собирает командиров подразделений, чтобы вставить им пистон, либо ведет журнал боевых действий.

Ведет он его так: садится и ноги помещает на буйвьюшку, а рядом устраивается мичман Васюков, который под диктовку старпома записывает в черновом журнале все, что с нами за день произошло, а потом он же — Васюков — все это аккуратнейшим образом переносит в чистовой журнал боевых действий.

С этим мичманом старпома многое связывает. Например, их связывает дружеские отношения: то старпом гоняется за мичманом по всему центральному с журналом в руках, чтоб по голове ему наступать, то возьмет стакан воды и, когда тот уснет на вахте, за шиворот ему выльет, и мичман ему тоже по-дружески остороженько гадит, особенно когда под диктовку пишет. Например, старпом ему как-то надиктовал, когда мы район действия противолодочной акустической системы «Сосус» покидали: «Покинули район действия импортной системы «Сосус». Народ уху ел от счастья Целую, Лелик», — и мичман так все это без искажения перенес в чистовой журнал. Старпом потом обнаружил и вспотел.

— Васюков! — вскричал он. — Ты что, совсем дурак, что ли?! Что ты пишешь все подряд! Вот что теперь делать? А?

А Васюков, сделав себе соответствующее моменту лицо, посмотрел, куда там старпом пальцем тычет, и сказал:

— А давайте все это, как положено, зачеркнем, а внизу нарисуем: «Записано ошибочно».

После этого случая все на корабле примерно двое суток ходили очень довольные. Может, вам показалось, что народ наш не очень-то старпома любит? Нам сначала самим так казалось, пока не случилась с нашим старпомом натуральная беда.

Испекли нам коки хлеб, поскольку наш консервированный хлеб на завершающем этапе плавания совсем сдохшим оказался. И такой тот хлеб получился мягкий, богатый дрожками и сахаром, что просто слюнки текли. Старпом пошел на камбуз и съел там полбатона, а

потом за домино он сожрал целый батон и еще попросил, и ему еще дали. А ночью его прихватило: живот раздуло, и ни туда ни сюда — кишечная непроходимость.

Док немедленно поставил старпома раком и сделал ему вентрикулярную клизму, но вода вышла чистая, а старпом так и остался раздутым и на карачках. Ну, кишечная непроходимость, особенно если она оказалась, скажем так, не в толстом, а в тонком кишечнике, когда газы не отходят, — штука страшная: через несколько часов перитонит, омертвление тканей, заражение, смерть, поэтому на корабле под председательством командира срочно прошел консилиум командного состава, который решал, что делать, но так и не решил, и корабль на несколько часов погрузился в черноту предчувствия. Лишь вахтенные отсеков, докладывая в центральный, осторожно интересовались: «Лев просрался?» — «Нет, — отвечали им так же осторожно, — не просрался». А в секретном черновом вахтенном журнале, куда у нас записывается всякая ерунда, вахтенный центрального печальный мичман Васюков печально записывал в столбик через каждые полчаса: «Лев не просрался, Лев не просрался, Лев не просрался...» Он даже специальную графу под это дело выделил, писал красиво, крупно, а потом начал комбинировать: чередовать большие буквы с маленькими, например так: «Лев не ПрОсРаЛсЯ», или еще как-нибудь, и, отстранившись, с невольным удовольствием наблюдал написанное, а корабль тем временем все глубже погружался в уныние: отменили все кинофильмы, все веселье, никто не спал, не жрал — все ходили и друг у друга спрашивали, а доку уже мерещилась операция и то, как он Львиные кишки в тазик выпустил и там их моет. Доку просто не сиделось на месте. Он шлялся за командиром, как теленок за дояркой, заглядывал ему в рот и просил: «Товарищ командир, давайте радио дадим, товарищ командир, умрет ведь». На что командир говорил ему: «Оперируй», — хотя и не очень уверенно.

Наконец командир сдался, и в штаб полетела радиограмма: «На корабле кишечная непроходимость. Прошу прервать службу».

Штаб молчал часов восемь, во время которых он, наверное, получил в Москве консультацию, потом, видимо, получил и тут же отбил нам: «Сделайте клизму». Наши им в ответ: «Сделали, не помогает». Те им: «Еще сделайте». Наши: «Сделали. Разрешите в базу». После чего там молчали еще часа четыре, а потом выдали: «Сле-

дуйте квадрат такой - то для передачи большого». Мы вздохнули и помчались в этот квадрат, и тут Лев пукнул — газы у него пошли. Он сам вскочил, примчался к доктору с лицом просветлевшим, крича по дороге: «Вовик, я пукнул!» — и тут же на корабле возникла иллюминация, праздник, и все ходили друг к другу и поздравляли друг друга с тем, что Лев пукнул.

Потом командир решил дать радиограмму, что, мол, все в порядке, прошу разрешения продолжать движение, вот только в какой форме эту радиограмму давать, надо ж так, чтоб поняли в штабе, а противник чтоб не понял. Он долго мучился над текстом, наконец вскричал: «Я уже не соображаю. Просто не знаю, что давать».

Тогда наши ему посоветовали: «Давайте так и дадим: Лев пукнул. Прошу разрешения выполнять боевую задачу».

В конце концов, действительно дали что - то такое, из чего было ясно, что, мол, с кишечной непроходимостью справились, пукнули и теперь хотя опять служить Родине, но штаб уперся — в базу!

И помчались мы в базу. Примчались, всплыли, и с буксира к нам на борт начальник штаба прыгнул:

— Кто у вас тут срать не умеет?! — первое, что он нам выдал. Когда он узнал, что старпом, он позеленел, выгасил Льва на мостик и орал там на весь океан, как павиан, а наши ходили по лодке и интересовались, что это там наверху происходит, а им из центрального говорили: «Льва срать учат».

АБОРТАРИЙ

Бух - бух - бух! В метре от старпома остановились флотские ботинки сорок пятого размера легендарной фабрики «Стружья скоророхода». В ботинки был засунут новый лейтенант Гриша Храмов — полная луна над медвежьим туловищем. Он только что прибыл удобрить собой флотскую ниву. Гриша был вообще - то с Волги, и поэтому он заокал, приложив к уху лапу, очень похожую на малую саперную лопатку.

— Прошу розрешения везти жену на о - борт!

«Сделан в одну линию, — подумал одним взглядом с маху изувивший его старпом, — до пояса просто, а ниже еще проще».

— Вот мне - е, — протянул старпом сладко, — кан - ждный день о - борт делают. О - бортируют... по самый аппендицит!

Старпом привел лицо в соответствие с абортom:

— И никто никуда не возит. Вырвут гланду — и пошел!

Лейтенант смутился. Он не знал, опускать руку или все еще от - давать честь.

«Ладно, — подумал старпом, увидев, что рука у Гриши не опускается, — нельзя же убивать человека влет. Пусть размножается, такие тоже нужны». И махнул рукой: «Давай!»

На следующий день пробухало и доложило:

— Прошу раз - решения сидеть с дитями — жена на о - борте!

С тех пор поехало: то — «прошу раз - решения на о - борте», то — «с о - борта».

Четвертого аборта старпом не выдержал.

— Что?! Опять «на о - борте»?! А потом «с о - борта»?! Аборта - рий тут развели! Я самому тебе лучше навсегда «о - борте» сделаю! Раскурочу лично. Чирк — и нету! Твоя же жена спасибо скажет. «О - борте» ему нужен! Что за лейтенант пошел! Нечего бегать с дымящимися наперевес! Бром надо пить, чтоб на уши не давило! Ква - зимодо! Аборт ему делай. А кто служить будет?! С кем я останусь?! А?! В подразделении бардак! Там еще конь не валялся! Петров ваш? А чей Петров?! Не знаете? Сход запрещаю! Все! Никаких абортов! Ишь ты сперматозавр, японский городской. Это флот, едрена вошь, тут без «о - бортов» служат. Не вынимая. С шести утра и до двад - цати четырех. Гинекологом надо было быть, а не офицером! Аку - шером! О чем вы думали, когда шли в училище!.. — и так далее, и так далее.

После пятого аборта Гришу списали на берег. Некому было сидеть «с дитями».

Вот такая маленькая история, но она совсем не означает, что для списания на берег нужно сделать пять абортов.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Известно, что к боевой службе нужно готовить себя прежде всего с внутренней стороны.

Командир боевой части пять большого противолодочного ко -

рабля «Адмирал...», старый, толстый Толик Головастов (два года до пенсии), которого спустили с корабля в первый раз за три месяца, за день до проверки штабом флота, пошел и... подготовил себя «изнутри», чем существенно обесмертил свое имя на страницах этого рассказа. На внутреннюю подготовку ушел уйма времени. Часов через шесть, окончательно окривев, он «дошкандыбал» до корабля и упал перед трапом головой вперед. «Много ли потному надо!» — гласит народная мудрость.

— Старая пробыльда! — совершенно справедливо заметил командир. Наутро ожидался командующий флотом вместе с главкомом, и по-другому командир заметить не мог.

— От, падел! — добавил командир, обозревая картину лежа-ния. Кроме как «падла в ботах», командир до текущего момента никогда по-другому механика не называл.

— Значит так! — сказал он, поразмыслив секунду-другую. — Поднять! Связать эту сироту во втором поколении, эту сволочь си-зую, забросить в каюту и выставить вахтенного!

Механика подняли, связали, отнесли, забросили, закрыли на ключ и выставили вахтенного. Через некоторое время каюту оживило сопенье, кряхтенье и нечленораздельное матоганье, потом все стихло, и корабль забылся в нервном полусне. В четыре утра в каюте раздался страшный визг, леденящий душу, он разбудил полкорабля и перевернул представление многих о том количестве децибел, которые отпущены человеку. Примчались дежурные и помощники, командиры и начальники, зажгли свет, вскрыли каюту и обнаружили, что командир боевой части пять Толик Головастов (два года до пенсии) торчит из иллюминатора необычным манером: туловище снаружи, зад внутри. Застреляв они. Скорее всего, ночью он разва-зался, освободился, так сказать, от пут и полез в иллюминатор из «мест заточения», а по дороге застрял и от бессилия заснул. Тело отекло, он проснулся от боли и заорал.

— Тяните! — сказал командир. — Хоть порвите эту старую суку, но чтоб пролез!

До Толика, несмотря на всю трудность соображения в данном положении, дошло, что его, может, сейчас порвут на неравные по-ловины и за это, может, никто отвечать не будет. От сознания всего этого он потерял сознание. Так тянуть его было гораздо удобнее, так как без сознания он не кричал и не вырывался, но иногда он все

же приходил в себя, орал и бил копытом, как техасский мул.

За борт спустили беседку. Несколько человек забрались в нее и принялись тянуть Толика за руки, в то время когда все остальные пихали его в зад. Через пару часиков стало ясно, что Толик никогда в этой жизни не пройдет через иллюминатор. Еще полтора часа тянулись по инерции, вяло и без присущего нам энтузиазма. Самое обидное, что Толик висел с того борта, который был обращен к стенке и был хорошо виден подходящему начальству, а виси он с другого борта — там хоть неделю виси: никому это не интересно.

Подъем флага — святое дело на корабле. На это время перервались, оставили Толика висеть и пошли на построение.

— На фла - аг и по - юйс... смир - рна!

Нужно замереть. Все замерли. Ритуал подъема флага символизирует собой нашу ежесекундную готовность умереть за наши идеалы и вообще отдать концы, то есть все накопленное до последней капли, сдохнуть, короче...

— Ф - ла - аг... и по - юйс... под - нять!.. Воль - на!..

— Та - ак! — сказал командир, мысль о Толике не оставляла его ни на секунду. — Сейчас будет коррида!

Коррида началась с прибытия комбрига. Увидев в иллюминаторе отвисшее, как на дыбе, бесчувственное тело командира боевой части пять и с ходу поняв, в чем дело, комбриг, стоя на стенке, воздел руки к телу, шлепнул ладошками, поместил их себе на грудь, затрясся дряблыми щеками и плаксиво затянул:

— Гни - да вы - ы казематная - я... слон вы - ы сиамски - ий... я вам хобот - то накручу - у... верблюд вы - ы гималайский... корова вы - ы иорданская - я... хрен вы - ы египетский!..

Помолившись столь оригинальным образом, он тут же вызвал командира.

— Сейчас начнется кислятина, — скривился командир, — записывает, как баба, что наутро обнаружила, что постель пуста! Ну, теперь моя очередь...

— Святая - я святых... святая - я святых, — заканючил комбриг, страдальчески ломая руки перед командиром, — подъем флага, святая святых, а у вас до чего дошло, у вас механик, пьяный в жопу, жопой в иллюминаторе застрял! Валерий Яковлевич! Вы же боретесь за звание «отличный корабль»! Сейчас же командующий здесь будет вместе с главкомом.

Произнеся «главком», комбриг, до которого только теперь дошла вся глубина развернутой сырой бездны, как бы почувствовал удар по затылку и замер с открытым ртом. Вся его фигура превратилась в один сплошной ужас, а в глазах затаился прыжок.

— Да! — заорал вдруг командир, чем заставил комбрига вздрогнуть и судорожно, до упора втянуть прямую кишку. — Да! Пьяная падла! Вы совершенно правы! Да, висит! Да, жопой! Да, «отличный корабль!» Да, слетится сейчас воронье, выгрызут темечко! Тяните! — крикнул он кому - то куда - то. — Не вылезет, я ему яйца откушу!

— И - и — раз! И - и — раз! — тянули механика. — И - и — раз!

А командир в это время, испытывая болезненное желание откусить у механика не будем повторять что, ерзал стоя.

— И - и — раз!

— И на матрац! — сказал командир, заметив, что на пирс прибыл командующий флотом.

Комбриг повис на своем скелете, как старое пальто на вешалке, потеряв интерес к продвижению по службе.

Командующий флотом, сразу поняв, что время упущено и нужно действовать быстро, а спрашивать будем потом, возглавил извлечение, сам отдавал приказания и даже полез в беседку. Комбриг полез за ним, при этом он все старался то ли поддержать комфлота за локоток, то ли погладить или чего -нибудь там отряхнуть.

— Что вы об меня третесь ... тут!.. — сказал ему командующий и выслал его из беседки.

— Разденьте его! — кричал командующий, и Толика раздели.

— И смажьте его салом! — И смазали, а он не пролез.

— Пихайте его! — кричал командующий.

Толика пихали так, что зад отбили.

— Дергайте! — Дергали. Никакого впечатления.

И тут командующего флотом осенило (на удивление быстро):

— А что если ему в жопу скипидар залить?! А?! Надо его взбудорить. Зальем, понимаешь, скипидар, он, понимаешь, взбудорится и вылетит!

(— И будет, каркая, летать по заливу, — прошептал командир.)

— А у вас скипидар на корабле есть? Нет? У медика, по - моему, есть! Давайте сюда медика! А кстати, где он? Почему не участвует?

Дали ему медика, и начал он «участвовать»:

— Да что вы, товарищ адмирал? — сказал медик, и далее пошла историческая фраза, из-за которой он навсегда остался майором. — Это ж человек все-таки!

— Все-таки человек, говоришь? — сказал командующий флотом. — Человек в звании «капитан второго ранга» не полезет в окошко и не застрянет там задницей! Ну и как нам его теперь доставать прикажешь, этого человека?

Доктор развел руками:

— Только распилить.

— А ты его потом сошьешь? А? Ме-ди-ци-на-хе-ро-ва?!

Медик раздражал и был услан с глаз долой.

Командующий стоял и кусал локти и думал о том, что если нельзя вытащить этого дурня старого, то, может, корабль развернуть так, чтоб его видно не было, а? Главкома проводим и разберемся. Ничего страшного, повисит. Да-а... время упущено. С минуты на минуту может появиться главком.

И главком появился. Толю подергали при нем, наверное для того, чтобы продемонстрировать возможности человеческого организма.

Главком приказал вырезать мерзавца вместе с «куском», автономом. Раскроили борт и вырезали Толю целым куском. Потом крапом поставили на причальную стенку, и пятеро матросов до ночи вырезали его этими лобзиками — ножовками по металлу. Когда выпилили — всех наказали.

Я ВСЕ ЕЩЕ ПОМНЮ

Я ВСЕ ЕЩЕ ПОМНЮ...

Я все еще помню, что атомные лодки могут ходить под водой по сто двадцать суток, могут и больше — лишь бы еды хватило, а если рефрижераторы отказали, то сначала нужно есть одно только мясо — огромными кусками на первое, второе и третье, предвари-тельно замочив его на сутки в горчице, а потом — консервы, на них можно долго продержаться, а затем в ход пойдут крупы и сухари — дотянуть до берега можно, а потом можно прийти — сутки - двое на погрузку — и опять уйти на столько же.

Я помню свой отсек и все то оборудование, что в нем расположено; закрою глаза — вот оно передо мной стоит, и все остальные отсеки я тоже хорошо помню. Могу даже мысленно по ним путешествовать. Помню, где и какие идут трубопроводы, где расположены люки, лазы, выгородки, переборочные двери. Знаю, сколько до них шагов, если, зажмурившись, затаив дыхание, в дыму, на ощупь, отправиться от одной переборочной двери до другой.

Я помню, как трещит корпус при срочном погружении и как он трещит, когда лодка проваливается на глубину; когда она идет вниз камнем, тогда невозможно открыть дверь боевого поста, потому что корпус сдавило на глубине и дверь обжало по периметру. Такое может быть и при «заклинке больших кормовых рулей на погружение». Тогда лодка устремляется носом вниз, и на глубине может ее раздавить, тогда почти никто ничего не успевает сделать, а в центральном кричат: «Пузырь в нос! Самый полный назад!» — и тот, кто не удержался на ногах, летит головой в переборку вперемешку с ящиками зипа.

Я помню, что максимальный дифферент — 30° и как лодка при этом зависает, и у всех глаза лезут на лоб и до аналов все мокрое, а в легких нет воздуха, и тишина такая, что за бортом слышно, как

переливается вода в легком корпусе, а потом лодка вздрагивает и «отходит», и ты «отходишь» вместе с лодкой, а внутри у тебя словно отпустила струна, и ноги уже не те — не держат, и садишься на что-нибудь и сидишь — рукой не шевельнуть, а потом на тебя нападает веселье, и ты смеешься, смеешься...

Я знаю, что через каждые полчаса вахтенный должен обойти отсек и доложить в центральный; знаю, что если что-то стряслось, то нельзя из отсека никуда бежать, надо остаться в нем, задрать переборочную дверь и бороться за живучесть, а если это «что-то» в отсеке у соседей и они выскакивают к тебе кто в чем, безумные, трясущиеся, то твоя святая обязанность — загнать всех их обратно пинками, задрать дверь на кремальеру и закрыть ее на болт — пусть воюют.

И еще я знаю, что лодки гибнут порой от копеечного возгорания, когда чуть только польхнуло, замешкались — и уже все горит, и из центрального дают в отсек огнегаситель, да перепутали и не в тот отсек, и люди там травятся, а в тот, где горит, дают воздух высокого давления, конечно же тоже по ошибке, и давятся почему-то топливные цистерны, и польхает уже, как в мартене, и люди — надо же, живы еще — бегут, их уже не сдержать; и падает вокруг что-то, падает, трещит, взрывается, рушится, сметается, и огненные вихри несутся по подволоку, и человек, как соломинка, всплывает с треском, и вот уже выгорели сальники какого-нибудь размагничивающего устройства, и отсек заполняется водой, и по трубопроводам вентиляции и еще черт его знает по чему заполняется водой соседний отсек, а в центральном все еще дифферентуют лодку, все дифферентуют и никак не могут отдифферентовать...

СВЯТЕЕ ВСЕХ СВЯТЫХ

После того как перестройка началась, у нас замов в единицу времени прибавилось.

Правда, они и до этого на экипажах особенно не задерживались — чехардились, как всадники на лошади, а с перестройкой ну просто как перчатки стали меняться: полтора года — новый зам,

еще полтора года — еще один зам, так и замелькали. Не успеваешь к нему привыкнуть, а уже замена.

Как - то дают нам очередного зама из академии. Дали нам зама, и начал он у нас бороться. В основном, конечно, с пьянством на экипаже. До того он здорово боролся, что скоро всех нас подмял.

— Перестройка, — говорил он нам, — ну что не понятно?

И мы свою пайку вина, военно - морскую — пятьдесят граммов в море на человека, — пили и помнили о перестройке.

И вот выходим мы в море на задачу. Зам с нами в первый раз в море пошел. Во всех отсеках, как в картинной галерее, развесил плакаты, лозунги, призывы, графики, экраны соревнования. А мы комдива вывозили, а комдива нашего, контр - адмирала Батракова, по кличке «Джон — вырви глаз», на флоте все знают. Народ его иногда Петровичем называет.

Петрович без вина в море не мог. Терять ему было нечего — адмирал, пенсия есть, и автономок штук двадцать, — так что употреблял.

Это у них в центре там перестройка, а у Петровича все было строго — чтоб три раза в день по графину. Иначе он на выходе всех забодает.

Петрович росточка махонького, но влить в себя мог целое ведро. Как выпьет — душа - человек.

Сунулся интендант к командиру насчет вина для Петровича, но тот только руками замахал — иди к заму.

Явился интендант к заму и говорит:

— Разрешите комдиву графин вина налить?

— Как это, «графин»? — зам даже обалдел. — Это что, целый графин вина за один раз?

— Да, — говорит интендант и смотрит преданно. — Он всегда за один раз графин вина выдувает.

— Как это, «выдувает»? — говорит зам возмущенно. — У нас же перестройка! Ну что не понятно?

— Да все понятно, — говорит интендант, а сам стоит перед замом и не думает уходить, — только лучше дайте, товарищ капитан третьего ранга, а то хуже будет.

У интенданта было тайное задание от командира: из зама вино для Петровича выбить. Иначе, сами понимаете, жизни не будет.

— Что значит «хуже будет»? Что значит «будет хуже»? — спрашивает зам интенданта.

— Ну - у, товарищ капитан третьего ранга, — заканючил интенданта, — ну пусть он напьется...

— Что значит... послушайте... что вы мне тут? — сказал зам и выпнул интенданта.

Но после третьего захода зам сдался — черт с ним, пусть напьется.

Налили Петровичу — раз, налили — два, налили три, а четыре — не налили.

— Хватит с него, — сказал зам.

Я вам уже говорил, что если Петрович не пьет, то всем очень грустно становится.

Сидит Петрович в центральном, в кресле командира, невыпивший и суровый, и тут он видит, как в центральный зам вползает. А зам в пилотке. У нас зам считал, что настоящий подводник в походе должен в пилотке ходить. С замами такое бывает. Это он фильмов посмотрелся.

В общем, крадется зам в пилотке по центральному. А Петрович замов любил, как ротвейлер ошейник. Он нашего прошлого зама на каждом выходе в море гноил нещадно. А тут ему еще кто - то настучал, что это зам на вино лапу наложил. Так что увидел Петрович зама и, вы знаете, даже ликом просветлел.

— Ну - ка ты, хмырь в пилотке, — говорит он заму, — ну - ка, плыви сюда.

Зам подошел и представился. Петрович посмотрел на него снизу вверх мутным глазом, как медведь на виноград, и говорит:

— Ты на самоуправление сдал?

— Так точно, — говорит зам.

— Ну - ка, доложи, это что? — ткнул Петрович в стяжную ленту замовского ПДУ.

Зам смотрит на ПДУ, будто первый раз его видит, и молчит.

— А вот эта штука, — тыкает Петрович пальцем в регенерационную установку, — как снаряжается?

Зам опять — ни гугу.

— Так! — сказал Петрович, и глаза его стали наливаться дурной кровью, а голова его при этом полезла в плечи, и тут зам начинает понимать, почему говорят, что Петрович забодать может.

Приблизил он к заму лицо и говорит ему тихо:

— А ну, голубь лысый, пойдём - ка, по устройству корабля пробежимся.

И пробежались. Начали бежать с первого отсека, да в нем и закончили. Зам явил собой полный корпус — ни черта не знал. Святой был — святее всех святых.

В конце беседы Петрович совсем покраснел, раздулся как шланг, да как заорет:

— Тебя чему учили в твоей академии? Вредитель! Газеты читать? Девизы рожать? Плакаты эти ссранные рисовать? А, червоточина?

Ты чего в море пошел, захребетник? Клопа давить? Ты — пустое место! Балластина! Пассажир! Памятник! Пыль прикажете с вас сдувать? Пыль?! Влажной ветошью, может, тебя протирать? А, бес-толочь?

На хрена ты здесь жрешь, гнида конская, чтоб потом в галюн все отнести? Чтоб нагадить там? А кто за тебя унитаза промоет? Кто? Я тебя спрашиваю? У него ведь тоже устройство есть, у унитаза!

Здесь знать надо, знать!

Ты на лодке или в почетном президиуме, пидорясина? А при пожаре прикажете вас в первую очередь выносить? Спасать вас прикажете? Разрешите целовать вас при этом в попку? Ты в глаза мне смотри, куль с говном!

Как ты людей за собой поведешь? Куда ты их приведешь? А если в огонь надо будет пойти? А если жизнь отдать надо будет? Ты ведь свою жизнь не отдашь, не -еет. Ты других людей заставишь за тебя жизнь отдавать! В глаза мне смотреть!

Зачем ты форму носишь, тютя вонючая! Погоны тебе зачем? Нашивки плавсостава тебе кто дал? Какая... тебе их дала!!! Пилотку он одел! Пилотку!

В батальон тебе надо! В эскадрон! Коням! Коням яйца крутить! Комиссары...

Зам вышел из отсека без пилотки и мокрый — хоть выжимай. Отвык он в академии от флотского языка. А впрочем, может, и не знал он его вовсе.

Вечером Петровичу налили. Петрович выпил и стал — душа - человек.

КАК ТВОЯ ФАМИЛИЯ?

Чего наш советский офицер боится? Он боится жену: она навредить может; тещу; соседей; милицию; советских граждан на улице и в транспорте; хулиганов: они по морде могут дать; и свое начальство.

А чего наш советский офицер совсем не боится? Он совсем не боится мирового империализма.

А чего он боится больше всего? Больше всего он боится своей фамилии.

Возьмите любого офицера на улице за верхнюю пуговицу и спросите его:

— Как ваша фамилия?

— Мо...я?

— Да, да, ваша, ваша, ну?

— Этот... как его... Иванов... или нет... то есть Петров...

— А может, Сидоров?

— Точно! Сидоров. — От настоящего офицера его собственной фамилии на улице никогда не дождешься.

Первый страх у него уже прошел, теперь будьте внимательны.

— Разрешите ваши документы.

Документы от него вы не получите: может, вы скрытый офицерский патруль? Так зачем же ему усложнять свою жизнь? Нет у него документов.

— Дома забыл, — вот так, а вы как думали?

— А пропуск у вас есть?

— Какой пропуск?

— Ну, любой пропуск, где написана ваша фамилия.

— Пропуск у нас есть, но в руки вам его не дам: там не написано, что его в руки можно давать.

А сейчас он от вас убежит, вот смотрите:

— Ой!!! — кричит он и делает испуганное лицо. — Осторожно! — и хватает вас за рукав, увлекая за собой. При этом он смотрит вам за ухо так, словно вас сзади именно в этот момент переезжает автокар.

Вы инстинктивно оборачиваетесь: ничего там сзади нет, а офицер уже исчез. Пуговицу себе срезал, за которую вы держались, и исчез. Можете ее сохранить на память.

Мой лучший друг, Саня Гудинов, — редкий интеллигент, два языка, — когда его вот так берут на улице, напускает на себя дурь, начинает заикаться и называет себя так:

— Го... го... гоша... Го... го... го... лованов!

Патруль тут же прошибает слеза от жалости к несчастному офицеру - заике, и он от него отстает: грех трогать калеку.

— Заикой меня делает служба, — говорит в таких случаях Саня.

Но лучше всего действует напористый нахрап, ошеломляющая наглость и фантастическое хамство.

Вот мой любимый рыжий штурман, который вошел в мое полное собрание сочинений отдельной главой, тот полностью согласен с Конечким: с патрулем спорят только салаги.

— Главное в этом деле, — любил повторять рыжий, — четко предстать. Чтоб не было никаких дополнительных вопросов.

— Туполев! — бросал он патрулю быстро с бодрой наглостью. — Я Ка... ве - че сорок ноль сорок.

И патруль усердно записывает: Туполев, ЯК - 40...

Только полные идиоты требовали от него документы: штурман обладал монументальной внешностью, и его ужасные кулаки сообщали любому врожденное уважение к ВМФ!

Должен вам заметить, что страх перед своей фамилией, или, лучше скажем, бережное к ней отношение — это условной рефлекс, воспитываемый в офицере самой жизнью с младых ногтей: начиная с курсантских будней.

— Товарищи курсанты, стойте! — останавливал нас когда - то дежурный по факультету. — Почему без строя? Почему через плац? Почему в неположенном месте? Фамилии? Рота?

Этот дежурный у нас был шахматист - любитель. Страсть к шахматам у него была патологическая. Кроме шахмат он ничего не помнил и рассеянный был — страшное дело. А все потому, что он в уме все время решал шахматные кроссворды. Но главное: он был начисто лишен фантазии, столь необходимой офицеру. Полета у него не было.

— Курсант Петросян, — прогундосил Дима, стараясь походить на армянина.

— Курсант Таль, — поддержал его Серега.

Мне пришлось сказать, что я — Ботвинник, чтоб не выпасть из общего хора.

Дежурный, ни слова не говоря, нас задумчиво записал и отпустил. Наверное, перед ним в этот момент явился очередной кроссворд.

Когда он доложил начальнику факультета, что у него Таль, Петросян и Ботвинник пересекли плац в неполюженном месте, то наш славный старый волкодав воскликнул:

— Хорошо, что не Моцарт и Сальери! Твердопятав, ковырять ты некому, я когда на тебя смотрю, то я сразу вспоминаю, что человек — тупиковая ветвь эволюции. Ты со своими шахматами совсем дошел. Очумел окончательно. Рехнешься скоро. Что за армейский яйцеголовизм, я тебя спрашиваю? Прочитай еще раз, я еще раз эту музыку послушаю, и ты сам, когда читаешь чего-нибудь, ты тоже слушай, чего ты читаешь. Это иногда очень даже интересно. Ну, начинай!

И тот прочитал снова.

— Понял?

— Понял.

— Вот до чего дошло. Видишь? Мой тебе совет: забудь ты свои шахматы. Они ж тебя до ручки доведут. А теперь давай иди... Знаешь куда?

Тот кивнул.

— Вот и давай, двигай с максимально-малолумной скоростью, осторожненько, не заезжая в кусты. И не буди во мне зверя... Ботвинник...

ДЖОКОНДА

Когда я пришел на флот, я был такой маленький, пионер, не ругался матом, уступал дорогу девочкам, помогал старшим донести сетки...

И вдруг — флот.

Я — робкое человеческое растение — увидел вот это вот в натуральную величину. Ай-яй-яй! В один миг можно прожить целую жизнь. Пропась! Сразу же, в первый же день, — на камбуз!

Человека нельзя сразу на камбуз! Он умирает мучительно, человек; сначала — пионер, потом — «уступающий дорогу девочкам», потом умирают мультфильмы, «Что тебе снится, крейсер «Ав-

рораж!); человеческое растение корежится и в конце дня ругается матом!

— Это... что?..

На меня посмотрели безумно, как на темную шаль.

— Это макароны по-флотски.

— Вот это... едят?!

— Не хочешь — не ешь!

В алюминиевой миске, давно приняв ее форму, лежала серая, слипшаяся, местами коричневая, блестящая, как разрытая брюшина, масса, сверху желтыми бигудями кудрявилось сало, казалось, что все это, вместе с миской, только что достали из брюха кашалота, успевшего все ж полить это все своим собственным соком.

Человек не знает, не хочет знать, что даже праздничное блюдо, попадая к нему в рот, больше не будет выглядеть так аппетитно, а пройдя все стадии увлекательного процесса, вообще может получить навоз!

А на камбузе «праздничное — в навоз» происходит по нескольку раз в день! На сотне столов, в разделочной! в варочной! в зале! в мгновение — в мусор!

В разделочной на столах грязными, ленивыми потоками оттекает бордовое мясо. В варочной — «Давай! Давай!». В мойке в ванну ныряют тарелки, и ты за ними, с красными, толстыми, распаренными руками! Кошки! Крысы! Кошка сдуру — в котел, ее оттуда — чумичкой!

— Бачкиии!

На раздаче Джоконда ругается матом!

А ты привык к женщине хрупкой, незнакомке, тебя воспитывали, воспитывали...

— Сынкиии!!! — кричит Джоконда.

У нее не рот, а пещера! Сталактиты! Сталагмиты! Катакомбы! Ее голосом можно валить деревья! Они сами будут вязаться в снопы!!!

У нее не раздача, а песня Второе — на автомате; хлог! шлеп! — поехало!

— Бачкиии!!! — Пустые бачки летят по полу!

— Сынкиии!!! — Не дай бог, не хватит второго, на том месте, где только что стояла Джоконда, будет стоять Анаконда!

А я был такой маленький, пионер, не ругался матом, не во! ро! вал! уступал дорогу девочкам, помогал доживать старушкам!..

Есть повесть поужаснее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте...

МАМОНТЕНОК ДИМА

О мамонтенке Диме не слышали? Ну, как его в тундре откопали, а потом в Англию к английской королеве повезли? Слышали, на-верное. Нам о нем в автономке сообщили.

Дело в том, что наша подводная красавица всплывает иногда на сеанс связи: не совсем, правда, всплывает, просто подвсплывает и вытаскивает из - под воды антенну, на которую, с риском для жизни, принимается всякая всячина о жизни в нашей стране и за рубежом.

Почему с риском для жизни? А подводники все делают с риском для жизни: всплывают, погружаются, ходят, бродят, дышат... и потом, при всплытии лодку могут обнаружить, а в боевой обстановке это равносильно ее уничтожению.

Так что с риском для жизни всплываем, вытаскиваем из воды пипку, и из центра полетов нам сообщают, что в нашей стране зерновые собраны на восьмидесяти процентах площадей.

Но иногда сообщают что -нибудь этакое, например: «На орбиту запущены два космонавта и Савицкая. На завтра запланированы биологические эксперименты».

Информацию у нас подписывает командир и зам, после этого ее вывешивают в третьем отсеке на средней палубе.

Когда вывесили про Савицкую, наши стали ходить кругами и очень плоско шутить. Некоторые до того опускались в своем безобразии, что изображали эти биологические эксперименты мануально, и при этом гомерически гоготали.

Зам тогда не выдержал и изменил фамилию «Савицкая» на «Савицкий».

Но вообще - то я вам должен сказать, что информацию из родного отечества мы очень любим: каждый день с нетерпением ждем; жаль только, что она доходит к нам часто по кускам: то срочное погружение помешает, то антенну зальет, то еще что -нибудь...

Вот однажды вывесили: «Министр обороны США вылетел на...» — а дальше не успели принять. Так и вывесили, и зам подписал:

ючь была, ему спросонья подсунули, а он и подмахнул.

Наши сначала изменили предлог «на» на более удобный предлог «в», а потом, вместо многоточия, написали то место, куда он вылетел.

Заму пришлось все срывать. Хотя и не наш министр обороны, но все - таки неудобно.

И тут мы принимаем известие насчет мамонтенка Димы, — мол, открыли его, отряхнули, и теперь он по Англии путешествует и английская королева его там наблюдает.

И решили наши люди среди радистов зама разыграть.

Дело в том, что зам у нас безудержно верил каждому печатному слову. Просто завораживало его.

Вот они и напечатали ему, что в нашей стране, известной своим отношением к материнству и детству, отрыли из вечной мерзлоты мамонтенка, оживили его, назвали Димой и отправили его в Англию, чтоб побаловать английскую королеву.

Как только зам прочел про Диму, у него все мозги перетряхнуло: до того он обрадовался насчет советской науки. Он даже бредить начал. С ума сошел. Тронулся. Все ходил и заводил соответствующие разговоры. Встанет рядом и начнет вполголоса бубнить: «Мамонтенок Дима, мамонтенок Дима... Советская наука, советская наука...»

У нас потом вся автономка была уложена на этого мамонтенка Диму: и тематические вечера, и диспуты, и концерты — все шло под лозунгом: «Мамонтенок Дима — дитя советской науки!»

Народ у нас на корвете подлый: все знали про Диму, все, кроме зама.

И что интересно: ну хоть бы одна зараза не выдержала. Ничего подобного: всю автономку все продержались с радостными, за нашу науку, рожам.

Когда мы пришли к родным берегам, зам тут же примчался в политотдел и сунул начпо под нос свой отчет за поход. А там на каждом листе был мамонтенок Дима.

— Какой мамонтенок? — остолбенел начпо.

— Дима! — обрадовался зам.

— Какой Дима? — не понимал начпо.

— Мамонтенок, — веселился зам.

— Какой мамонтенок?!!

— Советский...

— Мда... — сказал начпо, — сказывается усталость личного состава, сказывается...

Зам потом радистам обещал, что они всю жизнь, всю жизнь, пока он здесь служит, будут плакать кровавыми слезами, на что наши радисты мысленно плюнули и ответили: «Ну, есть...»

САТЭРА¹

После автономки хочется обнять весь мир. После автономки всегда много хочется... Петя Ханькин бежал ночевать в поселок. Холостяка из похода никто не ждет, и потому желания у него чисто собачьи: хочется ласки и койки.

И хрустящие, скрипящие простыни; и с прыжка — на пружины; и — одеялкой, с головой одеялкой; и тепло... везде тепло... о, господи!.. Петя глотал слюни, ветер вышибал слезы...

...И Морфей... Морфей придет... А волосы мягкие и душистые... И поцелует в оба глазика... сначала в один, потом сразу в другой...

Петя добежал. Засмеялся и взялся за ручку двери. А дверь не поддалась. Только сейчас он увидел объявление:

«В 24.00 двери общежития закрываются».

Чья-то подлая рука подцарапала: «навсегда!» Тьфу! Ну надо же. Стоит только сходить ненадолго в море — и все! Амба! За три месяца на флоте что-то дохнет, что-то меняется появляется новое начальство, заборы, инструкции и бирки... зараза...

Петя двинулся вдоль, задумчивый. Окна молчали.

— Вот так в Америке и ночуют на газоне, — сказал Петя, машинально наблюдая за окнами. В пятом окне на первом этаже что-то стояло. Петя остановился. В окне стояло некое мечтающее, пятилапое, разумное в голубом. Над голубыми трусами выпирал кругленький животик с пупочком, похожим на пуговку; наверху голубых заканчивался впадиной для солнечного сплетения; ниже голубых трусов, в полутенях, скрывались востренькие коленки с мохнатой го-

¹Сатэра — синоним слова «кореш».

ленью, в которые, по стойке «мирно», легко вложился бы пингвинок; грудь, выгнутая куриной дужкой, обозначалась висячими сосками многодетной собачей матери; руки цеплялись за занавески, взгляд — за великую даль. Разумное раскачивалось и кликушечьи напевало, босоного приشلепывало. Разумное никак не могло выбраться из припева «Эй, ухнем!»

В окно полетел камешек. «Эй! На помосте!» Песня поперхнулась. «Эй» чуть не выпало от неожиданности в комнату сырым мешком; оно удержалось, посмотрело вниз, коряво слезло с подоконника, открыло окно и выглянуло. До земли было метра три.

— Слышь, сатэра, — сказал Петя из-под фуражки, — брось что-нибудь, а то спать пора.

Фигура кивнула и с пьяной суетливой готовностью зашарила в глубине.

Через какое-то время голая пятка, раскрыв веером пальцы, уперлась в подоконник, и в окно опустилась простыня. Пете почему-то запомнилась эта пятка; такая человеческая и такая беззащитная...

Ыыы-х!

Поддав себе в прыжке по ягодицам, Петя бросился на простыню, как акробат на трапецию. Тело извивалось, физиономия Пети то и дело чиркала по бетону, ноги дергались, силы напрягались в неравной борьбе: простыня ускользала из рук.

Ыыы-х!

Бой разгорался с новой силой. Дециметры, сантиметры... вот он, подоконник, помятое, покореженное железо... Нет!

И вот тогда сатэра, совершенно упустив из виду, что он опирается пяткой, нагнулся вперед, собираясь одной рукой подхватить ускользающего Петю.

Всего один рывок — и сатэра, с криком «Аааа - м!»; простившись со своей осиротевшей комнатой, сделав в воздухе несколько велосипедных движений, вылетел через окно подкинутым канатом и приземлился рядом с Петей. Все. Наступила колодезная тишина.

Когда Петя открыл глаза и повернулся к корешу, он увидел, что тот смотрит в звезды космическим взглядом.

Петя встал сам и поднял с земли своего сатэру, потом он осмотрел его пристально и установил, что ничего ушиблено не было.

— Прости, мой одинокий кореш, сатэра, — воскликнул Петя

после осмотра; ему стало как - то легко, просто гора с плеч, — что так тебя побеспокоил. Пойду ночевать на лодку, в бидон. Не получилось. Мусинги¹ нужно было на твоей простыне вязать, мусинги. Ну ладно, не получилось. Не очень - то и хотелось.

Петя совсем уже собирался уходить, когда его остановил за - мерзающий взгляд. Кореш молчал. Взгляд втыкался и не отпускал.

Эх, ну что тут делать! И Петя вернулся. Кореш встретил его, как собака вернувшегoся хозяина.

Скоро они топтались, как стадо бизонов: кореш взбирался на Петю, пытаясь при этом одной рукой во что бы то ни стало перехватить ему горло, а другой рукой дотянуться до подоконника, но, как только он выпрямлялся, откуда ни возьмись появлялась амплитуда. Амплитуда грозила его обо что - нибудь сторяча трахнуть, и он малодушно сползал. Разъяренный Петя с разъяренными выражениями поставил бедолагу к стенке. Но когда Петя влез к нему на плечи, бедняга сложился вдвое. Пока хороняка медленно думал на четвереньках, Петя в отчаянии пытался с прыжка достать подоконник: спина у сатэры гнулась, как сетка батуа. В конце концов энергия кончилась: они шумно дышали друг на друга, разобрав на газоне тяжелые ноги...

Вставшее солнце освещало притихшие улочки маленького северного городка, дикие сопки цепенели в строю. Далеко в освещенном мире маячили две странные фигуры: они уже миновали вполку спящее КПГ. Первая была задумчивой, как обманутый Гамлет, а у второй из - под застегнутой доверху шинели виднелись мохнатые голые ноги, осторожно ступавшие в раскинувшуюся весеннюю грязь, — такие беззащитные и такие человеческие... они шли ночевать... в бидон...

ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ

Господи! Как мы только не добирались до своей любимой базы. Было время. Я имею в виду то самое славное время, когда в нашу базу вела одна - единственная дорога и по ней не надрывались автобусы, нет, не надрывались: по ней весело скакали самосвалы и

¹Мусинги — узы.

полуторки — эти скарабеи цивилизации. По горам и долам!

Стоишь, бывало, в заводе, в доке, со своим ненаглядным «оке-лезом», за тридцать километров от того пятиэтажного шалаша, в котором у тебя жена и чемоданы, а к маме - то хочется.

— А мне насрать! — говорил наш отец - командир (у классиков это слово рифмуется со словом «окрять»). — Чтоб в восемь тридцать были в строю. Хотите, пешком ходите, хотите, верхом друг на друге ездьите. Как хотите. Можете вообще никуда не ходить, если не успеваете. Узлом завязывайте.

Только подводнику известно, что в таких случаях нам начальство рекомендует узлом завязывать.

Пешком — четыре часа.

Мы сигналили машинам руками, запрыгивали на ходу, становились цепью и не давали им проехать мимо, ловили их, просили издалека и бросали им вслед кирпичами. Мы — офицеры русского флота.

— Родина слышит, Родина знает, где матерясь, ее сын пропадает, — шипели мы замерзшими голосами и влезали в самосвалы, когда те корячились по нашим пригоркам.

Однажды влетел я на борт полуторки, а она везла трубы. Сесть, конечно же, негде, в том смысле, что не на что. Хватаюсь за борт и, подобрав полы шинели в промежность, чтоб не запачкать, усаживаюсь на корточки в пустом углу. Начинает бросать, как на хвосте у мустанга. Прыгаю вверх - вниз, как дрессированная лягушка, и вдруг на крутом вираже на меня поехали трубы. На мне совсем лица не стало. Я сражался с трубами, как Маугли. Остаток пути я пролежал на трубах, удерживая их взбрыкивание своим великолепным телом.

А как - то в классическом броске залетаю на борт и вижу в углу двух приличных поросят. Мы — я и поросята — взаимно оторопели. Поросята что - то хрюкнули друг другу и выжидательно подзрительно на меня уставились.

«Свиньи», — подумал я и тут же принялся мучительно вспоминать, что мне известно о поведении свиней. Я не знал, как себя с ними вести. Вспоминалась какая - то чушь о том, что свиньи едят детей.

Дернуло. От толчка я резво бросился вперед, упал и заключил в объятия обеих хрюшек. Ну и визг они организовали!

А вот еще: догоняем мы бедную кольмагу, подышающую на при-

горке (мы — два лейтенанта и кагда, механик соседей), и плюха - емся через борт. То есть мы - то плюхнулись, а механик не успел он повис на подмышках на борту, а машина уже ход набрала, и тогда он согнул ноги в коленях, чтоб не стукаться ими на пригорках об асфальт, и так ехал минут десять.

И мы, рискуя своими государственными жизнями, его оторвали и втащили. Тяжело он отрывался. Почти не отрывался — рожа безмятежная, а в зубах сигарета.

А вот еще история: догоняем бортовуху, буксующую в яме, и, захлебываясь от восторга, вбрасываемся через борт, а последним из нас бежал связист — толстый, старый, глупый, в истерзанном и тлевшем кителе. Он бежал, как бегемот на стометровке: животом вперед, рассекая воздух, беспорядочно работая локтями, запрокинув голову, глаза, как у бешеной савраски, — на затылке, полные ответственности момента, раскрытые широко. Он подбегает, ударяется всем телом о борт, отскакивает, хватается, забрасывает одну ножку, тужится подтянуться.

А машина в это время медленно выбирается из ямы и набирает скорость, и он, зацепленный ногой за борт, скачет за ней на одной ноге, увеличивая скорость, и тут его встряхивает. Мы в это время помочь ему не могли, потому что совсем заболели и ослабели от смеха. Лежали мы в разных позах и рыдали, а один наш козел пел ему непрерывно канкан Оффенбаха.

Его еще раз так дернуло за две ноги в разные стороны, что той ногой, которая в канкане, он в первый раз в жизни достал себе ухо. Брюки у него лопнули, и показались голубые внутренности.

Наконец один из нас, самый несмешливый, дополз до кабины и начал в нее молотить с криком : «Убивают!»

Грузовик резко тормозит, и нашего беднягу со всего маху бросает вперед и бьет головой в борт, от чего он теряет сознание и пенсне...

А раз останавливаем грузовик, залезаем в него, расселись и тут видим — голые ноги торчат. Мороз на дворе, а тут ноги голые. Подобрались, пощупали, а это чей - то труп. Потом мы ехали в одном углу, а он в другом. У своего поворота мы выскочили, а он дальше поехал. Кто это был — черт его знает. Лицо незнакомое.

Вот так мы и служили.

Эх, веселое было время!

ПОСЛЕ ОБЕДА

Шифровальщик с секретчиком, ну и идиоты же! Пошутить они вздумали в обеденный перерыв, набрали ведро воды, подобрались в гальюне к одной из кабин и вылили туда ведро сверху. А там начальник штаба сидел. Они этого, конечно же, не знали, а в соседней кабине минер отдыхал. Тот от смеха чуть не заболел, сидел и давился. Он - то знал, кого они облили.

Вылили они ведро — и тишина. Начштаба сидит, тихонько кряхтит и терпит. А эти дурни ничего лучше не придумали — «эф - фекту - то никакого», — как еще одно ведро вылить. Минер в соседней кабине чуть не рехнулся, а эти вылили — и опять тишина.

Постояли они, подумали и набрали третье ведро.

Двери у нас в гальюне без шпингалетов, их придерживать надо, когда сидишь, а начштаба после двух ведер перестал их придерживать, и двери открылись как раз в тот момент, когда эти придурки собирались третье ведро вылить. Открылась дверь, и увидели они мокрого начальника штаба, сидящего орлом. Когда они его увидели, их так перекосило, что ведро у них из рук выпало. Выпало оно и обдало начштаба в третий раз, но только не сверху, а спереди. Подмыло его.

Он так орал на них потом в кабинете, куда он прошел прямо с толчка и без штанов, что просто удивительно. Я таких выражений никогда еще не слышал.

А минера из дучки вывели под руки. Он от смеха там чуть не подох.

МЕТОДИЧЕСКИ НЕВЕРНО

Продать человека трудно. Это раньше можно было продать. Несешь его на базар — и все! Золотое было время. Теперь все сложно в нашем мире бушующем.

Его звали Петей. По фамилии — Громадный. Петя Громадный. Он выговаривал через «о» и без последней — «Хромадны» — и вытягивал шею вперед, как черепаха Тортила, жрущая целлофановый пакет. «Ну - у, чаво там», — говорил он. Лучше б «му - у», так ближе к биологии вида. Он был радиоэлектронщик и жвачное од -

новременно. А еще он был мичманом. Наемным убийцей.

Он говорил «мыкросхма» — и тут же засыпал наповал. Так мелко он не понимал. А командир группы общекорабельных систем — группман — все проводил с ним занятия, все проводил. Оглянулся — спит! Чем бы его? Журналом в кило по голове — раз!

— Ты что, спишь, что ли?!

— Я - та?..

— Ты - та...

— Не - е...

— Ах ты...

— Все! Не могу! — группман сверкал глазами перед командиром БЧ-5 и сочно тянул при этом носом. — Хоть режьте, не могу я проводить с ним занятия.

— Ну как это?

— А так! Не могу.

— Значит, не так учишь! Неправильно. Методически неверно. Вот тебе «Волгу» ГАЗ-24 дай за него — наверное, тогда бы выучил. И потом он жалуется, что вы его за человека не считаете. Оскорбляете его человеческое достоинство. Ну, это вообще... методически неверно.

— Ме - то - ди - чес - ки?! — группман заикался не от рожденья, не с детства заикался. Дальше он шипел носом, как кипятильник перед взрывом. Одним носом. Ртом уже больше не мог.

— Да. Методически. Вот давайте его сюда, я вам покажу, как проводится занятие.

Целый час бэчепятый бился - бился, как волна об утес, но разбился, как яйца об дверь, и тогда в центральном заорало даже от ветвей и кабелей:

— Идиот, сука, идиот! Ну, твердый! Ну, чалдон! Чайник! Ну, вош - ще! Дерево! Дуремар! Ты что ж, думаешь!

Петя моргал и смотрел в глаза.

— Презерватив всмятку, если лодку набить таким деревом, как ты, она не утонет?! А?! Ну, страна дураков! Поле чудес! Ведро!!! Не женским местом тебя родило!!! Родине нужны герои, а... родит дураков! — бэчепятый глеснул руками, как доярка, и повернулся к группману. — Ведро даю. Спирта. Ректификата. Чтоб продал его. — Он ткнул Петю в грудь: — Продать! За неделю. Я в море ухожу. Чтоб я пришел и было продано! Куда хочешь! Кому хочешь! Как хочешь!

Продать дерево. Хоть кубометрами. Вон!!!

До Петинной щекастой рожи долетели его теплые брызги.

— Вон!!! На корабль с настоящего момента не пускать! Ни ногой. Стрелять, если полезет. Попроберется — стрелять! Была лицензия на отстрел кабана — сам бы уложил! Уйди, убью!!! — (Слюни — просто кипяток.) — Ну, сука, ну, сука, ну, сука... — бзечлятый кончался по затухающей, в конце он опять отыскал глазами группмана: — Ну я — старый дурак, а твои глаза где были, когда его на корабль брали? Чего хлопаешь? Откуда его вообще откопали? Это ж мамонт. Ископаемое. Сука, жираф! Канавы ему рыть! Воду носить! Дерьмо копать! Но к матчасти его нельзя допускать! Поймите вы! Нельзя! Это ж камикадзе!..

— Я же докладывал... — зашевелился группман.

— «Я же — я жо»... жопа, докладывал он...

Петю сразу не продали. Некогда было. В автономку собирались. Но в автономку его не взяли. Костями легли, а не взяли.

— Петя, ты чего не в море?

— Та вот... в отпуск выгнали...

Он ждал на пирсе как верный пес. Деньги у него кончились. После автономки наклевывался Северодвинск. Постановка в завод с потерей в зарплате. С корабля бежали, как от нищеты. Группман сам подошел к командиру:

— Товарищ командир, отпустите Громадного.

— Шиш ему. Чтоб здесь остался и деньги греб? Вот ему! Пусть пойдет. Подратрится. Вот ему ... а не деньги!

— Товарищ командир! Это единственная возможность! По-другому от него не избавиться. Хотите, я на колени встану?!

Группман встал.

— Товарищ командир! Я сам все буду делать! Замечаний в группе вообще не будет!

— А-а... черт...

В центральный группман вошел с просветленным лицом. Петя ждал его, как корова автопоилку. Даже встал и повел ушами.

— Три дня даю, — сказал ему группман, — три дня. Ищи себе место. Командир дал добро.

Через три дня группмана нашел однокашник:

— Слушай, у тебя есть такой Громадный?

Группман облегченно вздохнул, но тут же спохватился. Осто-

рожный, как старик из моря Хемингуэя. Забирает. Так клюет только большая рыба.

— Ну, нет! — возмутился группман для видимости. — Все разбегаются. Единственный мужик нормальный. Специалист. Не курит, не пьет, на службу не опаздывает. Нет, нет... — и прислушался: не сильно ли? Да нет, вроде нормально...

Петю встречали:

— Петя, ты, говорят, от нас уходишь?

— А чаво я в этом Северодвинске не видел? Чаво я там забыл? За человека не считают!

Скоро они встретились: группман и однокашник.

— Ну, Андрюха, вот это ты дал! Вот это подложил! Ну, спасибо! Куда я его теперь дену?

— А ты его продай кому-нибудь. Я как купил — в мешке, так и продал.

— Ну да. Я его теперь за вагон не продам. Все уже знают: «не курит, не пьет, на службу не опаздывает»...

Ида... теперь продать человека трудно. Это раньше можно было продать: на базар — и все. Золотое было время.

БОМЖИ

(собрание офицеров, не имеющих жилья; в конспективном изложении)

Офицеры, не имеющие жилья в России, собраны в актовом зале для совершения акта.

Входит адмирал. Подается команда:

— Товарищи офицеры!

Возникает звук встающих стульев.

Адмирал:

— Товарищи офицеры.

(Звук садящихся стульев.)

Затем следует адмиральское оглядывание зала (оно у адмирала такое, будто перед ним Куликово поле), потом:

— Вы! (Куда - то в глубь, может быть, в поля.) Вы! Вот вы! Да... да, вы! Нет, не вы! Вы садьтесь! А вот вы! Да, именно вы, рыжий, встаньте! Почему в таком виде... прибываете на совещание?.. Не -

на - до на себя смотреть так, будто вы только что себя увидели. Почему не стрижен? Что? А где ваши медали? Что вы смотрите себе на грудь? Я вас спрашиваю, почему у вас одна медаль? Где остальные? Это с какого экипажа? Безобразия! Где ваши начальники?.. Это ваш офицер? а? Вы что, не узнаете своего офицера?.. Что? Допштатник? Ну и что, что допштатник? Он что, не офицер?.. Или его некому привести в чувство?.. Разберитесь... Потом мне доклад... Потом доложите, я сказал... И по каждому человеку... пофамильно... Ну, это отдельный разговор... Я вижу, вы не понимаете... После роспуска строя... ко мне... Я вам объясню, если вы не понимаете. Так! Товарищи! Для чего мы, в сущности, вас собрали? Да! Что у нас складывается с квартирами... Вопрос сложный... положение непростое... недопоставки... трубы... сложная обстановка... Нам недодано (много - много цифр) метров квадратных... Но! Мы — офицеры! (Едрена вошь!) Все знали, на что шли! (Маму пополам!..) Тяготы и лишения! (Ы - ы!) Стойко переносить! (Ы - ых!) И чтоб ваши жены больше не ходили! (Мда...) Тут не детский сад... Так! С квартирами все ясно! Квартир нет и не будет... в ближайшее время... Но!.. Списки очередности... Всем проверить фамилии своих офицеров... Чтоб... Никто не забыт! Кроме квартир ко мне вопросы есть? Нет? Так, все свободны. Командование прошу задержаться.

— Товарищи офицеры!

Звук встающих стульев.

КАК СТАНОВЯТСЯ ИДИОТАМИ

Шла у нас приемопередача. Не понимаете? Ну, передавали нам корабль: лодку мы принимали от экипажа Долгушина. Передача была срочная: мы на этой лодке через неделю в автономку должны были идти.

И вот, чтоб мы быстренько, без выгибонов приняли корабль, посадили нас — оба экипажа — на борт и отогнали лодку по-дальше; встали там на якорь и начали приемопередачу.

Поскольку всем хотелось домой, то приняли мы ее — как и намечалось, без кривлянья; часа за четыре.

Командир наш очень торопился в базу, чтоб к «ночному колпаку» успеть. «Ночной колпак» — это литровый глоток на ночь: командир у нас пил только в базе.

Тронулись мы в базу, а нас не пускают — не дает «таможня» «добро».

В 18 часов «добро» не дали, и в 20 — не дали, и в 21 — не дали: буксиров нет.

В 22 часа командир издергался до того, что решил идти в базу самостоятельно: без буксиров.

Только мы пошли, как посты наблюдения и связи — эти враги рода человеческого — начали стучать о нас наверх.

Наверху всполошились и заорали:

— Восемьсот пятьдесят пятый бортовой! Куда вы движетесь?

«Куда, куда»... в дунькину кики, «куда». В базу движемся, ядрена мама!

Командир шипел радистам:

— Молчите! Не отвечайте, потом разберемся!

Ну и ладно. Идем мы сами, идем — и приходим в базу.

А оперативный, затаив дыхание, за нами наблюдает, интересно ему: как же эти придурки без буксиров швартоваться будут.

— Ничего, — говорил командир на мостике, — ошвартуемся как -нибудь...

И начали мы швартоваться «как -нибудь» — на одном междометии, то есть на одном своем дизеле: парусность у лодки приличная, дизель молотит, не справляется, лодку сносит, командир непрерывно курит и наблюдает, как нас несет на дизелях: их там три дизельных лодки с левого борта у пирса стояло; правая часть пирса голая, а с левой — три дизеля торчат, и нас ветром на них тащит, а мы упираемся — ножонки растопырили — ничего не выходит.

На дизелях все это уже заметили: повывезали все наверх и интересуются: когда мы им врежем? Эти дизеля через неделю тоже в автономку собирались. Ужас! Сейчас кокнемся! Сто метров остается... пятьдесят... двадцать пять... а нас все несет и несет...

Командир в бабьем предродовом поту руки ломает и причитает:

— Ну, все... все... все... с командиров снимут... из партии выкинут... академия накрылась... медным тазом... под суд отдадут... и

в лагерь, пионервожатым... на лесоповал... в полосатом купальнике...

И тут лодка замирает на месте... зависает... до дизелюх — метров двенадцать...

— Назад, — бормочет командир в безумье своем, — назад, давай, милая... давай... по-тихому... давай, родная... ну... милая, ну... давай...

И лодка почему-то останавливается и сантиметр за сантиметром каким-то чудом разворачивается, тащится, сначала вперед, а потом она останавливается окончательно совсем, ее сносит и прижимает к пирсу. Все! Прилипли!

— Фу! — говорит командир, утирая пот. — Фу ты... ну ты, проклять какая... горло перехватило... мешком ее задави... Фуууу... Вот так и становятся идиотами... Отпустило... даже не знаю... Ничего не отдышаться... Ну, я вообще... чуть не напустил под себя... керосину... даааа... Пойду... приму на грудь. Что-то сердце раззвонилось...

Пошел командир наш и принял на грудь. Одним литровым глотком.

ПАПА

Корабельный изолятор. Здесь царствует огромный, как скала, наш подводный корабельный врач майор Демидов. Обычно его можно найти на кушетке, где он возлежит под звуки ужасающего храпа. Просыпается он только для того, чтоб кого-нибудь из нас излечить. Излечивает он так:

— Возьми там... от живота... белые таблетки.

Демидыч у нас волжанин и ужасно окает.

— Демидыч, так они ж все белые...

— А тебе не все ровно? Бери, что дают.

Когда у механика разболелись зубы, он приполз к Демидычу и взмолился

— Папа (старые морские волки называют Демидова Папой)... Папа... не могу... Хоть все вырви. Болят. Аж в задницу отдает. Даже геморрой вываливается.

— Ну, давай...

Они выпили по стакану спирта, чтоб не трусить, и через пять минут Демидов выдернул ему зуб.

— Ну как? Полегчало? В задницу - то не отдает? — заботливо склонился он к меху. — Эх ты, при - ро - да... гемо - р - рой...

Механик осторожно оцупал челюсть.

— Папа... ты это... в задницу вроде не отдает... но ты это... ты ж мне не тот выдернул...

— Молчи, дурак, — обиделся Демидыч, — у тебя все гнилые. Сам говорил, рви подряд. В задниу, говорил, отдает. Сейчас не отдает? Ну вот...

Когда наш экипаж очутился вместе с лодкой в порядочном городе, перед спуском на берег старпом построил офицеров и мичманов.

— Товарищи, и наконец. Сейчас наш врач, майор Демидов, проведет с вами последний летучий инструктаж по поведению в городе. Пожалуйста, Владимир Васильевич.

Демидов вышел перед строем и откашлялся

— Во - о - избежание три - п - пера... или че - го похуже всем после этого дела помочить - ся и про - по - лос - кать сво - е хозяй - ство в мор - гон - цов - ке...

Голос из строя

— А где марганцовку брать?

— Дурак! — обиделся Папа. — У бабы спроси, есть у нее мор - гонцовка — иди, нет — значить, нечего тебе там делать...

— Еще вопросы есть?..

Наутро к нему примчался первый и заскребся в дверь изолято - ра. Демидыч еще спал.

— Демидыч! — снял он штаны. — Смотри, чего это у меня от твоей марганцовки все фиолетовое стало? А? Как считаешь, может, я уже намотал на винты? А? Демидыч...

Демидов глянул в разложенные перед ним предметы и повер - нулся на другой бок, сонно забормотав:

— Дурак... я же говорил, в мор - гон - цов - ку... в моргонцовку, а не в чернила... Слушаете... жопой... Я же говорил: вопросы есть? Один только вопрос и был: где моргонцовку брать, да и тот... ду - рацкий...

— Так кто ж знал, я ее спрашиваю: где марганцовка, а она говорит: там. Кто же знал, что это чернила? Слышь, Папа, а чего теперь будет? А?

Отведавший фиолетовых чернил наклонился к Демидову, стараясь не упустить рекомендаций, но услышал только чмоканье и бормотанье, а через минуту в изоляторе полностью восстановился мощный, архиерейский храп Папы.

ПОЛУДУРОК

Вас надо взять за ноги и шлепнуть об асфальт! И чтоб череп треснул! И чтоб все вытекло! А потом я бы лично опустился на карачки и замесил ваши мозги в луже! Вместе с головастиками!

Военные разговоры перед строем

Капитан третьего ранга на флоте — это вам не то, что в центральном аппарате. Это в центре каптри — как куча в углу наложена, убрать некому, а на флоте мы, извините, человек почти. Конечно, все это так, если ты уже годок и тринадцать лет отсидел в прочном корпусе.

Вот пришел я с автономки, вхожу в штабной коридор на ПКЗ и ору:

— Петровского к берегу прибило! В районе Ягельной! Срочно группу захвата! Брать только живьем! — и из своей каюты начштаба вылетает с готовыми трубуками на языке, но он видит меня и, успокоившись, говорит:

— Чего орешь, как раненый бегемот?

А начштаба — наш бывший командир.

— Ой, Александр Иванович, — говорю я ему, — здравия желаю. Просто не знал, что вы здесь, я думал, что штаб вымер: все на пирсе, наших встречают. Мы ведь с моря пришли, Александр Иванович.

— Вижу, что как с дерева сорвался. Ну, здравствуй.

— Прошу разрешения к ручке подбежать, приложиться, прошу разрешения припасть.

— Я тебе припаду. Слушай, Петровский, ты когда станешь офицером?

— Никогда, Александр Иванович, это единственное, что мне в жизни не удалось.

Начштаба у нас свой в доску. Он старше меня на пять лет, и мы

с ним начинали с одного борта.

— Ладно, — говорит он, — иди к своему флагманскому и передай ему все, что я о нем думаю.

— Эй! Покажись! — кричу я и уже иду по коридору. — Где там этот мой флагманский? Где это дитя внебрачное? Тайный плод любви несчастной, выдернутый преждевременно. Покажите мне его. Дайте я его пощупаю за теплый волосатый сосок. Где этот пудель рваный? Дайте я его сделаю шиворот - навыворот. Сейчас я возьму его за уши и поцелую в зассос.

Вхожу к Славе в каюту, и Слава уже улыбается затылком.

— Это ты, сокровище, — говорит Слава.

— Это я.

Мы со Славой однокашники и друзья и на этом основании莫名地 безнаказанно обзывать друг друга.

— Ты чего орешь, полудурок? — приветствует меня Слава.

— Нет, вы посмотрите на него, — говорю я. — Что это за безобразие? Почему вы не встречаете на пирсе своей любимой личный состав? А, жабеныш? Почему вы не празднично убраны? Почему вы вообще? Почему не спрашиваете: как вы сходили, товарищ Петровский, чува вы растребученная козел вы этакий? Почему не падаете на грудь? Не слонявите, схватившись за отворот? Почему такая нелюбовь?

Мои монологи всегда слушаются с интересом, но только единицы могут сказать, что же они означают. К этим единицам относится и Слава. Монолог сей означает, что я пришел с моря, автономка кончилась и мне хорошо.

— Саня, — говорит мне Слава, пребывая в великолепной флегме, — я тебя по-прежнему люблю. И каждый день я тебя люблю на пять сантиметров длиннее. А не встречал я тебя потому, что твой любимый командир в прошлом, а мой начштаба в настоящем за действовал меня сегодня не по назначению.

— Как это офицера можно задействовать не по назначению? — говорю ему я. — Офицер, куда его ни сунь, — он везде к месту. Главное, побольше барабанов. Больше барабанов — и успех обеспечен.

— Пока вы там плавали, Саня, у нас тут перетрубации произошли. У нас тут теперь новый командующий. Колючая проволока. Заборы у нас теперь новые. КПГ еще одно строим. А ходим мы

теперь гуськом, как в концлагере.

— Заборы, Слава, — говорю ему я, — мы можем строить даже на экспорт. Кстати, политуроды на месте? Зам бумажку просил им передать. (Политуроды — это инструкторы политотдельские: комсомолец и партиец)

— На месте, — говорит мне Слава. — Держитесь прямо по коридору и в районе галюна обнаружите это гнездо нашей не-примиримости.

— Не закрывайте рот, — говорю я Славе, — держите его открытым. Я сейчас буду. Только проверю их разок на оловянность и буду.

Заменышей я нашел сидящими и творящими. Один лучше другого. Оба мне неизвестны. Боже, сколько у нас перемен. А жирные-то какие! Чтоб их моль сожрала! Их бы под воду на три месяца да на двухстенку, я бы из них людей сделал.

— Привет, — говорю я им, — слугам кардинала от мушкетеров короля. Наш зам вам эту бумажку передает и свой первый поцелуй.

— Слушай, — обнял я комсомольца, — с нашим комсомолом ничего не случилось, пока я плавал?

— Нет, а чего?

— Ну, заборы у вас здесь, колючая проволока, ток вроде подведут.

Чувствую, как партия напряглась затылком. Пора линять.

— Все! — говорю им. — Работайте, ребята, работайте. Комплексный план, индивидуальный подход, обмен опытом — и работа закипит. Вот увидите. Новый лозунг не слышали? «Все на борьбу за чистоту мозга!»

Я вышел и слышу, как один из этих «боевых листков» говорит другому:

— Это что за сумасшедший?

— Судя по всему, это Петровский. Они сегодня с моря пришли. Страшный обалдуй.

КОНСПЕКТ

Все! Попался - таки! Мой конспект попался на глаза заму. Я ув -

лекся и не успел его спрятать. Зам вошел, взял его в руки и прочитал название — красное, красивое, в завитушках

«Падение Порт-Артура», В. И. Ленин, ПСС, т..., стр...»

Под ним почерком совершенно безобразным шло: «Он упал и загремел в тазу...»

Зам посмотрел на меня и опять в конспект.

“Голос: И хорошо, что упал, а то б туда служить посылали”.

— Это что? — спросил зам. — Конспект?

— Конспект, — отважно ответил я. Отчаяние придало мне силы, и какое-то время мне даже было жаль зама.

Он тем временем снова углубился в изучение текста:

“Ночь плывет. Смоляная. Черная. Три барышни с фиолетовыми губами. Кокаиновое безумство. Лиловые китайцы. Погосы - кокосы. Сотня расплавленных лиц громоздится до купола. Распушенная пуловина. И зубами за нее! И зубами! Красные протуберанцы. Ложатся. Синие катаклизмы. Встают. Болван! Не надо читать. Надо чувствовать. Брюши - ной. Стихи: Ландыш. Рифма — Гадыш. Неба нет. Вместо него серая портянка. И жуешь ее, и жуешь! «Кого? Портянку?» — «Это уж кто как понимает”.

— Александр Михайлович, что это?

Видите ли, весь фокус в том, что у меня два конспекта в тетрадях совершенно одинакового цвета. В одной я пишу настоящий конспект первоисточников, а в другой — свои мысли и всякую белиберду из прочитанного и храню все это вместе с секретными документами, потому что у нас же свои мысли просто так не сохранить: обязательно через плечо влезет чья-нибудь рожа. Поэтому над мыслями я писал наиболее удачные заголовки работ классиков марксизма. Писал крупно и красиво. Влезет кто-нибудь: «Что пишешь?» — и ударит ему в глаза красный заголовок, после чего он морщится и гаснет. А с замом осечка произошла: сунулся и вчитался. Просто непраха какая-то!

— Что-о де-лять! — по складам прочитал зам осевшим голосом. — Полное собрание сочинений... так... что делать...

“И встал! И тут во всей своей безобразной наготе встал вопрос: что делать? Потом он взял и сел”.

“Ради Бога! Ради Бога, не надо ничего делать! Ради Бога! Сидите тихо и не шевелитесь...”

“Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого кол-

лективного труда..."

"Члены моего кружка — кружки моего члена".

"Кавказ: «Слушай - а! Па иному пути пайдем! Не нада нам этой парнаграфии — «Горе от ума», «Ревизор», Гоголи - моголи!"

"— Ах, не могу я, Рюрик Львович, ах, не могу..."

"— Увы вам, Агнесса Сидоровна..."

Я закатыл глаза и приготовился к худшему, а зам тем временем читал, все убыстряя:

"Материализм и эмпириокритицизм".

"Тысячи вспугнутых ослов простирались за горизонты. Произошло массовое отпадение верующих. Множество их лежало там и сям в самых непотребных позах. Остальные были ввергнуты в блуд и паскудство. Суцизм процветал. И повинны в том были сами попы, дискредитировавшие в лоск не только себя, но и свет истинной веры. Мрак сочился. Тени неслись. Мерзость липла. Пора! Мама, роди меня обратно".

"Великий почин".

"Паңданусы стояли колючей стеной. Цвели агавы. Царица ночи распустила повсюду свои мясистые, сахарные лепестки. Удушливо пахли рододендроны и орхидеи. Свисали розалии. Кричали тапиры. Тарахтели коростели. Кряхтели обезьяны - носачи. Со стороны неторопливо несло амброзией. Жаба, скрипя сердцем, напозала на жабу. Напозала и брякала, Напозала и брякала. Рай да и только. Ну как в таких условиях, я вас спрашиваю, схватить на себя бревно и потащить его неведомо куда? Совершенно невозможно даже помыслить, чтобы схватить..."

Дальше сдавленный зам лихорадочно выхватывал из - под заголовков только первые строчки.

"Три источника — три составные части марксизма".

"Только не надо трогать могилы..."

"Карл Маркс".

"Он открыл свой рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче!.. Нет. Нет слов для описания черного бюста этого чудовища, поставленного перед Думой в обрамлении арки. Сын погибели. Отец мрака. Брат отца сына безумства. Изы - ди! Антрациты! Помоечные блики ложатся. Пляшут гиганты!"

"Кто такие «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов".

— Приветливо запахло шашлыком.

— Это жареным запахло.

— Вы ошибаетесь. Пахнет шашлыком. Шашлык обладает огромной притягательной силой”.

“Очередные задачи советской власти”.

“Умоляю! Только не это! Что угодно, но только не это! Только не трепет новой жизни.

— Гесь! — крикнул кучер во сне. — Сарынь на кичку! — и лошади в струпяных пятнах понесли, и полторы версты голова мертваца колотилась о ступени.

Приехали! Поле чудес в Стране Дураков. Выбирай себе любую лунку, садись и кидай в нее золотой. Наутро вырастет дерево, и на нем будет полным - полно золотых для Папы Карло. Просто полно.

Сто миллионов буратин! Столько же миллионов папа карл!”

“Как нам реорганизовать Рабкрин”.

“А - На - Хе - Ра?! И так полная жопа амариллисов! Робеспьеры! Ну, решительно все Робеспьеры!”

“Все на борьбу с Деникиным!”

“Увесистый мой! Ну, зачем нам такой примитив. Не будем па- дать от него на спину вверх ножками”.

“О соцсоревновании”.

— Вип - рос - са - лий!!! Шампанского сюда! Я буду мочить в нем свою печаль.

— Звезда души моей, временно не ложьте грудь ко мне в тарелку, я в ней мясо режу”.

Хлоп! Это зам захлопнул мой конспект, тяжело дыша. Тут же потянуло гнилью. Кошмар, что было после. Но все вскоре обошлось. Все мои замы рано или поздно приходили к мысли, что я слегка не в себе.

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО

Наше начальство решило в одно из летних воскресений одним махом окончательно нас просветить и облагородить.

Для исполнения столько высокой цели оно избрало тему, близкую нашему пониманию, оно избрало автобусную экскурсию в Малые

Карелы — в центр архангельского деревянного зодчества.

И вот рано утром все мы, празднично убранные, частично с женами, частично с личным составом, приехали в этот музей под открытым небом.

Матросы, одетые в белые форменки, тут же окружили нашего экскурсовода — молодую, симпатичную девушку. Легкое, летнее платьице нашего экскурсовода, насквозь прозрачное, в ласковых лучах северного солнышка, волновало всех наших трюмных, мотористов, турбинистов четкими контурами стройных ног. Турбинисты пылали ушами и ходили за ней ошалевшим стадом.

И она, раскрасневшаяся и свежая от дивного воздуха и от присутствия столь благодарных слушателей, увлеченно повествовала им об избах, избышках, лабазах, скотных и постоянных дворах, о банях, колокольнях и топке по-черному.

— А как вас зовут? — спрашивали ее смущающиеся матросы в промежутках между бревнами.

— Галина, — говорила она и вновь возвращалась к лабазам.

— Галочка, Галочка, — шептали наши матросы и норовили встать к ней поближе, чтоб погрузиться в волны запахов, исходящих от этих волос, падающих на спину, от этих загорелых плеч, от платьица и прочих деталей на фоне общего непереносимого очарования.

Мы с рыжим штурманом осмотрели все и подошли к деревянному гальюну, который являлся, наверное, обязательной частью предположенной экспозиции: сквозь распахнутую дверь в гальюне зияли прорубленные в полу огромные дырищи. Они были широки даже для штурмана.

— Хорошая девушка, — сказал я штурману, когда мы покинули гальюн.

— Где? — сказал он, ища глазами.

— Да вон, экскурсовод наш, неземное создание.

— А-а, — сказал штурман и посмотрел в ее сторону.

Штурман у нас старый женоненавистник.

— Представь себе, Саня, — придвинулся он к моему уху, не отрываясь от девушки, — что это неземное создание взяло и пошло в этот гальюн, и там, сняв эти чудные трусики, которые у нее так трогательно просвечивают сквозь платье, оно раскорячилось и принялось тужиться, тужиться, а из нее все выходит, выходит. Вот если

посмотреть из ямы вверх, через эту дырищу, как оно выходит, то о какой любви, после этого, может идти речь? Как их можно любить, Саня, этих женщин, когда они так гадят?!

— Мда, — сказал я и посмотрел на него с сожалительным осуждением.

Наш рыжий штурман до того балбес, что способен ополшить даже светлую идею деревянного зодчества.

ПОСЫЛКА

Минеру нашему пришла посылка. А его на месте не оказалось, и получали ее мы. С почты позвонили и сказали:

— Ничего не знаем, обязательно получите.

Ох и вонючая была посылка! Просто жуть. Кошмар какой - то. Наверное, там внутри кто - то сдох.

Запихали мы ее минеру под койку и ушли на лодку. Минер наутро должен был появиться, он у нас в командировке был.

Жили мы тогда в казарме, без жен, так что вечером, когда мы вернулись в свое бунгало, то сразу же вспомнили о посылке. Дверь открыли и — отшатнулись, будто нас в нос лягнуло, такой дух в помещении стоял сногшибательный.

Кто - то бросился проветривать, открывать окна, но дух настолько впитался в комнату и во все стены, что просто удивительно.

С такой жизни потянуло выпить. Выпили, закусили, старпом к нам зашел, опять добавили.

— Слушайте, — говорит нам старпом минут через тридцать, — а чем это у вас воняет? Сдохло что -нибудь?

— У нас, — говорим мы ему, — ничего не сдохло. Это у минера. Ему посылку прислали с какой - то дохлятиной.

— А - а - а... — говорит старпом.

Долго мы еще говорили про минера и про то, что раньше не замечали, чтоб он такой гадостью питался, выпили не помню уже сколько, и тут вдруг запах пропал. Ну просто начисто исчез. И даже наоборот — запахло чем - то вкусеньким.

— Интересно, — сказали мы друг другу, — чем это так пахнет замечательно?

Доставили мы посылку и тщательно ее обнюхали. Точно, отсюда,

даже слюнки у нас побежали.

Вскрыли мы посылку. Всех заинтересовало такое чудесное превращение. В ней оказался крыжовник — ягода к ягоде. Сеном он был переложен. Сено, конечно же, спримило, а крыжовник был еще в очень даже хорошем состоянии. И пах изумительно. Наверное, его просто проветрить нужно было.

Вытащили мы крыжовник и съели, а сено покидали минеру назад в посылку, заколотили ее и затолкали ему под койку. Вкусный был крыжовник. Отличная закуска. Ничего подобного я никогда не ел.

А утром, мама моя разутая, глаз не открыла. Вонючий запах! Голова раскалывается. Жуть какая-то. Даже открытое окно не спасает. И тут открывается дверь — и появляется наш минный офицер. Вошел он, и, видим, повело его от впечатления. Наши, глядя на него, даже лучше себя почувствовали.

— Что это у вас тут? — говорит он, а у самого глаза слезятся — Ну невозможно же... Что вы тут всю ночь делали?

— У тебя надо спросить, — говорим мы ему. — Слушай, минер, а ты сено, вообще-то, ешь?

— Какое сено?

— Как это какое? — говорим мы. — Тебе сено в посылке пришло. А оно по дороге сдохло, не дождалось, когда ты его съешь. Вон, под кроватью лежит. Мы его, сдуру, вчера открыли — думали, лечебное что-нибудь, так чуть концы не отдали.

Достал минер посылку, сморщился и пошел выбрасывать. А мы даже смеяться не могли. Ослабели сильно. Больно было в желудках.

СУЧОК (читай быстро)

Только с моря пришли, не успели пришвартоваться, а зам уже — прыг! — в люк центрального и полез наверх докладывать о выполнении плана политико-воспитательной работы. Крикнул в центральный командир: «Я доложить!» — и полез. Мы все решили, что о плане политико-воспитательной работы, а о чем еще можно заму доложить? Он этим планом всех нас задолбал, изнасиловал, всем уши просверлил. Наверное, о нем и полез докладывать, о чем

же еще? Да так быстро полез. Любят наши замы докладывать. Даже если ничего нет, он подбежит и доложит, что ничего нет. Чудная у них жизнь. Как только он полез докладывать, за ним крыса прыгнула. Ее, правда, никто не заметил. Крыса тоже торопилась; может, ей тоже нужно было доложить. И попала она заму в штанину и с испугу полезла ему по ноге вверх. Зам у нас брезгливый — ужас! Он моряка брезгует, не то что крысу. Он как ощутил ее в себе — его как стошнило! Мы глядим — льется какая-то гадость из люка, в который зам полез доложить о плане, потом шум какой-то — там-тарарам-там-там! — ничего не понятно, а это зам оборвался и загремел вниз. Крыса успела из штанов выскочить, пока он летел, а он — так и впечатался задом в палубу, и копыта отвалились, в смысле башмаки отмаркированные, и лбом ударился — аж зрачки сверкнули. Так и не доложил. Сучок.

НА ТОРЦЕ (читай медленно)

Федя пошел на торец пирса. Зачем подводнику ходить на торец пирса, когда вокруг весна, утки и солнце вот такое, разлитое по воде? А затем, чтобы, нетерпеливо путая свое верхнее с нижним, разворотить и то и другое, как бутон, достать на виду у штаба и остальной живой природы из этого бутона свой пестик и, соединив себя струей с заливом, испытать одну из самых доступных подводнику радостей.

На флоте часто шутят. Разные бывают шутки: веселые и грустные, но все флотские шутки отличает одно: они никогда потом без смеха не вспоминаются...

Не успела наступить гармония. Не успел Феденька как следует соединиться с заливом, как кто-то сзади схватил его за плечи и дернул сначала вперед, а потом сразу назад!

У подводника в такие секунды всегда вылезает оба глазика. С чмоканьем. Один за другим: чмок-чмок!..

Танцуя всем телом и чудом сохраняя равновесие, Федя начал оголтело захлывать струю в штаны, как змею в мешок. Пестик заводило взбесившимся шлангом... и Федя... не сохранив равнове-

сия... с криком упал обреченно вперед, не переставая соединяться с заливом. Казалось, его стянули за струю. Он так и не увидел того, кто ему все это организовал, — некогда было: Федя размашисто спасал свою жизнь. Его никто не доставал...

Знаете, о чем я всегда думаю на торце, лицом к морю, когда рядом весна, и утки, и солнце, вот такое, разлитое по воде? Я думаю всегда: как бы не стянули за струю, и мне всегда кажется, что кто-то за спиной уже готов толкнуть меня, сначала вперед, а потом — сразу назад.

ЩЕЛЬ

(вообще не читай)

Стояли мы в заводе. Ветер прижимной, а наше фанерное корыто, скрипя уключинами, должно было, как на грех, перешвартоваться и встать в щель между «Михаилом Сомовым» (он еще потом так удачно замерз во льдах, что просто загляденье) и этой дурой Октябрьиной — крейсером «Октябрьская революция». Там нам должны были кран-балку вмяндячить. А командир у нас молодой, только прибыл на борт, только осчастливил собой наш корабль. Он говорит помощнику:

— Григорий Гаврилович, я корабль еще не чувствую и могу не попасть при таком ветре в эту половую щель. Так что вы уж швартуйтесь, а я пока поучусь.

У нашего помощника было чему поучиться. Было. Корабль он чувствовал. Он его так чувствовал, что разогнал и со скоростью двенадцать узлов, задом, полез в щель.

Командира, стоявшего при этом на правом крыле мостика, посетил удивление; коснулось его, как говорят поэты, одним крылом. Особенно тогда, когда за несколько метров до щели выяснилось, что мы задом летим на нос «Мише Сомову».

Помощник высунулся с белым лицом и сказал:

— Товарищ командир, по-моему, мы не вписываемся в пейзаж. Все, товарищ командир, по-моему...

И тут командир почувствовал корабль.

— И-и-я!! — крикнул он в прыжке, а потом заорал. — ВРШ-ноль! ВРШ — четыре с половиной!

И наша фанерная контора, после этих ВРШ, пронеслась мимо «Товарища Сомова» с радостным ржаньем.

Нам снесло все леерные стойки с правого борта, крыло мостика как корова языком слизнула, а потом уже екнуло об стенку. А ВРШ — это винт регулируемого шага, если интересуетесь; без него не впишешься в щель.

Когда мы стукнулись, помощник выскочил на причальную стенку и побежал по ней, закинув рога на спину. Командир бежал за ним, махал схваченной по дороге гантелью и орал:

— Гав - но - о!!! Лучше не приходи! Я тебе эту гантель на голове расплющу! Расшибу - у! Ты у меня почувствуешь! У - блю - док!!!

НЕ ДЛЯ ДАМ

Вернемся к вопросу о том, с кем мы, офицеры флота, делим свои лучшие интимные минуты, интимно размножаясь, а проще годоворя плодясь со страшной силой.

Просыпаешься утром, можно сказать даже — на подушке, а рядом с тобой громоздится чей - то тройной подбородок из отряда беспозвоночных. Внимательно его обнюхиваешь, пытаешься восстановить, в какой подворотне ты его наблюдал. Фрагменты, куски какие - то. Нет, не восстанавливается. Видимо, ты снял эту Лох - Несси, эту бабушку русского флота, это чудище северных скал одноглазое в период полного поражения центральной нервной системы, когда испытываешь половое влечение даже к сусликовым норкам.

Иногда какой - нибудь лейтенант до пяти утра уламывает у за - мочной скважины какую - нибудь Дулициную Монгольскую и, уломав и измучась в белье, спит потом, горемыка, в автобусе, примерзнув исполнительной челкой к стеклу.

Таким образом, к тяготам и лишениям воинской службы, организуемой самой службой, добавляется еще одна тягота, разрешение от которой на нашем флоте издавна волнует все иностранные разведки.

Проиллюстрируем тяготу, снабдив ее лишениями.

Начнем прямо с ритуала.

Подъем военно - морского флага — это такое же ритуальное

отравление, как бразильская самба, испанская коррида, африканский танец масок и индийское заклинание змей. На подъем флага, как и на всякий ритуал, если ты используешься в качестве ритуального материала, рекомендуется не опаздывать, иначе ты услышишь в свой адрес такую чечеточку, что у тебя навсегда отложится этот ритуал на флоте — главнейший.

Уже раздалась команда: «На флаг и пойс...» — когда на сцене появился один из упомянутых лейтенантов. На его виноватое сюсюканье: «Прошу разрешения встать в строй...» — последовало презрительное молчание, а затем раздалась команда: «Смир - на!!!» Лейтенант шмыгнул в строй и замер.

Вчера они сошли вдвоем и направились в кабак на спуск паров, а сегодня вернулся почему - то только один. Где же еще один наш лейтенант? Старпом, крестный отец офицерской мафии, скопил глаза на командира. Тот был невозмутим. Значит, разбор после построения.

Не успел строй распуститься, не успел он одеться шелестом различных команд, как на палубе появился еще один, тот самый недостающий лейтенантский экземпляр. Голова залеплена огромным куском ваты, оставлены только три дырки для глаз и рта. Вот он, голубь.

— Разберитесь, — сказал командир старпому, — и накажите.

Старпом собрал всех в кают - компании.

— Ну, — сказал он забинтованному, — сын мой, а теперь доложите, где это вас ушибло двухтавровой балкой?

И лейтенант доложил.

Пошли в кабак, сняли двух женщин и, набрав полную сетку «Алазанской долины», отправились к ним. Квартира однокомнатная. То есть пока одна пара пьет на кухне этот конский возбуждатель, другая, проявляя максимум изобретательности, существенно раздвигает горизонты камы - сутры, задыхаясь в ломоте.

Окосевшее утро вылило, в конце концов, за окошко свою серую акварель, а серое вещество у лейтенантов от возвратно - поступательного и колебательно - вращательного раскаталось, в конце концов, в плоский блин идиотов.

Уже было все выпито, и напарник, фальшиво повизгивая, за стенкой доскребывал по сусечкам, а наш лейтенант в состоянии слабой рефлексии сидел и мечтал, привалившись к спинке стула, о политической информации, где можно, прислонившись к пиллерсу, целый

час бредить об освобождении арабского народа Палестины.

И тут на кухню явилась его Пенелопа.

— Не могу, — сказала Пенелопа суровая, — хочу и все.

Офицер не может отказать даме. Он должен исполнить свой гражданский долг. Лейтенант встал. Лейтенант сказал:

— Хорошо! Становись в позу бегущего египтянина!

Пенелопа как подрубленная встала в позу бегущего египтянина, держась за газовые конфорки и заранее исходя стоном египетским. Она ждала, и грудь ее рвалась из постромков, а лейтенант все никак не мог выйти из фазы рефлексии, чтоб перейти в состояние разгара. Ничего не получалось. Лейтенант провел краткую, но выразительную индивидуально-воспитательную работу с младшим братом, но получил отказ наотрез. Не захотел члентано стачиваться на карандаш — и все. Ни суровая встряска, ни угроза «порубить на пятаки» к существенным сдвигам не привели.

Девушка стынет и ждет, подвывая, а тут... И тут он заметил на столе вполне приличный кусок колбасы. Лейтенант глупо улыбнулся и взял его в руки.

Цельх десять минут, в тесном содружестве с колбасой, лейтенант мощно и с подсосом имитировал движения тутового шелкопряда по тутовому стволу.

Девушка (дитя Валдайской возвышенности), от страсти стиснув зубы, крутила газовые выключатели, и обсуждаемый вопрос перешел уже в стадию судорог, когда на кухню сунулась буйная голова напарника.

— Чего это вы здесь делаете? — сказала голова и добавила: — Ух ты...

Голова исчезла, а дверь осталась открытой.

— Закрой, — просквозила сквозь зубы «Валдайская возвышенность», и он, совершенно увлекшись, не прекращая движения, переложил колбасу в другую руку, сделал два шага в сторону двери и закрыл ее ногой.

Пенелопа, чувствуя чешуей, что движения продолжают, а он закрывает дверь вроде бы даже ногой, оглянулась и посмотрела, чем это нас там. Выяснив для себя, что не тем совершенно, о чем думалось и страдалось, она схватила с плиты сковороду и в ту же секунду снесла лейтенанту башку. Башка отлетела и по дороге взорвалась.

Через какое-то время лейтенант очнулся в бинтах и вате и,

шатаясь, волоча рывками на прицеле натруженные гонады, как бе -
ременная тараканиха, — он явился на борт.

— Уйди, лейтенант, — сказал старпом среди гомерического
хохота масс, — на сегодня прощаю за доставленное удовольствие.

ХАЙЛО

Это нашего старпома так звали. Обычно после неудачной сдачи
задачи он выходил перед нашим огромным строем, снимал фураж -
ку и низко кланялся во все стороны:

— Спасибо, (еще ниже) спасибо... спасибо... обкакали. Два
часа на разборе мне дерьмо в голову закачивали, пока из ушей не
хлынуло. Спасибо! Работаешь, как негр на плантации, с утра до ночи
в перевернутом состоянии, звезды смотрят прямо в очко, а тут...
спасибо... ну, теперь хрен кто с корабля сойдет на свободу. По -
хорошему не понимаете. Объявляю оргпериод на всю оставшуюся
жизнь. Так и передайте своим мамочкам.

Потом он надевал фуражку набекрень, осаживался и добавлял:
«Риф - ле - ны - е па - пу - а - сы! Перья распушу, вставлю вам всем в
задницу и по ветру пушу! Короче, фейсом об тейбол теперь будет
эври дей!»

Старпом у нас был нервный и нетерпеливый. Особенно его
раздражало, если кто - нибудь в люк центрального опускается слиш -
ком медленно, наступая на каждую ступеньку, чтоб не загреметь; а
старпом в это время стоит под люком и ему срочно нужно наверх. В
таких случаях он задирает голову в шахту люка и начинал вполне
прилично:

— Чья это там фантастическая задница, развевающаяся на вет -
ру, на нас неукротимо надвигается?

После чего он сразу же терял терпение: «А ну скорей! Скорей,
говорю! Швыдче там, швыдче! Давай, ляжкой, ляжкой подрабатывай!
Вращай, говорю, суставом, грызло конское, вращай!»

Потеряв терпение, он вопил: «Жертва аборта! Я вам! Вам гово -
рю! И нечего останавливаться и смотреть вдумчиво между ног! Что
вы ползете, как удивленная беременная каракатица по тонкому льду?!»

«Удивленная беременная каракатица» слезала и чаще всего
оказывалась женщиной, гражданским специалистом.

И вообще, наш старпом любил быстрые, волевые решения. Однажды его чуть крысы не съели. Злые языки рассказывали эту историю так.

Торжественный и грозный старпом стоял в среднем проходе во втором отсеке и в цветных выражениях драл кого - то со страшной силой:

— ...Вы хотите, чтоб нам с хрустом раскрыли ягодицы?.. а потом длительно и с наслаждением насильовали?.. треснувшим черенком совковой лопаты... вы этого добиваетесь!..

И тут на него прыгнула крыса. Не то чтобы ей нужен был именно старпом. Просто он стоял очень удобно. Она плюхнулась к нему на плечо, пробежала через впуклую грудь на другое плечо (причем голый крысиный хвост мазанул старпома по роже) и в прыжке исчезла.

Старпом, храня ощущение крысиного хвоста, вытащил глаза из амбразур и как болт проглотил. Обретя заново речь, он добрался на окосевших ногах до «каштана» и завопил в него:

— Ме - ди - ка - сю - да! Этого хмыря болотного! Лейтенанта Жупикова! Где эта помятая падла?! Я его приведу в соответствие с фамилией! Что «кто это»? Это старпом, куриные яйца, старпом! Кто там потеет в «каштан»? Кирпич вам на всю рожу! Выплюньте все изо рта и слушайте сюда! Жупикова, пулей чтоб был, теряя кало на ас - фальт! Я ему пенсне - то вошью!..

Корабельные крысы находятся в заведовании у медика.

— Лейтенанту Жупикову, — передали по кораблю, — прибыть во второй отсек к старпому.

Лейтенант Жупиков двадцать минут метался между амбулаторией и отсечными аптечками. На амбулатории висел амбарный замок, у лейтенанта не было ключа (химик - санитар, старый козел, закрыл и ушел в госпиталь за анализами). Лейтенанту нужен был йод, а в отсечных аптечках ни черта нет (раскурочили, сволочи). На его испуганное «что там случилось?» ему передали, что старпома укусила крыса за палец и теперь он мечтает увидеть медика живьем, чтобы взвесить его сырым.

Наконец ему нашли йод, и он помчался во второй отсек, а по отсекам уже разнеслось:

— Старпома крысы сожрали почти полностью.

— Иди ты...

— Он стоит, а она на него шась — и палец отхватила, а он ее журналом хрясь! — и насмерть.

— Старпом крысу?

— Нет, крыса старпома. Слушаешь не тем местом.

— Иди ты...

— Точно...

Лейтенант прилетел как ошпаренный, издали осматривая пальцы старпома. От волнения он никак не мог их сосчитать: то ли девять, то ли десять.

— Подойдите сюда! — сказал старпом грозно, но все же со временем сильно поостыв. — Куда вас поцеловать? Покажите, куда вас поцеловать, цветок в проруби? Сколько вас можно ждать? Где вы все время ходите с лунным видом, яйца жуете? Когда этот бардак прекратится? Да вы посмотрите на себя! У вас уже рожа на блюде не помещается! Глаз не видно! Вы знаете, что у вас крысы пешком по старпому ходят? Они же у меня скоро выгрызут что-нибудь — между прочим, между ног! Пока я ЖБП писать буду в тапочках! Только не юродствуйте здесь! Не надо этих телодвижений! Значит, так — чтоб завтра на корабле не было ни одной крысы, хоть стреляйте их, хоть целуйте каждую! Как хотите! Не знаю! Все! Идите!

И тут старпом заметил йод, и лицо его подобрело.

— Вот, Жу-упиков, — сказал он, старательно вытягивая «у», — молодец! Где ж ты йод-то достал? На корабле же ни в одной аптечке йода нет. Вот, кстати, почему все аптечки разукomплектованы? выдра вы заморская, а? Я, что ли, за этим дерьмом следить должен? Вот вы мне завтра попадетесь вместе с крысами! Я вам очко-то проверну! Оно у вас станет размером с чашку петри и будет непрерывно чесаться, как у пьяного гамадрила с верховьев Нила!

Слышали, наверное, выражение: «Вот выйдешь, бывало, раз-завишь хлебало, а мухи летать и летать»? Именно такое выражение сошло с лица бедного лейтенанта после общения со старпомом.

Но должен вам поведать, что на следующий день на корабле не было ни одной крысы. Я уж не знаю, как Жу-упикову это удалось? Целовал он их, что ли, каждую?

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ

Перед отбоем мы с Серегой вышли подышать отрицательными ионами.

Боже! Какая чудная ночь! Воздух хрустальный; природа — как крылышки стрекозы: до того замерла, до того, зараза, хрупка и прозрачна. Черт побери! Так, чего доброго, и поэтом станешь!

— Серега, дыши!

— Я дышу.

Тральщики ошвартованы к стенке, можно сказать, задней своей частью. Это наше с Серегой место службы — тральщики бригады ОВРа.

ОВР — это охрана водного района. Как засунут в какой-нибудь «водный район», чтоб их, сука, всех из шкурки повытряхивало, — так месяцами берега не видим. Но теперь, слава Богу, мы у пирса. Теперь и залить в себя чего-нибудь не грех.

— Серега, дыши.

— Я дышу.

Кстати о бабочках: мы с Серегой пьем еще очень умеренно. И после этого мы всегда следим за здоровьем. Мы вам не Малиновский, который однажды зимой так накушался, что всю ночь проспал в сугробе, а утром встал как ни в чем ни бывало — и на службу. И хоть бы что! Даже насморк не подхватил. О чем это говорит? О качестве сукна. Шинель у него из старого отцовского сукна. Лет десять носит. Малину теперь, наверное, в запас уволят. Еще бы! Он же первого секретаря райкома в унитазе утопил: пришел в доф пьяненький, а там возня с избирателями, — и захотел тут Малина в галюн. По дороге встретил он какого-то мужика в гражданке — тот ему дверь загораживал. Взял Малина мужика за грудь одной рукой и молча окунул его в толчок. Оказался первый секретарь. Теперь уволят точно.

— Серега, ты дышишь?

— Дышу.

Господи, какой воздух! Вот так бы и простоял всю жизнь. Если бы вы знали, как хорошо дышится после боевого траления! Часов восемь походишь с тралом, и совсем по-другому жизнь кушается. Особенно если тралишь боевые мины: идешь и каждую секунду ждешь, что она под тобой рванет. Пальцы потом стакан не держат.

— Серега, мы себя как чувствуем?

— Отлично!..

— Ах, ночь, ночь...

— Ва - а - а!!!

Господи, что это?!

— Серега, что это?

— А черт его знает...

— Ва - а - а!!!

Крик. Потрясающий крик. И даже не крик, а вой какой - то!

Воют справа по борту. Это точно. Звук сначала печальный, грудной, но заканчивается он таким звериным ревом, что просто мороз по коже. Лично я протрезвел в момент. Серега тоже.

— Может это сирену включили где - нибудь? — спросил я у Сереги шепотом.

— Нет, — говорит мне Серега, и я чувствую, что дрожь его пробирает, — нет. Так воет только живое существо. Я знаю, кто это.

— Кто?..

— Так воет собака Баскервилей, когда идет по следу своей жертвы...

— Иди ты.

В ту ночь мы спали плохо. Вой повторялся еще раз десять, и с каждым разом он становился все ужасней. Шел он от воды, пробирал до костей, и вахтенные в ту ночь теряли сознание.

Утром все выяснилось. Выл доктор у соседей. Он нажрался до чертиков, а потом высунулся в иллюминатор и завыл с тоски.

Я ГОВОРЮ ВСЕМ...

Я говорю всем: прихожу домой, надеваю вечерний костюм — «тройку», рубашка с заколкой, темные сдержанные тона; жена — вечернее платье, умелое сочетание драгоценностей и косметики, ребенок — как игрушка; свечи... где - то там, в конце гостиной, в полутонах, классическая музыка... второй половины... соединение душ, ужин, литература, графика, живопись, архитектура... второй половины... утонченность желаний... и вообще...

Никто не верит!

ВСЕМ ПОДРЯД!

— Командирам боевых частей, начальникам служб прибыть в центральный пост на доклад! — разнеслось по отсекам.

Командир атомохода капитан первого ранга Титлов — маленький, скоренький, метр с небольшим (карманный вариант героя) — нырнул через переборку в третий отсек.

Лодка в доке. Средний ремонт. Ее режут, аж верещит; съемные листы отваливают, оборудование выдирают, и обрубленные кабели торчат, как пучок скальпированных нервов. Всюду сварка, запах гари. Завод чувствуется. Личный состав уже бродит в обнимку с работниками, как стадо.

Всех подтянуть! Всех надо подтянуть! Занять, поставить задачу! Вставить всем подряд без разбора! Чтоб работалось! И без продыха! Никакой раскочки! Люди должны быть заняты! Не разгибаться! Никакого простоя и спанья! Иначе — разложение! И офицеры! Офицеры! Офицеры! Начать прежде всего с офицеров! Сегодня же начать!

Командир Титлов вбежал в центральный.

— Смир - на - а!!!

Даже пневмомашинки замерли. Собранные командиры боевых частей образовали коридор, по которому он промчался до командирского кресла, как бычок, прибывший на корриду, добежал и рухнул в него, крикнув влет:

— Вольно!

В момент падения командирское кресло развалилось, просто трахнулось на палубу, старо было слишком, не выдержало, трахнулось, и командир Титлов вывалился из него, как младенец из куляка, скользнул по засаленной палубе и закатился под раскуроченный пульт... въехал. Голова сработала как защелка. Защелкнула. Никто не успел отреагировать.

— Эй! — крикнул командир Титлов, лежа на палубе растянутый, хоть горло у него и было зажато. — Чего встали?!

Этого было достаточно; все очнулись и пришли в движение — бросились выдергивать его за ноги, отчего рот у командира зарылся сам собой. Командир сопротивлялся, боролся, шипел:

— Порвете, суки, порвете... — лягался и матогался.

Тогда все бросились корчевать пульт, на Титлова два раза на ступили невзначай.

— Раздавите, курвы, раздавите, — рычал командир, — тащите домкрат, бар - раны...

Домкрат нашли после обеда; достали командира, поддомкратив, к вечеру.

Командир лично руководил своим доставанием.

Заняты были все.

Особенно офицеры.

Все подтянулись.

Когда командир встал, он вставил всем подрыд!

Без разбора!

Чтоб работалось!

И без продыха!

Вот так вот!

А — как — же!..

БОРЗОТА

Когда конкретно на флоте началось усиление воинской дисциплины, я уже не помню. Помню только, что почувствовали мы это как - то сразу: больше стало различных преград, колючей проволоки, вахт, патрулей, проверок, комиссий, то есть больше стало трогательной заботы о том, чтоб подводник все время сидел в прочном корпусе или где - нибудь рядом за колючей проволокой.

И с каждым днем маразм крепчал!

А командующие менялись как в бреду, будто их на ощупь из мешка доставали: придешь с автономки — уже новый.

И каждый новый чего - нибудь нам придумывал.

Последний придумал вот что: чтоб в городке никто после девяти утра не шлялся, он обнес техническую зону, где у нас лодочки стоят, еще одним забором и поставил КПП. То есть после девяти утра из лодки без приключений не выйти. А в зоне патруль шляется — всех ловит. И как убогим к автономке готовиться — один Аллах ведает!

Связисту нашему, молодому лейтенанту, понадобилось секретные документики из лодки вынести. Пристегнул он пистолет в область малого таза, взял секреты под мышку и пошел, а на КПП его

застопорили:

— Назад!

— Я с документами.. — попробовал лейтенант.

— Назад!

Лейтенант с ними препирался минут десять, дошел до белого каления и спросил:

— Где у вас старший?

Старший — мичман — сидел на КПП в отдельной комнате и от духоты разлагался.

Лейтенант вошел, и не успел мичман в себя прийти, как лейтенант вложил ему в ухо пистолет и сказал:

— Если твои придурки меня не пропустят, я кого - то здесь шлепну!

Мичман, с пистолетом в ухе, кося глазом, немедленно установил, что обстоятельства у лейтенанта, видимо, вполне уважительные и в порядке исключения можно было бы ему разрешить пронести документы.

Когда лейтенант исчез, с КПП позвонили куда следует.

Командующего на месте не оказалось, и лейтенанта вызвал к себе начальник штаба флотилии.

Лейтенант вошел и представился, после чего начальник штаба успел только открыть свой рот и сказать:

— Лейтенант..

И больше он не успел ничего сказать, ибо в этот момент открыл свой рот лейтенант.

— Я сопровождаю секреты! По какому праву меня останавливают? Для чего мне дают пистолет, если всякая сволочь может меня затормозить! Защищая секреты, я даже могу применять оружие!.. — и далее лейтенант изложил адмиралу порядок применения оружия, благо пистолет был рядом, и свои действия после того, как это оружие применено. А начштаба, оцепенев спиной, очень внимательно следил за пистолетом лейтенанта — брык - тык, брык - тык, — а ртом он делал так: «Мяу - мяу!»

Вы думаете, лейтенанту что - нибудь было? Ничего ему не было.

И не было потому, что адмирал все - таки не успел сообразить, что же он должен в этом случае делать. Он сказал только лейтенанту:

— Идите...

И лейтенант ушел.

А когда лейтенант ушел, адмирал — так, на всякий случай —

позвонил медикам и поинтересовался:

— Лейтенант такой - то у вас нормален?

— Одну секундочку, выясним! — сказали те.

Выяснили и доложили:

— Абсолютно нормален!

Тогда адмирал положил трубку и промямлил:

— Вот борзота, а? Ведь так на флот и прет, так и прет!

А блокаду с зоны, где лодочки наши стоят, скоро сняли. И ко-мандующего заодно с ней.

БЕС

Иду я в субботу в 21 час по офицерскому коридору и вдруг слышу: звуки гармошки понеслись из каюты помощника, и вопли дикие вслед раздались. Подхожу — двери настехь.

Наш помощник — кличка Бес — сидит прямо на столе, кривой в корягу, в растерзанном кителе и без ботинок, в одних носках, на правом — дырища со стакан, сидит и шарит на гармошке, а мимо — матросы шлятся.

— Бес! — говорю я ему. — Драть тебя некому! Ты чего, собака, творишь?

Бесу тридцать восемь лет, он пьянь невозможная и к тому же старший лейтенант. Его воспитывали - воспитывали и заколебались воспитывать. Комбриг в его сторону смотреть спокойно не может: его тошнит.

Бес перестает надрывать инструмент, показывает мне дырищу на носке и говорит:

— Вот это — правда жизни... А драть меня — дральник тупить... Запомните... уволить меня в запас невозможно... Невозможно...

— Ну, Бес, — сказал я улыбаясь, потому что без улыбки на него смотреть никак нельзя, — отольются вам слезы нашей боеготовности, отольются.. учтите, вы доиграетесь.

После этого мы выпили с ним шила¹, помочились в бутылки и выбросили их в иллюминатор.

Наутро я его не достучался: Бес — в штопоре, его теперь трое суток в живых не будет.

ПИ - ИТЬ!

Автономка подползла к завершающему этапу.

На этом этапе раздражает все, даже собственный палец в собственном родном носу: все кажется, не так скоблит, и в этот момент, если на вас плюнуть сверху, вы не будете радостно, серебристо смеяться, нет, не будете...

Врач Сашенька, которого за долгую холостяцкую жизнь звали на экипаже не иначе как «старый козел», залез в умывальник.

Во рту он держал ручку зубной щетки: Сашеньке хотелось по-чистить зубки.

Сашенька был чуть проснувшийся последний волос на его бо-сой голове стоял одиноким пером.

В таком состоянии воин не готов к бою: в глазах — песок, во рту — конюшня, в душе — осадок и «зачем меня мать родила?». Жить воин в такие минуты не хочет. Попроси у него жизнь — и он ее тут же отдаст.

— Оооо - х! — проскрипел Сашенька, сморкнувшись мимо зеркала и уложив перо внутренним займом. — Где моя амбразура...

Хотелось пить. За ужином он перебрал чеснока, перебрал. В автономке у всех бывает чесночный голод. Все нажираются, а потом хотят пить.

«Чеснок — это маленькое испытание для большой любви», — нестати вспомнил Сашенька изречение кают - компании, потом он вытащил изо рта ручку зубной щетки, плюнул в раковину плевательной тканью и открыл кран.

Зашипело, но вода не пошла.

— Ну что за половые игры? — застонал Сашенька и рявкнул — Вахта!

Вахты, как всегда, под руками не оказалось.

— Проклятые трюмные. Вахтааа!!!

Что делает военнослужащий, если вода не идет, а ему хочется пить? Военнослужащий сосет!!! Так, как сосет военнослужащий, никто не сосет.

Сашенька набрал полный рот меди и скользко зачавкал воды получилось немного.

— Ну, суки, — сказал Сашенька с полным ртом меди, имея в виду трюмный дивизион, когда сосать стало нечего, — ну, суки, при-

дете за таблетками. Я вам намажу...

Это подействовало: кран дернулся и, ударив струей в раковину, предательски залил середину штанов.

Черт с ними. Сашенька бросился напиваться. Вскоре, экономя воду и нервы, он закрыл кран и приступил к зубам.

Хорошо, что нельзя наблюдать из раковины, как чистятся флотские зубы. Зрелище неаппетитное: шлепающий рот удлиняется белой пеной, все это висит... В общем, ничего хорошего.

Монотонность движения зубной щетки по зубам убаюкивает, расслабляет и настраивает на лирический лад. Сашенька мурлыкал орангутангом, когда ЦГВ — цистерна грязной воды — решила осушиться. Бывают же такие совпадения: полный гидрозатвор сточных вод, с серыми нитями всякой дряни, вылетел ровно на двадцать сантиметров вверх и, полностью попав в захлопнувшийся за ним рот, полностью вышел через ноздри.

Чеснок оказался ландышами. Сашенька вышел из умывальника, опустив забрало. Первого же, так ничего впоследствии и не понявшего трюмного он замотал за грудки.

— Ну, су-киии, — шипел он гадюкой, — придите за таблетками. Я вам намажу. Я вам сделаю...

И все? Нет, конечно. Центральный все это тут же узнал и зарыдал, валяясь вперемешку.

— Оооо, — рыдал центральный, — полное йеблооооо..

ВИТЮ НАШЕГО...

За борт смыло! Правда, не то чтобы смыло, просто перешвартовались мы ночью, а он наверху стоял, переминался, ждал, когда мы упремся в пирс башкой, чтоб соскочить. А наша «галюша» сначала не спеша так на пирс напозала - напозала, а потом на последних метрах — КАК ДАСТ! — и все сразу же на три точки приседают, а Витенька у нас человек мнительный, думает и говорит он с задержками, с паузами то есть, а тут он еще тужельки надел, поскольку к бабе душистой они собрались, мускусом сильным себя помочив, — в общем, поскольку нулся он и, оставляя на пути свои очертания, по корпусу сполз — и прямо, видимо, в воду между лодкой и пирсом, а

иначе куда он делся?

А ночь непроглядная, минус тридцать, залив парит, то есть лох-мотя серые от воды тянутся к звездам, и где там Витя среди всей этой зимней сказки — не рассмотреть. Все нагнулись, вылупились, не дышат — неужели в лепешку? Все - таки наша «Маша» — 10 тысяч тонн — как прижмет, так и останется от тебя пятно легкосмываемое.

Осторожненько так в воздух:

— Витя! Ви - тя!

От воды глухо:

— А...

Жив, балясина, чтоб тебя! Успел - таки под пирс нырнуть. Все выдохнули: «Чччерт!» А помощник от счастья ближайшему матросу даже в ухо дал. Живой! Мама моя сыромороженная, живой!!!

Бросили Вите шкерт, вцепился он в него зубами, потому что судорога свела и грудь, и члены. Вытянули мы его, а шинель на нем ледяным колом встала и стоит. Старпом в него тут же кружку спирта влил и сухарик в рот воткнул, чтоб зажевал, как потеплеет.

Стоит Витя, в себя приходит, глаза стеклянные, будто он жидкого азота с полведра глотанул, а изо рта у него сухарик торчит.

Старпом видит, что у него столбняк, и говорит ближайшим олухам:

— Тело вниз! Живо! Спирт сверху — спирт снизу!

Вито схватили за плечи, как чучело Тутанхамона, и поволокли, и заволокли внутрь, и там силой согнули, посадили и давай спиртом растирать, и вот он потеплел, потеплел, порозовел, и губы зашевелились.

— Я... я... — видно, сказать что - то хочет, — я...

Все к нему наклонились, стараются угодить.

— Что, Витя... что?

— К бабе... я хо... чу... о... бе... ща... ал...

«Вот это да! — подумали все. — Вот это человек!»

— Андрей Андреич! — подошли к старпому. — Витя к бабе хочет!

— К бабе? — не удивился старпом. — Ну, пустите его к бабе.

И Витя пошел.

Сначала медленно так, медленно, а потом все сильнее и сильнее, все свободнее, и вот он уже рысцой так, рысцой, заломив голову на спину, и побежал - побежал, спотыкаясь, бляя что - то по - лоша -

диному, и на бегу растаял в тумане и в темноте полярной ночи совсем.

КОЛОКОЛЬЧИКИ - БУБЕНЧИКИ

В совместном проживании двух военно - морских семей в одной двухкомнатной квартире есть свои особенные прелести. Тут уже невозможно замкнуться в собственной треснутой скорлупе; волей - неволей происходит взаимное проникновение и обогащение и роскошь человеческого общения, которая всегда, поставленная во главу угла, перестает быть роскошью.

В субботу люди обычно моются. И в подобной квартире они тоже моются. Один из военно - морских мужей влез в ванну, предупредив жену относительно своей спины: жена должна была прийти и ее потереть. Но поскольку жена должна была еще и приготовить обед, то вспомнила она о спине с большим опозданием. В это время в ванне был уже другой, чужой муж, который тоже дожидался, когда же придут и потрут, а ее собственный муж в это время уже лежал на диване весь завернутый и наслаждался комфортом.

Комфорт — это такое состояние вещей и хозяев, когда телевизор работает, ты дремлешь на диване, а на кухне, откуда тянет заманчивым, кто - то погромыхивает кастрюлями.

Дверь ванной открылась сразу же, и перед женой, оторвавшейся от жареной картошки, предстал намыленный розовый зад изготавившегося Мужские принадлежности довольно безжизненно висели.

— Эх вы, колокольчики - бубенчики, — воскликнула повеселевшая жена и, просунув руку, несколько раз подбросила колокольчики и бубенчики.

Первое, что она увидела на мохнатой от мыльной пены повернувшейся к ней голове, был глаз. Огромный, чужой, расширенный от ужаса ненамыленный глаз.

«МАЗАНДАРАНСКИЙ ТИГР»

Командира звали «Мазандаранский тигр». Он принял нашу курсантскую роту как раз в тот день, когда в клубе шел фильм с таким названием.

Угрюмое, дырявое от оспы лицо, серые колбочие глаза. Освети такое лицо снизу в полной темноте фонариком, и с ним можно грабить в подъездах. Когда он начинал говорить, щеки и подбородок у него подергивались, брови залезали наверх, оловянные глаза слотрели поверх голов, а верхняя губа, вздрагивая, обнажала крупные клыки. Мы обкакивались на каждом шагу.

Голос у него был низкий, глубинный, говорил он медленно, чеканно, по слогам, поддывая «Я пят - над - цать лет ка - пи - тан - лей - те - нант!» — любил повторять он, и мы за это его называли «Пятнацатилетним капитаном».

Кроме этой устная газета «Гальюн Таймс» наградила его кличками «Саша — тихий ужас», Кошмар и «Маниакальный синдром»; дневальные, оставаясь с ним один на один в пустом ротном помещении, когда все остальные уходили на занятия, страдали внутренними припадками и задержками речи. Им полагалось встречать командира, командовать «смирно» и в отсутствие дежурного (а те любили смываться) докладывать ему: «Товарищ капитан - лейтенант! Во время моего дежурства происшествий не случилось!»

В это время Тигр, приложив руку к головному убору, обшаривал стоящее перед ним «дежурное тело» злым, кинжальным взглядом.

Попадать ему во время доклада глазами в глаза не рекомендовалось. Могло наступить затмение. Можно было поперхнуться, заткнуться, и надолго.

Поперхнушемуся было совсем плохо. Тягостное молчание друг перед другом с поднятыми к головам руками прерывалось только горловыми взбулькиваниями растарщенного дневального (у него непрерывно шла слюна) и могло продолжаться до обморока.

Дневальные переносили обморок стоя, привалившись к столу. У нас это называлось «отмоканием».

С тоской сердечной я ждал своего первого дневальства и, когда оно наступило, со страхом прислушивался к шорохам на лестни-

це. По лестнице должен был подняться он — Тигр. Вокруг тишина и слуховые галлюцинации, наконец отчетливо стали слышны шаги и покашливание, потом — сморкающиеся звуки. Идет! Дверь распахнулась, и я шагнул как с пятиметровой вышки.

— Смирно! — истошно заорал я, чуть вращая от усердия головой. — Товарищ капитан - лейтенант...

Тигр не слушал рапорта и, слава Богу, не смотрел в глаза.

— Вольна - а... — и тут раздалось: — Возь - ми - те голяк... (думаю: Господи, а что это?) и об - рез... (мама моя, а это что?) и у - бе - ри - те э - т - о го - в - но на а - л - ле - е... (слава Богу, понятно).

Но дневальный не имеет права покидать столик. Мое мешканье не ускользнуло от Тигра. Он начал медленно, с живота поднимать на меня глаза, и пока он поднимал, у меня внутри все становилось на цыпочки и отрывалось, становилось и отрывалось.

Брови у Тигра полезли вверх. Мои брови ему навстречу сделали то же самое. Теперь он смотрел мне в глаза. Не в силах оторвать от него зачарованного взгляда, теплым от ужаса голосом я прошептал

— А..х.. у сто - ли - ка кто будет стоять?

Глаза у Мазандаранца вылезли, и я наполнился воздухом, а он зашипел, приседал головой, лопнуло! прорвалось! загрохотало!

— С - сы - то - лик?! Мо - ли - к?! Едри его мать! Я буду стоять! Я!

Я бросился в дверь, прогрохотал по лестнице и еще долго - долго носился по инерции по аллеям. Без памяти, без голяка и без обреза. Я готов был руками, руками убирать это говно!

Только когда аллеи начали повторяться, я начал соображать. Потом я отправился искать то место, где успели нагадить.

О, ужас! Я его не нашел.

ЗА СУПОМ

Лодка, всплыв, легла в дрейф. В центральном посту в креслах полулежали вахтенные, и наслаждались эти вахтенные свежим и вкусным морским воздухом.

Тем, кто никогда не лежал в креслах в центральном посту, никогда не узнать настоящий вкус свежего морского воздуха.

Лодка вентилировалась в атмосферу, а значит, все лежали и нюхали.

Время было послеобеденное, а в это время, предварительно нанюхавшись, все мечтают только лечь и уснуть впрок.

Был полный штиль, а это самое приятное, что может быть для всплывшей дизельной подводной лодки.

В штиль никто не лежит рядом с раковиной, не стонет в каюте, не обнимает полупорожнюю банку из - под сухарей.

Штиль — это блаженство, если блаженство вообще возможно на военно - морском флоте.

На мостике стояли командир и старпом. Командир и старпом курили. У командира на лице висело президентское презрение ко всему непрезидентскому. Старпом курил с недоделанным видом. То есть я хотел сказать, что он курил с видом недоделанной работы, а вокруг стоял жаркий летний полдень; морскую поверхность то и дело вспарывали стаи летучих рыб, которые стремглав от кого - то удирали, и все было хорошо и спокойно, и тут вдруг...

— Это что за чудище?! — воскликнул командир: из глубины пять полутораметровых акул выгнали громадную черепаху, покрытую водорослями и прилипалами.

Они погнали ее прямо на лодку, на ходу покусывая за лапы.

Командир почувствовал в черепахе черепаховый суп, и это его сильно взволновало. Он толкнул старпома в плечо и закричал:

— Быстро! Там, быстро!

Такую удивительно содержательную команду нельзя было не понять. Старпом бросился и там нашел автомат и связку «противодиверсантских» гранат.

— Давай! Давай быстро! — орал командир.

Старпом размахнулся и «дал быстро» — бросил в воду гранаты.

Акулята на секунду оставили черепаху в покое и кинулись к гранатам. Проглотить они их не успели — раздался взрыв, и, сверкнув брюхами, пять рыбин стали медленно оседать в глубину.

Черепаха скреблась окровавленными лапами о корпус лодки. Я бы сказал, что о корпус лодки скребся черепаховый суп.

— Давай! Давай! Давай! — подпрыгнул командир от нетерпения, обращаясь к старпому, и старпом «дал» еще раз: обвязавшись страховочным концом, он бросился в воду.

На противоположном конце этого конца как по - волшебному возникла швартовная команда. Швартовщики готовы были тянуть в любую секунду:

Старпом подплыл к черепахе и, вцепившись ей в панцирь, при - нялся ногами отрабатывать задний ход. Зрелище было чудесное.

— Тя - ни - те! — крикнул он, повернув покрасневшее от натуги лицо.

Неизвестно, кто услышал команду первым, только старпом, дрыг - нув ногами в последний раз, погрузился в воду вместе с нырнувшей двухсоткилограммовой черепахой. Необычная прилипала ей со - всем не мешала.

Швартовщики дружно потянули. Они готовы были порвать стар - пома пополам, но не уступить.

Казалось, старпома тянули бесконечно долго. Вахтенный офи - цер, засекавший время для истории, потом клялся, что старпом пробыл под водой целых четыре минуты.

Когда швартовщики достали старпома неповранным на борт, в руках он судорожно сжимал обрывки черепаховых водорослей.

Старпом очень сильно таращился и широко разевал рот. Его спросили:

— Ну как там?

На это он только слабо махнул рукой.

Жаль, жаль, что супа не получилось, но зато хоть старпома до - стали, а это по нынешним временам уже немало.

КОМБАТ И ДИМА

Лейтенант Каблуков Дима был редкая сволочь в сочетании с политработником.

Его только что назначили в роту отдельного батальона вои - нов - строителей замполитом, но майор - комбат его ни в грош не ставил и в упор не видел.

Вот и в этот понедельник он отменил Димины политзанятия и погнал личный состав на хозработы, нелестно выразившись насчет Димы лично, и всяких там попов обалдевших, и их отупевшей от безделья поповщины.

— Надо работать, а не языками чесать! — орал майор. — За-долбали в смерть! Ля-ля-ля, ля-ля-ля! Чего вылупился, прыщ на теле государства, ты думаешь, мы на твоей болтовне в светлое будущее попадем? Прислали тут на мою голову, выучили...

Дима не стал дальше слушать, кто там и на чью голову выучился, и тут же, при нем и при дежурном по части, покрутил ручку телефона и попросил соединить его с начпо.

Обычно это трудно сделать: дозвониться во Владивосток, там пять с половиной часов езды по нашей железной дороге, но тут соединили на удивление быстро, и Дима сказал в трубку буквально следующее:

— Товарищ адмирал! Здравия желаю! Докладывает лейтенант Каблук, замполит роты. Товарищ адмирал, тут у меня комбат совсем чокнулся. Отменил политзанятия и погнал людей на работы. Нехорошо отзывался о политработниках, товарищ адмирал. Но партия и политотдел для того и существуют, чтоб таких вот чапаевых ставить в строй. Вы нам сами об этом говорили, товарищ адмирал. Комбата к вам? На беседу? Завтра в пятнадцать часов! Есть, товарищ адмирал! Разрешите положить трубку!

Дима с видимым удовольствием положил трубку, повернулся к комбату и вежливо сказал:

— Свистуйте в политотдел, товарищ майор. Начпо вас вызывает завтра к пятнадцати часам.

После этого он ушел проводить политзанятия.

Дежурный по части окобурел. Майор-комбат — тоже. Такого подлеза от этого щенка он не ожидал.

Майор напрягся, пытаясь извлечь из себя что-либо приличное моменту, зверски расковырял себе ум, но ничего не придумал — так силен был удар, — он сказал только:

— Ах ты, погань! — и пошел готовить себя к начпо.

Весь день у комбата все валилось из рук. Ночью он не сомкнул глаз. В шесть утра комбат сел в утренний поезд. Пять с половиной часов езды до города Владивостока он посвятил напряженным думам: как вывернуться, что врать? О лютости и человеконенавистничестве начпо он был наслышан и хорошо знал, что чем ничтожнее повод, тем тяжелее могут быть последствия.

Выйдя из поезда, комбат окончательно пал духом. Не помня как, он добрался до штаба и три часа болтался под окнами.

В пятнадцать часов он прошел в приемную начпо. Выждав длинную очередь различных просителей, он зашел в кабинет и представился

— Товарищ контр - адмирал, майор такой - то по вашему приказанию прибыл.

Начпо оторвал от бумаг злые глаза и взглянул на комбата своим знаменитым пронизывающим взглядом, под которым человек сразу же вспоминает все свои грязные делишки, вплоть до первого класса средней школы, и холодно промолвил:

— А я вас и не вызывал, товарищ майор.

Пятясь задом, комбат исчез из кабинета и несколько минут в приемной думал только одну думу: как все это понимать?

Скоро до него дошло.

— У, сукин кот! Убью, гадом буду, убью!.. — и далее комбат, обратясь к египетской мифологии, снабдил Диму такими родственниками, что и в кошмарном сне не привидятся.

Всю обратную дорогу комбат посвятил идиотизму сложившейся ситуации.

Он собрал весь свой лоб в горсть и принялся думать: как при всем идиотизме сохранить себе лицо.

Через пять с половиной часов он вышел из вагона с болью. От сильных раздумий он вывихнул себе разум. Он ничего не придумал. И не сохранил себе лицо: вся часть ржала неделю, стоя на ушах.

ГРОБЫ

Молодой лейтенант - медик прибыл к нам на железо, когда мы в заводе стояли. Как раз шла приемка корабля от заводчан: вертелось, крутилось, в спешке, в пылуке; все носились как угорелые: каждый принимал свое. Медик тоже должен что - то принимать. Ничему не научив, его сразу включили в работу.

— Лий - ти - нант!!! — заорал старпом, когда впервые его увидел — Я ждал тебя, как маму! Так, давай включайся. Там у тебя еще конь не валялся. Черт ногу сломит. Ни хрена не понятно с твоей медициной. Давай принимай, разберись.

И лейтенант включился в работу. Для того чтобы принять ко -

рабль или хотя бы боевую часть, нужно знать ведомость поставки, соображать в чертежах, в размещении, в таблице, в снабжении, в аттестате и еще черт - те в чем. И медику тоже нужно соображать.

Лейтенант ходил с потерянным видом двое суток: все включался. Вокруг него бегали, ставили, волокли, протягивали, поднимали, спускали, а он только существовал, причем в другом временном измерении.

Однажды он забрел на пульт главной энергетической установки в поисках отсечной аптечки.

— Слышь, доктор, — взяли его в оборот пультовые зубры, старые капитаны - обормоты, — а ты гробы принял? Нашел их уже?

— Какие гробы? — не понял лейтенант.

— Так у нас же гробы есть, — сказали ему, — ты что, их никогда не видел?

— Нет.

— Ну, ты даешь. Пора бы знать.

— Да откуда он знает?! Это же по двадцать четвертой ведомости, где все железки: ведра там разные и остальная мелочевка; в разделе обитаемости, по - моему. Короче, доктор, нам положено на борт два разборных гроба. Для командира и замполита. Остальных так кладут, а этих — сам понимаешь. В девятом отсеке, в районе дейдвудного сальника, шхера есть, бойцы ее одиннадцатым отсеком называют. Я их там сутки назад на дежурстве видел.

Лейтенант явился в десятый отсек. На него любо - дорого было посмотреть: это был уже не тот потерянный лейтенант, который ни черта не знал: быстрый, решительный, с деловым видом, он спросил у вахтенного:

— Где тут шхера в районе дейдвудного сальника, одиннадцатый отсек, короче, откусить ему кочерьяжку?!

Вахтенный подвел его и показал: вот.

Лейтенант полез в шхеру. За полчаса он облазил ее всю: исползался, измазался — гробов не было.

— Товарищ лейтенант, — спросил его вахтенный, — а чего вы там ищите, может, я знаю?

— Да нет, ты не знаешь, — страдал лейтенант, — здесь гробы должны быть. Две штуки. Не видел?

На лицо вахтенного в тот момент стоило посмотреть: он вытирашил и во все глаза смотрел на лейтенанта, как ненормальный.

— Гробы???

— Да, гробы, разборные такие гробики, не знаешь? Две штуки. Работяги, наверное, свистнули. Они ж из нержавеющей стали, вещь, короче, и собираются в две секунды: на замках.

Своим уверенным видом лейтенант доконал матроса, тот подумал: «А кто его знает, на замках...»

Еще полчаса они шарили вместе; проползли все: гробов не было.

На докладе командир спросил лейтенанта:

— Ну что, доктор, вырастаешь? Как идет приемка?

Лейтенант вскочил, покраснел и, от волнения спотыкаясь, зачистил

— Принято на шестьдесят процентов. Пока не хватает только гробов.

— Не понял, доктор, чего тебе не хватает? — спросил командир.

— Гробов, товарищ командир. Они по двадцать четвертой вердомости, разборные такие, они в десятом отсеке позавчера в шхере лежали, в районе дейдвудного сальника.

— Что за черт, — оторопел командир, — чьи гробы?

— Ваши, товарищ командир, с замполитом. Остальных так кладут, а вас с замполитом — сами понимаете. В районе дейдвудного сальника.

— Понимаю, — сказал командир, — ты сядь, лейтенант.

Командир повернулся к механику:

— Все ясно. Это твои пультовики, больше никому. Ну, дивные козыри, я им жопу развальцую!..

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

Лейтенант Саня Котин жил спокойно до тех пор, пока его квартирной хозяйке, глубокой старушке, не захотелось зарезать свою корову.

Почему - то наше гражданское население уверено, что лейтенант русского флота может зарезать кого угодно. Даже корову.

Старушка обложила Саню по всем правилам классического

измора: она не давала ему ни спать, ни жрать, ходила за ним по пятам, ворковала в спину, и деться Сане было некуда, путь у него был один — к корове.

— Ми - ла - й, — шептала она ему страстно, — а я тебе и печеночку зажарю, и котлетки сделаю, а ты уж уважь, завали родимую.

Лейтенант Саня не испытывал ни малейшего желания «завалить родимую», да и не мог испытывать. Он даже муху на стекле не способен был завалить, не то что корову. Однако однажды на очередное старушечьё обхаживание он как - то неожиданно для себя кивнул и сказал:

— Ладно, завалим.

На корабле Саня места себе не находил до тех пор, пока не поделился кровожадными старушкиными наклонностями со своим лучшим другом минером Петей.

— А бутылку она поставит? — спросил быстро Петя.

— Поставит, — ответил Саня.

Стоит заметить, что минер Петя за бутылку мог брата родного завалить.

— Вместе ее сделаем, — заявил в возбуждении Петя и тут же для тренировки схватил кортик и принялся тыкать им в дверь, разжигая в себе убойные страсти.

— Слушай, — остановился он вдруг, — а где у коровы сердце? Справа по курсу или слева?

— Слева... наверное...

— Так, значит, слева, — задумчиво вычислял что - то Петя, отводя руку и нацеливаясь.

— Ну да, — сказал он, соображая — конечно же, слева. Если поставить ее на задние лапы.. это будет слева.. м - да.. А рога у нее есть?

— Есть

— А вот это нехорошо, — сказал Петя и заметно охладел к кортику, — так дело не пойдет. Надо что - то другое придумать.

— Ладно, — сказал он после непродолжительного молчания, — мы ее по - другому кокнем, собирайся пошли печенку жрать. Жду у трапа через пять минут.

Дома у старушки Петя хански предложил ей сперва выставить бутылку, мотивируя свое желание поскорее с ней встретиться тем, что перед убийством всегда нужно слегка тянуть.

Старушка на радостях выставила не одну бутылку, а целых две.

Друзья слегка тянули, посидели и совсем уже было отправились спать, когда бдительная старушка напомнила им, что хорошо бы приступить к корове.

— Ах, да, — сказал Петя, полностью сохранивший совесть и память, — сейчас мы ее... это... кокнем... Где - то у нас тут было... секретное оружие?... — с этими словами Петя покопавшись в портфеле, выудил оттуда ПТТ - 3.

ПТТ - 3 — это патрон, содержащий два с половиной кило - грамма морской взрывной смеси. Им у нас плавучие мины подрывают.

Друзья захватили патрон и отправились в сарай. К корове. Сначала они пытались вставить ей патрон... гм... в район хвоста, чтоб взрывной волной (глубокое Петино убеждение) ее развалило на две равные половины.

Вставить не удалось не только потому, что корова возражала, но и потому, что отверстие было расположено слишком неудобно, даже для такого энтузиаста своего дела, как Петя.

Против того, чтобы привязать патрон к коровьему хвосту, неожиданно энергично принялся возражать Саня, у которого к двум часам ночи открылось второе дыхание.

Пристроили патрон на рогах. Петя уверял, что и таким макаром идея развала буренки на две равные семядоли реализуется полностью.

Вскоре сарай заполнился шипеньем бикфордова шнура на фоне меланхолических вздохов благородного животного.

Друзья покинули сарай тогда, когда убедились, что все идет хорошо.

Взрыв потряс галактику. С дома старушки, как по волшебству, снесло крышу; от сарая осталась одна только дверь, а от коровы — четыре копыта.

Мясо же ее, раставшись на мелкие молекулы, засеяло целый гектар.

ГЕНА - ЯНЫЧАР

Гена - янычар...

Он был командиром атомной лодки — атомохода.

Небольшого роста, толстенький, он все время прихрамывал. До конца жизни его мучил тромбофлебит. И еще у него была ишеми -

ческая болезнь сердца. Он задышался при недостатке кислорода.

— Химик, — говорил он мне, — у тебя не двадцать процентов во втором, а девятнадцать, врет твой газоанализатор.

Я проверял, и — точно: газоанализатор врал.

Это был артист своего дела. Маг и волшебник.

Сейчас все еще существует категория командиров, которые только в автономках видят смысл своей жизни.

Когда он заступал на вахту, дежурным по дивизии, на разводе начинался цирк. Он инструктировал развод ровно столько, чтоб успеть изречь:

— Я прошел сложный путь от сперматозоида до капитана первого ранга и посему буду краток. Помните: чуть чего — за пицунду и на кукан!

Замов он терпеть не мог. И делал он это в лоб, открыто.

Как - то наш зам вошел в центральный и сказал.

— Вы знаете, товарищ командир, сейчас самый большой конкурс в политическое училище, по семнадцать человек на одно место.

— Конечно! — заерзал в кресле Янычар. — Каждый хочет иметь свой кусок хлеба с маслом и ни хрена не делать.

После этого в центральном наступила вакуумная пауза, когда каждый молча и тихо занимался своим делом.

Гена - янычар..

Он чувствовал корабль каждой своей клеткой. Он даже угадывал начало аварийной тревоги — перед каждым возгоранием в электросети являлся в центральный пост. Это была мистика какая - то.

А плавал он лихо. Он менял по своему капризу проливы, глубины и скорости перехода, и мы — то крались вдоль береговой черты, то — неслись напролом, на всех парах, в полосе шторма и под водой нас мотало так, как мотает только морской тральщик.

Он мог форсировать противолодочный рубеж на полном ходу, ночью, чуть ли не в надводном положении, и ему все сходило.

Он рисковал, плавал на глазок, по наитию, на ощупь, в нарушение всего. В его решениях порой не было ни логики, ни смысла. Но он всегда выигрывал, и мы всегда приходили из автономки необнаруженными, а для лодки это даже важней, чем удачная стрельба.

После похода, на разборе, за такие тактические фокусы ему тут же ставили два шара — и он обижался.

— Да идите вы... — говорил он своим однокашникам, которые

давно стали орденосными адмиралами.

После такого «разбора полетов» он всегда приходил на корабль, устало спускался вниз, предупреждал дежурного:

— Меня ни для кого нет, будить только в случае ядерного нападения, — запирался в каюте и в одиночку напивался.

Его извлекали из недр каюты, привлекали к какой-то ответственности, наказывали или только журили, прощали в конце концов и отправляли в море.

И море все списывало...

Он здорово ходил в море, Гена - янычар...

«МАРШАЛ ЧОЙБАЛСАН»

Крейсер лежал на рейде, как большое серое привязанное животное. День догорал. На крейсере сдавалась вахта. Старый лейтенант сдавал молодому лейтенанту. Впереди было воскресенье, и капитан улыбался. Его ждали любовь и жаркое.

— Ну, салага, — сказал он лейтенанту, направляясь к последнему на сегодня катеру, — смотри, не позорь меня, служи, как пудель. Тебе служить еще, как медному котелку. Ох, — капитан закатил глаза и вздохнул, — если бы все сначала и я опять лейтенант, повесился бы.

— Да, совсем забыл, — вспомнил он уже на трапе, — завтра не забудь организовать встречу «маршала Чойбалсана».

«Маршалом Чойбалсаном» на Тихоокеанском флоте называли баранину из Монголии. Ее подвозила портовая шаланда. Молодой лейтенант о таком названии баранины не знал.

— Не беспокойтесь, — кричал он капитану на отходящий катер, — все будет нормально.

После того как катер отошел, лейтенант прозрел.

— Чего ж я стою? Скоро ж драть начнут. Надо начальство завязать на это дело, маршал прибывает.

К счастью, лейтенант был начисто лишен изнеженности и впечатлительности. Это был крепкий троечник, только что из училища и сразу же сдавший на самостоятельное управление. Его не жрал с хвоста комплекс неполноценности. Наоборот, в компенсацию за такие условные потери, как изнеженность и впечатлительность, он был

с избытком награжден решительностью. Такие нужны на флоте: суровые и решительные, творцы нового тактического опыта, влюбленные в железо и море.

Именно решительность избавила лейтенанта от разбрасывания фекалий пропеллерными движениями копчика в первый же момент поступления такой лихой вводной о маршале Чойбалсане. Вводную нужно было отдать, и лейтенант отправился к старпому.

— Разрешите? — втиснулся он в дверь.

— Да, — старпом был, как ни странно, трезв. — Ну? — воззрился он на мнущегося лейтенанта.

Услышав о завтрашнем посещении корабля маршалом Чойбалсаном, старпом на мгновение почувствовал во рту запах горького миндаля.

— Лейтенант, — скривился он, — ты когда говоришь что-нибудь, ты думай, о чем ты только что сказал. У меня такое чувство... что ты когда-нибудь укараулишь меня со спущенными штанами в районе унитаза и объявишь, вот с такой же счастливой рожей, войну Японии. Я укакаюсь когда-нибудь от ваших вводных, товарищ лейтенант.

— Товарищ капитан второго ранга, — заспешил лейтенант, — я здесь ни при чем, по вахте передали, с берега передали, — при сочинил он.

— Кто передал?

— По вахте...

— Кто с берега передал?

Притертый к стенке лейтенант мечтал уйти невредимым.

— Командир... видимо... — выдавил он.

— Хе, — видимо, — хмыкнул старпом.

«Вот командир, — подумал он, — салага, сынок с мохнатой лапой, вот так всегда: исподтишка позвонит, и на крыло. Все я, все везде я. А награды? Одних выговоров семь штук. Так, ладно».

Старпом сидел в старпомах уже семь лет и был по крайней мере на пять лет старше командира.

«Чойбалсан же умер», — подумал старпом.

«Черт их знает в этой Монголии, — подумал он еще, — сколько у них там этих Чойбалсанов».

— Так, ладно, — принял он волевое решение, — большая приборка по подготовке к встрече. Завтра на подъеме флага форма два. Офицеры в белых манишках и с кортиками. Всех наших «ал-

банцев» сейчас расставить, понял? Кровь из носа! Я сейчас буду. Красить, красить, красить, понял? Если что найду, размножалки оборву.

Дежурный исчез, а старпом отправился обрадовать зама. Он представил себе физиономию зама и улыбнулся. Старпом любил нагадить заму прямо на праздничное настроение.

«Сейчас он у меня лозунг родит», — радовался старпом. Собственные мучения представлялись ему теперь мелочью по сравнению с муками зама. Старпом толкнул дверь, зам сидел спиной к двери и писал.

«Бумагу пачкает, речью исходит, — с удовольствием отметил старпом, — сейчас он у меня напряжется».

— Сергеич, — начал он прямо в острый замовский затылок, — дышите глубже, вы взволнованы. Сейчас я тебя обрадую. Только что с берега передали. К нам завтра на борт прибывает маршал Чой-балсан со своей сворой. Так что пишите лозунги о дружбе между нашими флотами. Кстати, твои «козлы» умеют играть монгольский гимн?

«Козлами» старпом называл корабельный духовой оркестр.

С лица зама немедленно сползло вдохновение, уступив место обычному выражению. Он вскочил, заметался, засуетился и опрокинул стул. Старпом физически ощущал, как на его незаживающие раны каплет бальзам.

— Я в политотдел, — попал наконец в дверь зам. — Михалыч, — кричал он уже на бегу, — собери этих «козлов», пусть гимн вспоминают.

Зам прыгнул в катер и уплыл, помогая руками.

Через несколько минут взьерошенный оркестр на юте уже пытался сыграть монгольский гимн на память. Выходило плохо, что-то среднее между вальсом «Амурские волны» и «На сопках Маньчжурии». На корабле тем временем поднялась кутерьма. Мыли, драили, прятали грязь и сверху красили, красили, красили. Старпом был везде. Он ходил, нагибался, нюхал воздух, обещал всем все обрвать, выгребал мусор крючком из труднодоступных мест и тыкал носом.

Зам вернулся с лозунгами и гимном. Всю ночь оркестр разучивал его. Утром корабль сиял. За одну ночь сделали то, что не могли сделать за месяц.

На подъем флага построились в белых форменках. Офицеры

— в кортиках. Вошедший на палубу командир не узнал свою палубу.

— Товарищ командир, — доложил старпом, маскируя торжество равнодушием, — корабль к встрече маршала Чойбалсана готов.

Старпом застыл с таким видом, будто он через день встречает какого-нибудь Чойбалсана. Командир, с поднятой кверху рукой, секунд десять изучал довольное лицо старпома.

— Старпом, какой к такой-то матери Чойбалсан? Вы что, совсем уже, что ли? Распустить всех, и по распорядку дня.

В эту минуту на корабль прибыли два представителя из политуправления для оказания помощи по встрече маршала Чойбалсана. У командира вмиг отпали все сомнения. Он бросился в катер и умчался к командующему.

— Товарищ командующий, — ворвался он к начальству, — ну что я всегда последним узнаю? Сейчас ко мне прибывает Чойбалсан со своей сворой, а я вообще как белый лист бумаги. Эти... из политуправления уже прискакали... Что же это такое, товарищ командующий?

— Не волнуйся, сейчас разберемся.. Какой Чойбалсан? — подскочил в кресле командующий.

Через пять минут белый катер командующего, задрав нос, уже мчался на всех парах к крейсеру. По дороге он обогнал шлепающую пьяным галсом в том же направлении портовую шаланду.

Старпом увидел подлетающий катер и оглянулся вокруг с плакатным лицом. Вот едут, наступил его час.

«Все время я — застонал он про себя, — вот где этот недоносок? Кто сейчас этого члена монгольского встречать будет? Опять я!»

— Играй, — махнул он «козлам», и «козлы» задудели.

Вместо «захождения» они сыграли подходящему катеру командующего гимн Монголии.

— Что это? — спросил командующий у командира крейсера.

— А.. Чойбалсан уже на борту... видимо, — обреченно ответил тот.

Винтом по трапу, и командующий на палубе.

— Где Чойбалсан?

Шагнувший к нему дрожащий от нетерпения старпом едва сдержался, чтобы не сказать что-нибудь монгольское.

Недоумение еще висело над палубой, когда из-за борта по-слышалось тоном, равняющим испанского гранда с портовой суккой:

— Эй, на крейсере, принимай «Чойбалсана».

И на помытое тело крейсера полетели куски потной баранины. Шаланда встала под разгрузку.

ЧУДОВИЩЕ

В мичмане Саахове было шестьдесят килограмм живого веса при росте от пола один метр тридцать четыре сантиметра.

Были люди в экипаже, которые мечтали его или убить, или сдать живьем в кунсткамеру Петра Первого.

Своими малюсенькими руками он мог совершить на лодке любую доступную человечеству аварию. К работе он допускался только под наблюдением. Без наблюдения что-нибудь происходило.

С начала межлоходового ремонта он брал в руки гнутую трубу и ходил с нею везде и всюду до конца ремонта.

Так он был безопасен.

— Где сейчас чудовище?

— В первом. Там редуктор ВВД травит.

— Он что, там один, что ли?

— Да..

— С ума все походили. Он же сейчас убьется или пол-лодки разнесет.

— Да что он, совсем дурной?..

Чудовище отловили в тот момент, когда оно, прикусив язык с вождением откручивало предохранительный клапан редуктора высокого давления — редуктора ВВД осторожное, как на минном поле, миллиметр за миллиметром оно крутило, останавливалось, прислушивалось ухом и опять крутило, внимательно наблюдая за всем этим своими малюсенькими, остренькими человеческими глазенками.

С той стороны его караулило четыреста килограмм.

— ПАРАЗИТИНА!!!

Так никто из людей еще не орал. Старшина команды дал ему грандиозную затрещину и тут же влет, как по футбольному мячу, стукнул ногой по задку.

Любому другому затрещина такой величины оторвала бы голву, а удар по задку оторвал бы зад.

— Убить меня хочешь?! — орал старшина. — Зарезать?! В тюрьму посадить?! Мозги захотел на переборку?! Ну, ладно тебя, дурака, убьет, черт с ним, но я - то за что страдаю?!

Через минуту старшина уже сделал редуктор и успокоился.

— Слушай, Серега, — сказал он, — лучше б тебя убило. Я вот так подумал, честное слово, ну сдал бы я эту несчастную десятку на погребение и успокоился навсегда. Сидел бы дома и знал, что все на свете хорошо: лодка не утонула, ты в гробу.

Серега в этот момент сокрушался. В этом он был большой мастер, большой специалист. Вешал голову и сокрушался. Лучше него никто не сокрушался.

Но иногда... иногда в нем, как болезнь, просыпалась первобытная жажда труда, и тогда он удирал от всех, он исчезал из поля зрения и приходил в свой отсеk. Он ходил по пустому отсеку хозяином, человеком, властелином металла; он ходил по отсеку и подходил к работе; он подходил к работе, как скрипач к скрипке перед извлечением из нее божественных звуков; он брался за работу, делал ее и... взрывался.

Однажды взорвался компрессор: блок осушки веером разнесло в мелочь; на палубе выгородки на каждом квадратном сантиметре лежал маленький рваный осколок.

Блок осушки рванул у Сереги в руках, но на нем не было ни единой царапины: Серега был целенький, как в свой первый день.

Лодку встряхнуло. Из центрального и из других отсеков в первый бежали все кто мог.

— Где чудовище? — спрашивали на бегу.

— В первом! — отвечали и молотили сильнее.

Навстречу им через переборку, как слоненок из слона, вылезал Серега. Он встал наконец и затрясся курдючным задом.

Когда Серега отошел от потрясения, он рассказал, как это все произошло в его ловких ручонках. При этом он пользовался только тремя словами — «я», «оно» и «вот».

— Я — вот, — говорил он, и глаза его вылезали из орбит от пережитого, — а оно — вот! Я — вот! А оно — вот!!!

В конце концов его продали на берег.

Ходили продавать всем экипажем. Сначала предлагали всем

подряд за бутылку спирта, но из-за такой маленькой посуды его никто не брал. В конце концов сговорились за ведро. А потом еще добавили.

Чудовище, покорно сменив хозяев, вздохнуло и, обмякшее, ос-талось на берегу.

А все остальные вздохнули и ушли в автономку.

ПОРΟΣЯТА

Свинья Машка с образцового подсобного хозяйства, предна-значенная в конце концов для улучшения стола личного состава, бе-лесо взирала на вылезших из «газика» людей.

Через всю спину у Машки шла надпись: «Северный флот». Над-пись была нанесена несмываемой зеленой краской. Надпись оста-лась после очередного переназначения Машки: в свое время Машку пометили, она должна была добавить в дыхание прибывшей ко-миссии Северного флота запах перевариваемых отбивных и по-мочь ей, комиссии, правильно оценить сложившуюся кругом ситуа-цию.

Но в случившемся ажиотаже, среди мата и судорожных приго-товлений, тогда все перепутали, отловили другую свинью, и Машка отпраздновала свое совершеннолетие, а когда пришло время до-ложить: ««Северный флот» опоросился», — присутствующим не нуж-но было объяснять, где искать эти сладкие попочки.

Солнце весело играло на вершине навозного холма. Машка втянула воздух и хрюкнула навстречу очередной комиссии. Этот волшебный звук в переводе со свинячьего означал «становись», и рядом с Машкой мгновенно обозначились двенадцать нетерпели-вых пороссячих хвостиков.

В один момент Машка оказалась на земле, и пороссята, завизжав и на ходу перестроившись в две шеренги, бросились к ее соскам.

После небольшой трехсекундной давки, которую можно было бы сравнить только с вбрасыванием в общественный транспорт, обе шеренги упрямо трудились.

Перед начпо и комбригом, прибывшими обозреть образцовое подсобное хозяйство, открылась широкая мирная сосательная картина.

Комбриг улыбнулся. Начпо улыбнулся вслед за комбригом. Улыбка начальства передалась по эстафете и украсила полусогнутый личный состав подсобного хозяйства.

— Хороши! — сказал комбриг и ткнул пальцем. — Этого.

— Да, — сказал начпо и тоже ткнул. — И этого.

Светлее майского дня сделалось лицо заведующего, когда он оторвал и поднес начальству двух визжащих поросят для утверждения принятого начальством решения.

— Самые быстрые, — неумно расцветая, резвился заведующий.

— Пометить! — сказал он матросу и передал ему двух поросят после утверждения принятого решения, и кисть художника замахла вслед убывающему начальству. На одной розовой спинке появилась надпись «Комбриг», на другой — «Начпо».

Со стороны казалось, что помеченные принялись сосать Машку — «Северный флот» — гораздо исправнее.

Когда через несколько дней на свинарнике появилась очередная комиссия, на этот раз народного контроля, двенадцатисосковая Машка вновь усталилась на посетителей. Потом она понюхала воздух, хрюкнула и рухнула как подкошенная. Со всех сторон к ней бросились исполнительные поросята. Раньше всех успели «Комбриг» и «Начпо».

На глазах у изумленной комиссии поросята «Комбриг» и «Начпо», а за ними и все остальные мощно и взахлеб сосали Машку — «Северный флот».

ХОРОШО

Хорошо, все - таки! Ох, как хорошо!

Здесь асфальт, фонари, светофоры, люди ходят.

А у нас там пурга — перед лицом пелена, ни черта не видно.

Идешь по дороге на ощупь, прикрывая ладонью лицо. И так километрами. В сторону ступил — провалился по колено. Приходишь в поселок в четыре утра, а до ПКЗ еще сорок минут идти, а

подъем в семь.

Или россомаха. Она из семейства куньих. Бежит по дороге, как собака на трех ногах — с подскоком. Подбегает ближе, и ты видишь, что это не собака. У нее медвежьи лапы.

Она идет за тобой соблюдая дистанцию.

А ты не выдерживаешь, поворачиваешь и пошел на нее все быстрее и быстрее.

Она отбегает в сторону, останавливается и какое - то время вы стоите друг напротив друга — человек и зверь. Ты смотришь на нее в упор, она отводит взгляд в сторону. Ты пошел, она, словно нехотя — следом. Так повторяется несколько раз.

Потом, как - то незаметно, она пропадает.

А у вас хорошо.

Я тут каждый день улыбаюсь.

ФОНТАННАЯ ЧАСТЬ

ФОНТАННАЯ ЧАСТЬ ПОЭМА

Ах, если б вам не лететь за дикими гусями, а сразу сбиться с пути — так, чуть - чуть в сторону, в сторону, — то тогда, промчавшись над Мурманском, а потом еще над несколькими столь же благими местами, вы в конце концов приземлитесь на одной из крыш нашего военного городка — сухопутного пристанища земноводных душ — и сейчас же с этой крыши, полководца среди крыш, все осмотрите кругом.

Ах, какую радость для любителей плоскостопного пейзажа принесет повесть о том, что для того, чтобы поместить среди величавых и плешивых от времени сопок сотню - другую этих многоглазых многомерзких бетонных нашлепок — страшилищ домов, — понадобится засыпать пыльным щебнем торфяные озера, вода в которых столь же тиха и глубока, сколь и нетороплива, будто бы самим существованием окружающих говорливых ручейков и скромнейших болот она убеждена в том, что вечна, как вечен сам воздух, изнемогающий от собственной свежести и от гула целой кучи комаров — этого вольного цеха бурильщиков человеческой кожи.

Сверху сразу видно все. Вот и серая дорога, по ней как -нибудь с завыванием привезут всякую дребедень — то ли песок, то ли дополнительный щебень — и, просыпав везде, свалят где -нибудь. Но сейчас дорога еще не разбужена, лежит, словно в обмороке, и кажется: только тронь ее — и она тотчас же убежит еще дальше за сопки и, возможно, там уже заденет за небеса, такие низкие порой, порой такие голубые.

На этом лирическая часть нашего повествования заканчивается: хватит, пожалуй, а то еще подумают обо мне не Бог весть что, — и начинается

прозаическая ее часть.

А я знаю, где вы находитесь. Вы на крыше 48 - го дома: он стоит на пригорке нашего поселка, и с него начинается здесь цивилизация, если идти со службы, и им же она заканчивается; если двигаться назад: стекла выбиты, двери вынуты, кое - где на этажах кое - кто еще живет, а в подвале течет, а при входе в парадное — электрический щит, весь растерзанный в середине, — ослепительная дуга и днем, и ночью, потому что как же, холодно, батареи - то не работают, вот и обогреваются электронагревателями, вот щиты и не выдерживают, и вот кто - то нашел рельс и его там пришмандорил, и теперь автомат не вышибает от перегрузок — его просто нет, этого автомата, а есть дуга в 48 - м доме, где обитают, как уже говорилось, подвонники, или их семьи, или то, что осталось от их семей, или бомжи, или калики перехожие.

Вызовут, бывало, из комендатуры патруль в тот дом усмирять мужа, пылавшегося кортиком к новогоднему столу заколоть жену, — иходишь в подъезд с опаской: все - то мнится тебе, что сейчас по башке трубой треснут или крыса, находящаяся в интересном положении, на ногах, завизжав, разродится.

Сколько мыслей
при этом появляется.
И все о ней, о жизни.

«Сюда я больше не ездец!» — как, я думаю, воскликнули бы классики, или «не ездун», как сказали бы мои друзья.

А жаль, черт побери! Походил бы по разным дорожкам — они так и кружат по волнам моей памяти — вокруг госпиталя, магазина, домов, а вот и площадь с лозунгами, плакатами и всякой ерундой, и Доф с библиотекой, буфетом, вечерним университетом марксизма - ленинизма, зимним садом и прочей невероятной глупостью.

А в центре — озеро с искусственными деревянными лебедями и такими же сказочными богатырями, выходящими из воды, по которым пьяные жители столько раз из ружей палили по ночам, а вокруг него дорожка, чтобы в трезвом виде люди там гуляли или бегали бегом.

Про начпо

Наш начпо каждое утро выбегал и галопировал вокруг этого озера с высоким подниманием бедра под музыку Брамса, конечно, звучавшую в моем сердце тогда, когда я всю эту патефонию из окошка наблюдал, или нет — лучше под музыку Грига — та - та - татарам! — названия, конечно, не помню, дивная музыка, или все - таки под музыку Дунаевского, ну конечно. Дунаевского, из фильма «Дети капитана Гранта» — там - там - тарарам - тарарарам - тарарарарара - рам! (хорошо!); в общем, он бегал, а потом приезжал на камбуз в полном одиночестве, потому что к тому времени все уже на лодке вовсю заняты проворотом оружия и технических средств, скирал на столах все буквально, и еще ему заворачивали с собой в газету кусок колбасы, очень напоминающий сушеный фаллос осли: так называемый «второй завтрак»; он говорил всегда дежурному: «Заверните мне второй завтрак», — и ему заворачивали и вручали — фаллос осли, и он его поедал. И это ежедневное поглощение сухого — все эти упражнения с ним — сообщало его взору задумчивость и, я бы даже сказал, судьбоносность, потому что во взоре у него ощущался кол хрустальный, который его, видимо, беспокоил, отчего, должен вам доложить, воздух в помещении выглядел ужасающе спертым.

После этого можно было читать только постановления ЦК, и ничего кроме этих постановлений, разве что еще «решения» или всякие там «обращения», в которых никто не петрил, но взор имели.

Или можно было забавляться сверкающей, как полуденная змея на солнце, военной мыслью. «Читайте «Военную мысль», — говорил он. — Это лучше, чем Проспер Мериме». (И я думал: «Бедный Проспер, не дотянул до «Военной мысли»».) После чего он, несчастный, вдохновлялся, вставал, если перед тем он проводил свою жизнь сидя, и смотрел так, будто перед ним были не мы, а толпы жаждущих политического слова, и у него ноздри развевались, то есть раздувались, я хотел сказать, и внутри них — ноздрей, разумеется, — если заглянуть туда поглубже, конечно если будет позволено, разрешено, что - то колотало - колотилось и болталось - бормоталось, и волосы на его голове, которые не до конца еще развеял вихрь удовольствий, тоже шевелились в такт ноздрям.

Любил он прекрасный пол.

А что делать?

Любил всех этих жен лейтенантов, которые приехали и им не - где было жить.

А он их голубил.

Да и как их было не голубить, едрена Матрена, если они сами голубились,

причмандорившись игриво,

попку с ходу приготовив

и чулочки приспустив!

Как их было не лопапить и не конопитить (триста пьяных голо - вастиков!), если все к тому буквально располагало. И я считаю прежде всего, что все это расположение возникало из - за той колбасы, ко - торую он поедал, то есть я хотел сказать, из - за того фаллоса, ко - торый ему заворачивали, и еще все это, возможно, возникало из - за вертикально расположенных баллистических ракет, напоминающих снявший шляпу вставший член.

Даже подводники, по утрам стынущие в строю (много - много человек), из окна кабинета тоже напоминают вы догадываетесь что, если смотреть на них сверху, потягиваясь и зевая от восторга. Может быть, когда это лезет на глаза каждый день, а другого ничего не лезет, и возрастает известная активность? Как вы счита - ете? А?

Ведь у нас и памятники все до одного похожи или на космо - навтов в шлеме, или на наш замечательный половой орган со сча - стливой головкой и надпись под ним: «Посвящается тебе...» — и дальше буквы отвалились, а в соседней губе было ровно пятьдесят статуй напряженного бетона, которые, словно рог носорога, явля - лись символом оцепеневшего нетерпения, за что животное и стра - дает до сих пор, и пионеры в дни торжеств обкладывали их цве - тами. И когда все это все время на тебя отовсюду прет, то что же в конце концов с тобой получается? Ты возбуждаешься. И не толь - ко ты.

Это удивительно, до чего у нас в поселке любили половые от - ношения. Во всяком случае, жены начальников искали лейтенантов, и лейтенанты кормили их морковью, лили им воду на мельницу, кру - тили им жернова и мылили их всячески, столпившись вокруг одной норки, опускали туда свои мармышки и, сощерившись, выдергивали, опускали и выдергивали, а начальники потакали женам лейтенантов и открывали перед ними грандиозные сексуальные дали, отчего

впоследствии совершенно забывали о собственных женах, которых запирали, уходя, на ключ на втором этаже на два дня и которые вылезали из окна по веревкам, и их внизу подхватывали на мохнатые руки и несли до ближайшего подвала, где они мясисто отплясывали на столах (ией - ух!), заливаясь серебристым многодневным смехом, и отдавались всем подряд, а потом они делали друг другу аборт и, чтоб скрыть выбритые места, приклеивали там куски шиньона, которые отваливались, когда муж входил в комнату.

Скороговорка

Остальные занимались скотоложством.
Я считаю, от полноты жизни.
Отчего же еще занимаются скотоложством?
Только от полноты.
Для чего лучше всего подходили собаки.
Кошки тоже подходили, но они царапались.
Да и с кошками занимались молодые матросы.
Да и то, когда их старослужащие заставляли.
Кур не было, а то бы занимались и с курами.
Так что лучше всего подходили собаки.

Словом, так

Одна, можно сказать, супруга ежедневно растревляла себя совершенно со своим кобелем — аппетитной величины была овчарка, даже вспомнить жутко.

Однажды не получилось у них гармонии, не сложилось, видите ли, я бы сказал не вышло, и кобель, заменяющий раскоряченного папу, принялся кусаться, а она давай лягаться и орать, и прибежал сосед с топором и простым лицом и порешил обоих, то есть только кобеля, я хотел сказать, а потом их на носилках — в госпиталь и только там расчипиздрили, то есть разлучили, я хотел сказать.

Нет! Все было не так.

Все было по-другому. Сосед привел к соседке сучку на случку. С собаками такое бывает. И пока собаки не теряли времени в одном углу квартиры, хозяева не теряли — в другом. А потом кто-то кого-то укусил — теперь уже не упомнишь, — и все разом завопили, и прибежал другой сосед, который с топором в руках заранее караулил все виды скотоложства, и всех с хряком уложил, вернее, он

нарубил собак на волосяные котлеты, а тот тип, что пришел с сучкой, посчитав, что это муж из похода явился, поскольку он его никогда до этого в светлое время года не видел, успел все же влететь в шифоньер и там уже подавился насмерть, потому что ему в дыхательное горло напололам с шелковым рукавом попал целый рой вспорхнувшей моли, после того как в щель он узрел топор окровавленный.

Там его и нашли,

а моль взметнулась стайей вверх, как бешеная, потому что испугалась его вздыбленного члена.

Таким его и обнаружили.

Таким он и остался, и окаменел.

Этот член.

Просто какая-нибудь кантата в этом месте должна грянуть при прочтении, я считаю.

Потом зоологи проводили экспертизу и выяснили, что причиной коллективного сумасшествия моли мог быть только член. В смысле такой величины.

(Еще одна кантата.)

Ну не чушь ли это, задумчивый мой читатель?

Вы только послушайте баб в нашем поселке, они вам и не такое расскажут: и про начальников, и про жен, и про лейтенантов, и про топор, и про кобеля. Конечно, чушь, мура, брехня! Я так и скажу официальным органам, если они у меня поинтересуются. Я так и скажу: брехня! Никто у нас не ловил чужих жен, не совращал их стоя, не зажимал (не говоря уже о скотоложстве), не согревал, не горячил, не корячил, не титькал. Девочки не ночевали по подвалам, не кончали где попало, а заканчивали школу девственницами, а мальчики — девственниками, никто не играл ни в «ромашку», ни в «замарашку», не набирал в шприц шампанское, не впрыскивал его в девичью грудь или еще куда-нибудь, а потом не высасывал.

Все сидели и смотрели программу «Время». Сложив руки на коленях

И я сидел. А если звонили в дверь, то шел и открывал ее рывком и в трусах. В двадцать один ноль-ноль я открывал дверь только рывком и только в трусах, и чтоб кончик выглядывал. И тогда все внимание сосредоточивается на этом кончике, потому что он вроде бы

подмигивает, одноглазенький мой. А ты еще шкурку благородной рукой беспокоишь, теребишь, до того как появится твоя слива, в которой и откупоривается глазик - то! И в этот момент можно подумать о том, что, в сущности, член человеческий — это ведь не орудие нападения, отнюдь! Это инструмент очень ранимый, где - то даже тонкий, жалкий, и должен напоминать человеку о его незащищенности, о необходимости утешения и прочее и прочее... Был момент, когда я так и думал — открывал, обнажал и думал.

А между тем...

Звонит замполит. А ты дверь на себя — хась! — и говоришь ему, помня о ранимости, член несчастный теребя «Ну?! Вагина - Паллада!» А он тебе: «Программу «Время» смотрите!» А ты ему опять: «Ну?» — или можно заорать: «Перестаньте мне спиться по ночам!» И тогда у него улучшается пищеварение и калотделение. Немедленно просто. Вовремя подставляешь под него калоприемник — и никаких проблем. И чесаться он начинает немедленно. Тут мне, кстати, вспоминается одна история с замом и с тем, как он после одной бабы чесался, но мы ее рассказывать не будем. Не стоит. Лишнее это. Ну к чему? И так им достается. Трудная потому что у замов жизнь. Вы думаете, так просто, что ли, замками становятся? Нет, не просто. Нужно все время что - то удобрять. Какую -нибудь ниву. Или чушь пороть несусветную, а от этого страдают мозги, потому что они всю дорогу набекрень. Вот наш первый зам. Тот попал в замы лишь только потому, что все время плясал лезгинку. Вызовет его член военного совета (сокращенно ЧВС) и скажет. «Слышь, лейтенант, спляши, а». И он плясал, а ЧВС сидел, и ему все это ужасно нравилось, а потом он говорил «Хорошо - то как, лейтенант, хорошо!» — и еще говорил «Сразу тебя на лодку замполитом назначить не могу. Должность, понимаешь, там капитана второго ранга, а ты у нас лейтенант, вот как будешь капитан - лейтенантом, вот тогда конечно. И еще: у нас банкет намечается, так скажешь с женами, так ты там тоже организуй танцы и все такое веселое что -нибудь, смешное и за курами проследи».

И он следил — за курами, за петухами, за потрохами петухов, а потом он следил за нами, чтобы мы, если уж и вставляли кому -нибудь радостно свой член, то при этом заботились бы о чистоте линий и чтобы — ни - ни! — все было шито - крыто. А потому, конечно, если меня спросят официальные органы, то я так им и отвечу

— ни - ни, шито - крыто; а если спросят неофициальные (заплатя) органы, то я им так прямо все и выложу, что в поселке у нас все насильовали всех, а также причихвостивали, засандаливали и впер - доливали. Спрашивали иногда: «Разрешите вас причихвостить, а затем и впердолить?» — и впердоливали! Чаще безо всякого на то разрешения. И если посмотреть сверху, с высоты птичьего полета, на нашу базу, то у нас никто не занимался боевой подготовкой — только пыхтели, кряхтели, мычали, стонали и мямлили, добавляли с плачем смазку в тормоза, обнимали за яйца и собирали их в лу - кошко, предварительно клещами зажав.

А командующий — наш любимый главночлен, по ужасу иско - дящему от которого мы тоскуем до сих пор, — насильовал коман - диров дивизий и кого попало. Вызовет, бывало, кого попало и ска - жет: «Вам наступил пиззздеееец!» — и ты чувствуешь, что действи - тельно наступил. Он. Он самый. И никуда не денешься. Не взлетишь. Не взмоешь. А если и оторвешься от земли на пять сантиметров, то сейчас же на нее жопой трахнешься.

А командиры дивизий, затрапезничав, хватали за срамное ко - мандиров кораблей и дежурных.

А командиры — офицеров за цугундер и на палкинштрассе; и шипели при этом ядовито: «И это только начало! Вы у меня будете лизать раскаленное железо!» — отчего у офицера внутри сразу же что - то рвалось рывками, что - то дорогое и ценное, сокровенное рвалось и ломалось, и не один раз в год, а по несколько раз в день, из - за чего офицер (наш) ежечасно и ужасно был готов к подвигу или к чему - нибудь такому, что помогло бы ему оставить на время в покое то драгоценное и святое, что у него, может быть, все еще находилось внутри и что наверняка, приди за ним когда - нибудь, ни за что там не нашарилось бы, ни за какие коврижки, фигушки пото - му что, улетучилось потому что, рассосалось, и если не получалось защитить то, что внутри, то есть заслонить то, что уже давно улету - чилось и рассосалось, офицер брал пистолет, вгонял в ствол патрон, сэкономленный на стрельбах, и шел на торце пирса расстреливать какого - нибудь негодяя матроса, и там, на торце, он некоторое время с удовольствием наблюдал на лице у того матроса все муки собаки Муму, а потом стрелял ему у уха, отчего что - то там происходило с барабанной перепонкой.

Оно, конечно, член с ним, с матросом, но от всех этих пережи -

ваний, от всех этих «туда - сюда - сжимай») у офицера гипертрофировалась железа, вырабатывающая семенную жидкость, она распухала у него этаким цистерной, отчего у него даже изменялась походка: вы только посмотрите, как ходят у нас офицеры, это сразу заметно, потому что жидкости много семенной — и оттого, конечно, если уж он находил себе бабу, то, естественно в этом положении, он слезал с нее только по большой нужде (или по малой) или в случае ядерного нападения.

Вот как ужнуло тогда в Окольной (все равно не знаете, где это, к чему уточнять!), как разнесло там в шелуху склад боепитания, как вырос при этом умопомрачительный белый гриб над городом, вот тогда и побежали все, причем у всех оказались надеты только рубашки, а под ними — ничего, кроме отдельных сморщенных деталей, а некоторые успели в таком виде до Мурманска доскакать, все свое потомство многоплодное прихватив, и все они оказались замполитами. (Эскадрон блядей летучий!)

А я знаю героев, не замполитов, конечно, которые, не бросая начатого дела, только в окошко глянули тогда на расползающееся по небу безобразие и зашептали страстно своими косоглазым певуньям: «Пока до нас долетит, десять раз успеем кончить!»

И кончали.

Десять раз.

О чем всюду потом напоминали многочисленные свидетельства — бледные сливки презервативов, — которые по весне при вытаивании усеивали откосы и собирались с гримасой омерзения палками в ведра и относились, сморщившись, в мусорные бачки.

И полны были те бачки.

И приезжала машина из тыла, и грязнущий молчаливый матрос, которому до этого десять лет в голову вдолдонивали, что он на службе Родину будет защищать, грузил все это дерьмо, переворачивал сочащееся и чмокал, утрамбовывая.

А офицеры помогали грузить.

Мичмана и матросики по воскресеньям влажнели в тесной войлочной промежности где-нибудь на галере, а офицеры — в поселке. Они сначала взбунтовались было («мы же в погонах»), а их быстренько переделали в гражданочку и успокоили дисциплинарно всячески, и напрягаешься, бывало, встаешь на цыпочки, чтоб эту драгоценную бадью с дерьмом через борт машины перевалить, а с нее

лется, лется и на плечи тебе, и в открытый от усилия рот.

И никто не заболел простудными заболеваниями, никого не касивал австралийский антиген, даже отрыжкой никто не страдал.

Все! Решительно все.

Все решительно были красивы, полны и сильны, как крокодилы. Таким дай что -нибудь в руки и потом не вырвешь. Таких пошли куда -нибудь и потом концов не найдешь. Таких выпусти в поле, и они тебе все поле проскачут — накосят - выкосят - выгребут - вывезут — или картошку соберут: у себя и в соседнем государстве.

Вот вызывают лейтенанта и говорят ему: «Поедете немедленно заменить старшего на картошке в Белоруссии, а то от него, чухонца недорытого, месяц ни слуху ни духу».

И он едет.

В Белоруссию.

И там находит какое - то Богом забытое место — не то склад, не то планетарий, — напичканное в три яруса койками. А за столом там сидит недоразвитый замполит картофельного батальона и из лапши — знаете, была такая лапша в виде букв — пытается выложить слово «солитер». Лейтенант входит, говорит, кто он и все такое, а замполит поднимает на него свои синие - синие очи, во взоре которых ничего нет, кроме мутной муки творчества, и спрашивает:

— Слушай, как правильно: «солитер» или «селитер»?

И сейчас же находится командир батальона, который, оказывается, нигде не прятался, просто здесь на койке лежал трупом. И его с койки сдергивают, и он, обалдевший от столь обильных перезиваний — лейтенанта на замену прислали! — сначала ничего -шеньки не может понять, а потом до него доходит, и он бросается к лейтенанту, как Бойль к Мариотту, как Гей к Люссаку и как Левенк Гук, и трясет его за грудки, и сжимает страстно, и кричит: «Повтори, что ты точно меня меняешь», — а потом он сходит с ума, бегаёт кругами по кубрику, орет и пинает кровати, а на вопрос: «Где все люди?!» — отвечает, радостно поперхнувшись: «Хрен их знает, ко - ров где - то (эх!) е - е - ебут!»

И лейтенант немедленно садится в командирский «уазик» и долго - долго едет по безлюдной степи, воспетой когда - то Чеховым, в сопровождении мичмана, не воспетого пока никем, который говорит только о бабах, советует лейтенанту, как их выбирать, и

сочится слюнями, приговаривая: «Порево - жорево - здорево» — и потирает свои маленькие потные ручки.

И первый же матрос, которого удается обнаружить, смертельно пьян и приклеен между чудовищными титьками у пожилой доярки — она так с ним везде и ходит, его никак не оторвать; а доярка при отбирании поднимает такой ужасный вой, так по - бабыи и зашлась, воет, как по покойному, а потом она спускает на лейтенанта всех своих коров: «Фад! Возьмите его, ирода окаянного!» И коровы долго гоняют его по навозу, все пытаются забодать вместе с мичманом, слюнявым головоотятом, и машиной.

Но лейтенант не сдастся, не из такого сделан, он едет в милицию, и там ему обещают помочь, дают молодца гаишника, и в первом же кювете они находят перевернутый самосвал с пьяным водителем из батальона, и лейтенант мнется, не знает, что ему предпринять, а матрос кричит ему: «Лейтенант! Да я тебя видел на...» — и дальше он просто не успевает сказать, потому что гаишник хлопает его по лбу полосатой палкой и уже у рухнувшего тела проверяет документы, находит водительское удостоверение и с остервенением его рвет.

Итак, лейтенант собирает всех людей и все машины, за исключением двух тарантаек, сгоревших вместе с картошкой синим пламенем, и привозит их назад, за что его обнимает и пожимает ему все его руки начпо тыла Северного флота, контр - адмирал, приговаривая при этом: «Удружили, лейтенант, все, значит, живы у тебя! Спасибо, удружили!» А когда лейтенант заикается насчет того, чтобы те сгоревшие самосвалы списать, адмирал ему обещает, что немедленно вызовет мичмана, в чьем заведовании они до Белоруссии находились, и тот этим сейчас же займется.

И приходит мичман. И только адмирал открывает свой рот насчет списания инвентарного имущества, павшего в борьбе за урожай - 70, как с мичманом тут же случается истерика — натуральная беда, — и он, словно только что сбрендил, ругается при адмирале матом, кричит, тыча скрюченным пальцем в лейтенанта: «К - хуй ему, к - хуй!» И его уводят под руки, плачущего, а он все пытается обернуться и еще в него ткнуть.

— Вот видишь? — говорит адмирал и разводит руками. — Ничего у нас с тобой не получается.

А получается только через год, когда лейтенант находит нако -

нец того, кому можно вручить сорок литров чистейшего корабельного спирта и списать те два самосвала.

А потом лейтенант до того поднаторел в списании всякого военного барахла, до того он во вкус дела вошел, что мог запросто подводную лодку списать со всем, что у нее внутри напичкано — с людьми и механизмами, — отвезти все это в сторону и утопить в болоте к едрене Фене, или мог за два старых дизеля поставить на Северный флот десять вагонов леса, или чего-нибудь там еще добыть, оторвать, выкрасть, выпросить.

Отчего и сделался ценнейшим кадром. А когда его — по дуге большой окружности — занесло в Москву, он вместе с корешом — за одной партией сидели — попал в Большой театр, и до начала представления, обшарив театр совершенно в поисках свежего пива, они забрели в правительственную ложу, где, закинув ногу на ногу, стекленеющим взором следили за началом оркестровки и наполнением партера, а когда партер заполнился до необходимой величины, его кореш — вместе за партией — вдруг встал и громко сказал:

— Товарищи! Проездом в нашей родной столице большой друг Советского Союза господин Замирюха! Поприветствуем его, товарищи, поприветствуем, — и заплодировал.

И весь зал тоже встал и заплодировал.

Через минуту их уже вели в комендатуру, а потом первым же рейсом отправили в Мурманск с подробным описанием событий.

И командующий Северным флотом, получив то послание, заметил командующему флотилией:

— У вас что, этого лейтенанта нечем занять?!

И тогда его прикомандировали еще на один экипаж, на который давным-давно повесили лишний винт — ну, то есть на этом экипаже и с кораблем, и без него всегда лишний винт числился, — так вот, прикомандировали этого орла, и он списал им все винты вообще — два настоящих и один тот, что повесили, — то есть лодка была, а винтов у нее уже не было.

И тогда на том корабле возник праздник, и командир корабля капитан первого ранга Титьков по кличке Чума, который был таким интеллигентом — просто жуть: матом не ругался и был вообще весь никакой, который даже экипаж самостоятельно не мог по домам распустить — все звонил комдиву и спрашивал разрешения, а если кого из офицеров хотел обзвать, то говорил в сердцах: «Негодяй!»

У меня нет слов, негодяй!», — так вот, этот командир, на которого обожали вешать всех собак, после списания всех винтов впал в натуральное счастье, носился по пирсу как оглашенный, ненормальный философ, как какой-нибудь Граух Бабеф, и, наверное, первый раз в жизни ругался по-нехорошему и, показывая рукой на свое причинное место, предлагал кому-то, неизвестно кому, где-то там наверху, — его попробовать.

И все его понимали, потому что сами только этим все и жили. В смысле этим самым местом.

Ой, городок!

Ой, городок, городок, и чего ты только не видел, чего тут только не было, не происходило: я имею в виду жизнь как непрекращающиеся половые взаимоотношения, и половые взаимоотношения в лучшем смысле этого слова, под которыми я всегда понимал настоящую жизнь.

Представьте себе все дома у нас в городке в разрезе, и ведь на всех этажах одновременно и порознь, чаще всего глубокой ночью, реже по утрам, прошибает пот, скачут, дрожат кровати — идет результативная работа. За исключением, конечно, адмиральского домика, потому что если его утром разрезать быстренько, то все адмиралы окажутся на горшках и думать они будут только о росте нашей боеготовности. (Давно замечено: чем меньше у человека семенной жидкости, тем больше он думает о росте боеготовности. И чем больше у человека семенной жидкости, тем меньше он думает о всякой ерунде.) Зато во всех других домах все мысли были только о самом необходимом, о самом осязаемом, и трудились люди на ниве половой — я не знаю — просто не щадили себя, и если бы атмосфера позволяла, то трудились бы не только в домах, но и вокруг: на чердаках, в подвалах, в кустах. И казалось, все здесь ощущают, что им мало осталось жить — может быть, два года, или два месяца, или два дня, а возможно, и два часа, две минуты, две секунды, и за это время нужно кого-нибудь поймать и вмочалить.

Просыпается наутро лейтенант и говорит «маме Буденного»: «Где я?» — «У меня», — говорит ему «мама». И он сейчас же приходит в себя и, весь в ужасе голубом, замечает, что у нее растут усы и на стене висит нога. «Что это?» — говорит лейтенант блек-

лым голосом. «Это моя нога, — говорит ему она. — Ты вчера так безобразничал — обнимал ее, целовал и все на ней, как на гитаре, играл». — «Иии - я?» — выдыхает несчастный, и ему объясняют, что «мама» — инвалид и тоже лейтенант, но Великой Отечественной, и это ее нога на стене висит, в смысле протез, и грудь у нее, которую он вчера со стоном посасывал, полна медалей за оборону Ханко, где она гранатами кидалась, как снежками, а теперь она строит подводные корабли, и когда чего не ладится, ей выписывают молодого лейтенанта, чтобы силы юные вкачать, то есть, я хотел сказать, вдохнуть, и у лейтенанта от всех этих объяснений пересыхает слюна, и он еще два дня себя совсем не помнит.

Ой вы, лошади хмельные, да до чего же жизнь была вкусной! До чего ж она неслась, не оглядываясь, не задумываясь, не разбирая дороги!

А как жрали, извините меня!

Как лопали все подряд! Как чавкали, обмусоливая пальцы, как всасывали мозговые косточки, как хрумкали, хрустели мелкими рыбешками, трясли грудями и подбородками, как набивали себе брюхо вареными яйцами по шестнадцать штук зараз, как поедали мясо, паштет, курицу вареную, селедку, шпроты, уверяя всех, что здесь все так вкусно и так все полезно, что все, абсолютно все, усваивается, из-за чего даже по трое суток и в туалет - то ходить не приходится и как потом, выпучившись, на четвертые сутки, вывалив язык и глаза беспокойные, и без того лупоглазые, неслись в одном упомянутом месте одним огромным и сильным яйцом.

А адмиралы собирались на «адмиральню», куда приглашались и командиры с командиршами, и выбирали из молодой кипучей командирской мелюзги тамаду, например недавно назначенного командира Сатонова, который в Северомыске, откуда он и явился к нам, по воскресеньям гонялся за женой с кортиком или влезал без очереди за пивом, а когда работяги возмущались, обещал им так в рожу дать, так дать, что они все одновременно наложат больше лошади, а еще в ресторане укусил за ухо замполита, как выяснилось, лишь только потому, что промазал, нацелившись кусать его за совершенно другое место.

И Сатонов встает

и говорит: «Товарищ командующий и вы, товарищи офицеры, как тамада я отрежу галстук любому, кто здесь заговорит о службе».

И все его шумно поддержали, но как только шило корабельное потекло рекой, как только все эти украшения флотской жизни: куры, утки, семга, икра и говядина из закромов Родины — сильно перекочевали в желудки командиров и начальников, первым о службе заговорил, естественно, командующий.

— Раз - ре - ши - те, — протиснулся к нему тамада Сатонов и, наклонившись, поискал, нащупал и отрезал ему под самое горло его любимый шелковый галстук.

Секунд десять происходило созревание, а потом командующий начал кидаться цыплятами и вопить, что это его самый лучший галстук.

А жена тамады Сатонова бросилась к жене командующего, уговаривая не обращать внимания на ее придурка.

А начальник тыла — тот тоже срочно подбежал, расшаркался, как клоун, и предложил командующему новые шифроновые туфли, на что командующий заорал, что его лишили галстука, а не туфель, потом он в сердцах сдернул с шеи тот сраный охнарик, что ему Сатонов оставил, и швырнул его в тарелку начальнику штаба, а Сатонов при этом, совершенно равнодушный к поднявшейся суете, наливаясь скорым соком, дозревал в углу и с безучастным видом щелкал ножницами, нацелившись еще у кого -нибудь чего -нибудь отыметь.

То был чудный объект для наблюдения.

Это я не про галстук, это я про Сатонова. Я сам с ним как -то столкнулся на трапе. Шла приемопередача корабля, и всоду было полным - полно посторонних. Я лез вверх, а он — вниз. Мы столкнулись, и я надавил ему на лоснящееся брюхо, потому что, во -первых, я его совсем не знал и, во -вторых, у него не было на кармане бирки, где было бы написано: «Я — командир», — а все мы были в синем белье без погон, и у меня бирка была, и я абсолютно справедливо решил, что это лезет охамевший интендант.

— Ну ты, — сказал я ему, — вор в законе! — на что он горлом зашелся, захрипел, а потом кто -то рядом заметил: «Это командир принимающего экипажа», — и я задом слез, его пропустил, извинился и зачем -то руки отряхнул.

А какое было небо голубое!

А какая вода и скалы!

И солнце расшибалось о воду, превращаясь в солнечных зайчиков - кошечек - рыбок - птичек, заставляя жмуриться, гримасничать, а воздух сам, казалось, наполнял легкие, холодил внутри, и отчего-то думалось, что все вокруг твое личное и можно все это неторопливо употребить.

А сколько было ковров,
гарнитуров,
холодильников,
чешского стекла,
сапог,
колготок,
лифчиков и
прочего дерьма.

Но еще больше того дерьма не доезжало до нас вовсе, а поворачивало на юг, на Кавказ. И все благодаря начальнику военторга полковнику Маргуле по кличке Маргарин. Это он был связан своей пуповиной с Москвой,

Кавказом,
опять с Москвой,
Академией Генштаба и
Мурманском.

А ты стоишь перед его дверью, бывало, и она открывается «Слушаю вас», — и ты не знаешь, что сказать: то ли о том, что в банке меда на самом дне нашел сливовую косточку, то ли хочется у него колготок для жены попросить.

Ему как-то позвонили из Москвы

и сказали: «Ты что ж это, сморчок недодавленный, змей гремучий, совсем, что ли, намека не понимаешь? Если тебе «Жигулей» в прошлом месяце не прислали, значит, что-то не так. Позвонить надо, справиться. Ты что ж это, титька казполькина, думаешь: если тебя никто не трогает, значит, все тебя любят, что ли? А-а-а? Просто место берегут, дурашка противная, место неиспоганенное, чтоб туда можно было человека посадить, который давно созрел. Ты чего это рапорт на пенсию не подаешь? А-а-а? Ждешь чего-нибудь? Или ты там вечно собрался малину жрать? Вот мы пришлем тебе комиссию!» — и повесились.

А он так и остался с трубкой у уха.

А он абсолютно все здесь наладил. Сделал все, как для себя. В

Мурманск спирт — а ему оттуда палтус холодного копчения. И за-сосало у него при мысли о палтусе, и ощутил он его вкус и тут же умер.

Вся база стояла с непокрытыми головами и неделю собирала по рублю, и все его жены, дети, любовники жен, любовницы и их законные мужья — все решительно оплакивали его кончину и невыносимо, непотребно рыдали.

Оборвалась пуповина, связывающая нас с Москвой,
Кавказом и еще раз с Москвой.

С невообразимым треском.

Правда, ненадолго.

Скоро ниточки все починились, и все закипело по-прежнему.

И если главному требовалось какой-нибудь боевой корабль в Индийский океан за кораллами послать, чтоб потом те кораллы аккуратненько в ящички уложить и доставить в Москву и чтоб потом, как пронохает о переменах в верхах, сразу же у двери, за которыми ожидаются перемены, с тем кораллом стоять, и только она приоткрылась — сразу же туда втиснулся «Вот вам наши кораллы», — так, знаете ли, лучше нашей базы никого бы не нашлось.

А все потому, что понимали все, что жизнь и все в этой жизни появляется из малого и, может быть, даже из такой мелочи, как кораллы, — семенная жидкость и половые отношения.

А вы думаете, что муж, ждущий назначения и перевода, не знал, что за наставления дает его жене начальник отдела кадров? Знал и уходил в наряд, а когда приходил ненароком, то всегда давал возможность «дяде Толе» уйти невредимым.

А «дядя Толя», очаровательный, изумительный, неисправимый охламон, все считал, что восхищаются его мужским достоинством, хотя все же, по моему, некоторые объективные размышления на этот счет его посещали и, оставшись один, он даже доставал свое «достоинство» и несколько раз его с сомнением пристально разглядывал, но масляные глаза плутовки, все эти ее отправления совершали над ним волшебство, и стоило только чаровнице дотронуться пальчиком до его трико с помпоном в середине, как в них развивался пожар и он немедленно хотел перевести ее мужа в Москву, в войска центрального подчинения, потом, правда, это желание несколько ослабевало, но стоило только паршивице еще раз качнуть утеночка в колыбели, как оно сейчас же укреплялось, постыдное. И они так

пыхтели, и кровать колотилась в стену, как паровоз Черепановых, а за стенкой сидел я и пытался на бумаге отразить все их невероятное старание.

А как пили! Пили - то как, Господи! Сколько было спирта! Какая была благодать! Пили — и отбивали чечеточку. Пили — и говорили о службе. Пили — и решали государственные вопросы. А потом привязывали какого -нибудь начальника штаба 33 - й дивизии и выгружали его из лодки по вертикальному трапу ногами вверх «Переверните! Переверните!» — и переворачивали, и говорили, что у него инфаркт.

— Сердце не выдержало! — сокрушались на партийной научно - практической конференции и качали головами.

А у него не выдерживало не только сердце, но и — что особенно печально — мочевого пузыря, и все это на тех, кто выпихивал, особенно когда перевернули.

— Запишите в вахтенный журнал «Капитан первого ранга Протасов в 137 - й раз входит в Палу - губу!»

Ну, конечно! Потрясающе! Естественно, красиво! Вошли да как трахнули соседнюю лодку по стабилизаторам, а у них — отчетно - выборно - партийное собрание, и в кают - компании все посыпались, как горох, и лючки на подволоке отвалились, и сверху на лежащих полетели крысы, которые, как оказалось, тоже присутствовали на партийно - выборно - отчетном.

Вот от этого рождались дети - идиоты, которых кормили с ложечки ворованной красной икрой, а они ту икру жрали не преставая и все равно оставались идиотами, и вместо мозга у них вырастал только ствол тикающий, то есть я хотел сказать: огромный детородный орган. И все его родственники, кормя его с ложечки до пятнадцати лет, с ужасом наблюдали это заметное увеличение его в размерах и заранее хлопотали о поступлении ребеночка в Высшее военно - морское училище связи, то есть не связи, конечно (что это со мной?), а туда, откуда потом можно попасть в долгожданные командировки подводных лодок. И его туда запикивали — с дядями, с тетями, со звонками в Москву, а он все равно идиот, хоть ты тресни, не проходит он в училище по баллам — и вот уже икра потекла в училище рекой, и спирт туда же — и вот он уже становится командиром, и при перешвартовке его лодка жопой вылезает на остров.

А какие бакланьи яйца были на том острове — можно было

ведро набрать, — и собираешь с опаской, косишься на небо, потому что переполошившиеся бакланы, которые в таком состоянии обладают коллективным разумом, взмывают вверх и очень ловко на тебя сверху коллективно серят.

А хорошо в сиротстве разбить целую сковороду бакланьих яиц и зажарить, и они все равно что куриные: ничем не пахнут. И я думаю, с таким же успехом можно было бы зажарить бараньи яйца или даже человечьи.

И, может быть, за эту гастрономическую страсть к различным видам яйцеклеток или яйцекладок, в скорлупе или без, а может, еще за что — нибудь этакое, сюжетное, военнотрусовых у нас называют «яйцекладущими» и «яйценесущими» — а несут они их в штанах, а кладут они их под себя, на стул при посадке, и никогда про них не забывают. взмывая, всегда их подхватывают, и это — после Родины, конечно, — самое необходимое и дорогое; может быть, поэтому у военнотрусового так часто интересуются «А по яйцам хочешь?»

Отчего и происходит изменение в лице.

Именно поэтому военнотрусового всегда хочется наблюдать. Хочется его наблюдать в боевой обстановке, когда он, стиснув зубы, идет на врага, и еще при пожаре его хочется наблюдать, когда, выпучив свои очаровательные зенки, он лезет из огня. И в промежутках его хочется наблюдать, тогда — в промежутках — он варит себе макароны где — нибудь в теплушке или на заброшенном КПЦ, где, впрочем, есть и тепло, и вода — он тут все починил, — и посреди бетонного пола имеется его коечка с верблюжьим одеялом и канализационный люк — отодвинул его и в журчащий поток с удовольствием справил нужду.

Наш военнотрусовой!

В канаве рожден,

канавой вскормлен,

дерьмом вскормлен!

И Родину любит!

Красота — а! Яйца потные!

А вокруг — солнце, как мы уже говорили, кислород, вороны и прочая летающая дребедень, как, например, все те же бакланы, которые криками будят тебя лучше будильника, особенно когда крысу поймают. Схватят ее за холку, поднимут вверх и бросят, чтоб разбилась о скалы, а внизу ее еще один баклан подхватит, так и не допустив до

скалы, и опять поднимет и так швыранет, что крыса летит сверху и верещит что-то по-крысиному, может быть: «А-а-а, бляди...»

А от импотенции лечились в госпитале.

Там была замечательная операционная сестра Маша — огромная девушка лет тридцати пяти. А у Маши был пойс, вырванный с ключьями из белой форменки, и с обратной стороны Маша папочками отмечала тех, кого ей удалось вылечить от импотенции.

И вы знаете, у нас Геша однажды заболел. А Геша такой интеллигент — дальше некуда. Мы ему: «Геша! Да сходи ты к Маше, она мертвого поднимет. У них в госпитале даже у забинтованных, без рук, без ног, с обморожением, при виде Маши на кончике члена бутоны распускаются».

А Геша — балда узкорылая — нам: «Неудобно», — а чего неудобного — то, моченый корень короля Гира, ей же всех нас жалко, у нее же для всех и ласковые слова найдутся, и все такое. «Бедненькие вы мои, — только так она и говорила — или же: — Чего тебе, родненький?» И у всех после таких слов внутри сейчас же исполняется общепринятый гимн: «Как увижу Валентину, сердце бьется об штанину».

Ну, наконец затолкали мы Гешу к Маше — отвезли его чуть ли не на саночках и впихнули, — а сами ушами влипли в переборку.

А Геша ей: «Не могли бы вы, Маша, положить себе в рот мой... чувствительный сосок?..» Чувствуем, положила. «Не затруднит ли вас, Маша, пройтись губами от середины моей груди и до низа моего же живота?» Чувствуем, не затруднит. «Не будете ли вы столь любезны приласкать моего котеночка?» Все в порядке, с котенком разбираются. «Не случится ли такого, что вам вдруг захочется поцеловать моего младшенького губами?» Конечно, случится.

Через полтора часа мы изнемогли. А Геша все — то туда его целуй, то сюда лизни, то там подними, то взамен опусти, а потом потряси, обними, тут проведи, там захвати. Черт!

Сейчас войдем — решили мы — и скалкой дадим ему по лбу, может, тогда у него встанет?

И тут — о чудо! — начались охи, вздохи, крики «Маша, я тебя люблю!»

Фу! Выдохнули мы.

Еще одна ПОБЕДА отечественной медицины!

Еще один ВОЗВРАЩЕН в строй! И Маша счастлива, и мы все

довольны.

Сварили мы тогда ведро подосиновиков, маслицем заправили, лучка не пожалели, перчиком припорошили, уксусом сдобрили, и картошечкой рассыпчатой это дело усугубили, и водочкой из хрустального графина запотевшего по всем рюмочкам прошлись.

Два часа хруст стоял ослепительный, а потом все отвалились и наперделись всласть.

А Серега из нашей компании, уходя, все сокрушался, что он пятнадцать лет женат, а до сих пор у жены куночку не видел, не разрешает она ему смотреть. И вот сейчас он решил положить этому конец («Где наш конец?») и постановляет отправиться к ней и, проявив последовательность и осмоторительность, разложить ее на койке и все досконально там распердолить.

И мы Серегу благословили. Мы его Галку знаем. Сейчас она ему самому рожок в тушку вставит, уксусом облагородит и все там потрогает, расшевелит и распердолит.

А Толик отправился к очередной бабе. Наверное, только затем, чтоб получить в торец. Приходит Толик к бабе, дверь раскрывается, и Толик получает в торец, распластавшись в воздухе. Конечно, не везде его приветствовали подобным образом, но иногда бывало. На каждой экипажной пьянке он обязательно представлял заму свою новую бабу: «Моя жена». И зам смущался, шаркивался, ручки лез целовать. Может, нравилось Толику, что зам каждой его бабе ручки целует. Уж очень он настойчиво ее к нему подводил и все норовил встать так, чтоб у нее ручки были не заняты.

Я уж не знаю, на какой Толиной бабе зам сломался и потерял интерес к этой стороне Толиного существования.

А все оттого, что Толя развелся со своей первой женой при весьма интимных обстоятельствах.

Как - то в отпуске отправился он с женой и компанией в лес на шашлыки. Наелись, и Толя в кусты захотел. Пошел он туда, штаны спустил, сел и, только поднатужился, чтоб метафору выдать, как почувствовал неудобство какое - то, веточка, что ли, по голой жопе елозит, он, не оборачиваясь, ее рукой отводит, а она ни в какую, ну тогда он по ней — тресь! — а она его возьми и укуси, потому что это не веточка вовсе, а гадюка.

Толя — совершенно белый, с трясущимся нутром, в собственном дыму — из кустов выполз без штанов и на четвереньках, а на его чувствительной заднице красовались две капельки крови — следы гадючьих зубов. И все тут всполошились — что - то надо делать, — решили, что надо высасывать, и решили, что высасывать должна жена, а она в руках билась и кричала, что у нее пародонтоз и все дупла червивые, и ни в какую не сгибалась до нужного места даже силой. Отчего задница распухла, а потом сама как - то утасла, улеглась, опала, то есть частично излечилась, видимо, от злости.

Разозлился Толя на жену за то, что она не захотела ему яд из жопы высасывать.

И тут мы с Толей были солидарны. Позор! Жена не хочет у мужа яд из жопы высасывать! Я считаю, что это неправильно и даже ненормально. По - моему, если есть в жопе яд и есть жена, то совершенно нормальным будет его высосать.

И не только я так считаю, все вокруг в этом уверены, весь поселок, который обсуждал проблему высасывания яда из Толиной жопы недели полторы.

Были, конечно!

Были, конечно, отдельные моменты или даже мгновенья когда многие наши дамы полагали, что жена военнослужащего или его подруга должна быть готова ко всему. В любой момент ее мужа или хахалю могут во что хочешь опустить или над ним могут совершить какой -нибудь акт морального и физического насилия. И тогда она с ним должна его поделить, примерив на себя смирительную рубашку, в которую его собираются облачить, вылив на себя ведро дерьма, которым его собираются окропить.

Но потом

ветер, что ли, менялся или положение облаков на Марсе, и те же самые дамы начинали полагать, что какого черта тратить свою молодость, мораль и упругое тело на этого зачуханного обормота, когда их можно с большим толком потратить где - то рядом еще.

И тратили.

И если какая -нибудь слишком увлекалась и снабжала полпоселка венерическими недомоганиями, то ее — лилейнораменную — в двадцать четыре часа — выселяли с треском в тканях из нашего

лучезарного городка. За подрыв боеготовности.

Именно — за подрыв! И за потери среди личного состава!

А как же!

Черт побери!

Что вы себе возомнили! Пенистые члены — членистые пены!

Ради чего мы, по - вашему, существуем?

Мы существуем ради нашей боеготовности. Мы ходим, бродим, дышим — ради нее.

Для нее же мы едим, пьем, а потом с легкостью отправляем естественные надобности, то есть грациозно гадим.

А лечили от подобных неприятностей только на БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ — в Мурманске или еще дальше, может быть, даже в Ленинграде, в Военно - морском орденоносном госпитале имени Жоржа Паскаля (или, может, не Жоржа) в девятом отделении, где в мое время самый лохматый сифилитик матрос Карапетян, повышенной угреватости, старательно клеил картонную коробочку, а потом опускал ее на веревочке в окошко с запиской: «Палажите, пажалуста, сюда адну сигарэту» — и где дежурный врач, увидев вновь поступившего разносчика заразы, кричал:

— Карпинский! Опять?! В пятый раз?! Я что, нанялся, что ли, твой свисток прочищать? Только ампутация! Сестра! Сестра! Карпинского готовить к ампутации! На стол суку! Я тебе выскоблю эту любовную железу!

И выскабливали — будьте покойны.

А на большом противолодочном корабле «Адмирал Перепелкин» перед гигантским строем старпом выводил трех матросов, которые в погоне за половыми успехами раскроили себе головки членов и вшили туда стеклянные шарики, и все это безо всякого наркоза. Старпом заставил их снять штаны и показать всем это армейское уродство, потом он скомандовал корабельному врачу: «Два шага вперед! Кругом! Майор медицинской службы Бобров! Отрезать им хуй напрочь!»

И отрезали.

А все это получалось, я считаю, потому, что не проводилось встреч с ветеранами войны и труда. Если б больше было встреч, меньше было б венерических заболеваний. Где - то у нашего зама даже валялось исповедальное исследование, посвященное этому исподнему и злободневному педагогическому вопросу, и один из вы -

водов гласил: больше встреч!

А встречаться можно хоть в нашей казарме. Вы еще не были в нашей казарме? Ну, не все еще потеряно, сейчас я вам ее опишу. У нас какходишь — сразу натыкаешься на невыразимо огромный гипсовый бюст В. И. Ленина. Он стоит на кумачовом постаменте, зловеще подсвеченный лампочками со всех сторон. Блеск такой, что глаза слезятся. Направо — гальян с дерьмом и сундучная-рундучная, куда матросы баб таскают и все такое. А налево — ленкомната, где воины проводят время за чтением политической литературы. Там потолок набран витражами, изображающими — с поразительным мастерством — картины битв в Великой Отечественной войне, причем все герои своими лицами походили или на командира, или на зама, или, в крайнем случае, на старпома, потому что художники все свои, с нашего экипажа, где ж им другие героические лица взять? Вот они и намалевали.

Так что обстановка очень располагала.

Так нам и начпо Северного флота заявил, проверив нашу ленкомнату.

— У вас, — сказал он, — обстановка располагает, — и все сейчас же закивали головами, как ящерицы-круглогловки в период брачных игр, и заулыбались, и наш зам как-то особенно сильно головой задергал, завращал и при этом все что-то лопотал, лопотал — ни черта не разобрать, кроме одного слова — «очень».

— Очень... чоп... на-птух!... ..уи... — говорил он, — очень! — А потом с ним родимчик случился.

Не у всех, конечно, замполитов внешний вид начальства вызывал такие содрогания члена и сознания, у некоторых, наоборот, развилась инициатива и какая-то особенная задористость козлиная и сволочная пруть.

Как-то вели главкома под руки по главной улице нашего городка. (Почему «вели»? А потому, что сначала его везли на машине, а потом у нее бензин кончился — шофер не успел заправиться, потому что это был совсем не тот шофер, которого должны были под главкома подготовить, того — долбоеба — куда-то дели, а этот просто на глаза попался, его и заграбастали, а он проехал метров пять и говорит на ухо старшему над церемонией: «У меня бензин кончился», — а старший не растерялся. «Товарищ главком! Давайте пешком пройдемся, здесь два шага». И прошлись.)

А улица как вымерла: всех загнали по норам, а в подъездах выставили вахтенных не ниже капитана третьего ранга, чтоб они никого не выпускали, а то вылетит какой-нибудь наш албанец с ведром мочи и артиллерийского кала, споткнется и ведро главному под ноги вывалит.

И вот на пустынной улице — где-то там далеко — показался заблудившийся, видимо, замполит.

Заметив главнокомандующего и свиту, он сперва заметался, как кот перед собачьей упряжкой, не зная, куда ему вломиться, а потом отчаянным прыжком, выставив входную дверь, влетел в оранжерею — ту, что рядом с тыловым камбузом, — сорвал там длинный, кривой, как казачья цапка, огурец и, одним махом взметнувшись на косогор, оказался перед главнокомандующим, размахивая этим своим поэтическим приобретением.

— Вот, товарищ адмирал флота Советского Союза! — сказал он, протягивая ему это зеленое чудовище. — Выращен! В нечеловеческих условиях советского Заполярья!

Главнокомандующий умоляюще покосился на сопровождающих и попросил тонким голоском:

— Уберите от меня этого сумасшедшего.

А те будто только этой команды и ждали: подхватили несчастного того зама кислотоватого, под руки и, поднимая фонтанчики серой пыли, с азартом поволокли его куда-то в овраг, чтоб там кончить, наверное, а он по дороге дрыгал суставами и то ли читал вслух окружающие лозунги, то ли кукарекал. И вы знаете, мне кажется, что все недоумение у замов оттого, что у некоторых предстает елей этой славной профессии по всем признакам головка члена все же прищипнута была в детстве, как это делают с растениями — кабачками, например, чтоб они не очень вытягивались, отчего он у них и вырастает только вбок.

НУ КАК С ТАКИМ ЧЛЕНОМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ИЗ СЕБЯ ЛОМАНУЮ ЛИНИЮ, МОЖНО БЫЛО ЖЕНЩИН ЗАБАВЛЯТЬ? Только демонстрируя его на расстоянии, я считаю.

И в море они, видимо, по той же причине, всегда мыслились не с личным составом, а отдельно. Исключения — в смысле того, что не всем прищипывали, — конечно же, были. Некоторым, видимо, удавалось отвертеться. Вот наш Тихон Трофимыч, с которым мяться в одной душевой можно было — пожалуйста, заходи, — но с которым матросы в

этом месте стеснялись встречаться. Только самые неопытные просились: «Разрешите с вами помыться!» И тут же в ужасе назад выскакивали и потом по отсекам разносили весть о том, что у зама заморыш совершенно не прищипнут: до колена и в толщину как хорошая осина, и трет он его обеими руками, будто стружку снимает.

ТО-ТО МЫ ПОДОЗРЕВАЛИ, ЧТО У ЗАМА ЧТО-ТО НЕ ТО! Уж очень много страсти вкладывал он в учение Маркса и Энгельса.

В смысле излагал его очень убедительно.

Что и было подозрительно, потому что остальные замполиты, видимо, с членами мелкими, своевременно прищипнутыми и растушинами в сторону, заметно тушевались при изложении работ, касающихся происхождения семьи, частной собственности и государства.

А этот не смущался, так прямо и рубил: «Человек — это обезьяна!» И мы ему внимали, а в задних рядах всегда робкий гул стоял. Там решали, как зам свой шланг в штанах укладывает.

— Бухточкой, бухточкой! — шипели самые нерадивые.

И, видимо, были правы, потому что впереди у зама невероятно подвижный ком красовался, что при экономии материала, отпущенного Родиной на штаны, делало его заметным, особенно во время лекций и бесед. Особенно когда он в середине фразы в сердцах хватал его рукой и вниз оттягивал.

Только зам спросит: «Как у нас воплощается забота о личном составе!» — и все сейчас же уставятся ему в ширинку и следят за рукой, которая в ту сторону направляется, и ухмыляются, будто именно там и находится правильный ответ.

И тут я должен, нет, я просто обязан сделать заявление!

И тут я обязан заявить, что, конечно, многие полагали, что мужской детородный орган — это и есть тот продукт, которым долгое время у нас партия кормила народ!

Но! Непосредственного подтверждения этому вы нигде не найдете.

Разве что в какой-нибудь заброшенной казарме, на Богом забытом стенде с наглядной агитацией, где политически незрелые негодяи рисовали все подряд, в том числе под органом политическим всем знакомый орган половой.

Но на боевых постах и в зоне, где у нас лодочки имелись, нашу наглядную агитацию берегли, холили и постоянно обновляли, а в

ночь перед комиссией главкома ее даже охраняли, чтоб не изгадила сволочь какая -нибудь или чтоб бакланы с аппетитом сверху на нее не нассали.

Ходил туда - сюда офицер и кричал этим проклятым птицам:
— Кыш! Брысь! Гесь! — и веткой отгонял.

И они его прекрасно понимали, и с пронзительными криками срывались с места и летели куда -нибудь подальше на памятники ночевать.

А командующий утром приезжал и, чуть чего, брал за шкуру того офицера, если он не успевал до очередного лозунга раньше бакланов домчаться или если домчался но постеснялся рукавом стереть.

И еще он его брал за это малопривлекательное место, когда находил вольно шляющегося воина - строителя. Тот воин от него сразу же давал деру — вверх по скользким скалам, с ходу врезаясь в колочее заграждение и снося его совершенно, уходил сопками.

И вот тогда командующий подзывал того зачавканного офицера, который как очарованный наблюдал это встарживание, и говорит

— Если вы мне вечером не сообщите его фамилию, то я завтра утром заинтересуюсь вашей.

И несчастный офицер, сразу ставший узкоплечим и пахучим, растарашив до боли гляделки, по стойке «смирно» глотал хлынув - шую слюну и чувства и сейчас же ощущал жгучее желание находить всех подряд и сажать, находить и сажать и, будьте покойны, находил и сажал.

Хотя в другое время, в расслаблении конечно же, он ковырял бы в носу, находил бы там козявки, доставал их и истончал между пальцами, как чувства, и они потом падали бы и терялись.

Но в то время, когда адмирал брал его все - таки, я думаю, не за шкуру, а за жопу, он был собран в пучок и готов к страданиям.

А приказы ему в ту секунду адмирал раздеться — и он, рывком обрывая пуговицы, разделся бы, потому что страна Великанов и командующий для офицера — это тоже Великан, который может все: может поднять, сорвать одежды и сожрать Мальчика - с - пальчика. Подойдет к тебе Великан — и разденешься, никуда не денешься, потому что такая страна, черт тебя подери!

И для командующего в этой стране имеется свой Великан, и для главкома. И куда ни кинь свой взгляд — везде одно и то же...

И будто действительно когда - то некоторый Великан

наступил тут на берег и вдавил его в море, и образовалась наша бухточка, где у нас теперь только пирсы, пирсы, лодки, лодки. А летом — воздух, море, благодать. А гулко, как в бане, и слышно все, потому что от скал отражается, особенно когда лодка к пирсу подходит и командир в мегафон с буксирами разговаривает.

Господи! Какие восклицания!

Экспрессия, истинная экспрессия.

Какие могучие выражения, при которых слово «кожа» выглядит как невинная присказка. И как все точно, словно ярлыки наклеены, потому что рождается это все в мгновение наивысшего торжества истины, потому что прав командир, тысячу раз прав, когда он кричит, хрипит, визжит в мегафон этим болванам, козлам, обалдуюм клееным мы не будем повторять что, потому что это не имеет отношения к нашей с вами бдительности, а имеет отношение к мироощущению или к миросозерцанию, едри его мать!

А в 79-м доме жил Сова. Не может быть, чтоб я вам про него не рассказывал. Сова — маленький, толстенький, черненький такой, начисто лишенный шейных позвонков, у него голова сразу к плечам приставлена. И глаза у него хитренькие, узкие. Сова — командир ракетной боевой части, и еще он всегда готов к представлению, эскападе, прокламации и лирической драме.

Однажды жена послала его в воскресенье в Доф: приобрести билетки в кино. Было ровно четыре часа пополудни. Сова вырядился в преддверии интеллектуального общения с экраном в костюм и пошел, а навстречу ему еще два придурка ракетчика, пихающие в гору свежеекупленный холодильник. Почему в гору и почему на себе? А по-другому у нас ничего не доставляется, дети мои. Только на себе и только в гору.

— Сова! — кричат эти ненормальные. — Помоги, сдыхаем!

Надо вам сказать, что у ракетчиков очень сильно развито чувство локтя.

Они так и норовят друг другу помочь.

Остальным начхать триста раз,

а у ракетчиков так не получается, у них все время локоть за спиной торчит, и все время он их пихает — помоги, помоги!

И Сова помог.

А как же!

Затащили они этот проклятый холодильник на пятый этаж, вы-

пили, и Сова очнулся в два часа ночи в прихожей на ботинках — он лежал, свернувшись клубочком.

— Е - мое! — воскликнул Сова, ощупывая костюм. — Лучше б я в говно упал!

И я с ним не могу не согласиться. Лучше упасть в говно и пролежать в нем полдня по случаю надвигающегося какого - либо праздника или просто оттого пролежать, что при падении от испарений потерял сознание. У нас командир БЧ - 5 вот так упал в говно от потери сознания, то есть наоборот, — сначала в говно, а потом уже потеря сознания, то есть потеря знаний о себе. Его взяли после ресторана в комендатуру, а он попросился у них в галюн и в дучке уже замыслил побег: выломал доску и уже почти вылез наполовину наружу — и тут неаккуратненько на что - то наступил, и это «что - то» треснуло, и с ужасающим нарастающим звуком он провалился в говно (или в «говно» — как правильно, не помню) и от немедленно возникшего испарения потерял сознание; его вынимать, а он висит на подмышках, и, главное, никто его не соглашается руками вынимать — все палкой пытаются, палкой. А она соскальзывает — и по роже. Ужас, одним словом. Смерть героя — упал в говно и утонул. Ужас — еще раз хочется сказать.

Но этот ужас — это переживание совсем иного сорта, когда ты пошел за билетами, а очнулся в два часа ночи в передней, на чьих - то невкусных ботинках, а жена все еще дома, ждет тебя, чтоб сходить в кино.

— Е - мое! — воскликнул Сова еще раз и еще раз нашел с моей стороны полное понимание.

А эти два травмированных с детства членоплета спят в салате. Дети Арины Родионовны! Он растолкал одного из них, а тот распеленал свои дивные глазки и не узнал Сову:

— Ты кто?

— Я? — удивился Сова, и какое - то время он действительно не знал правильного ответа. — Я — никто.

— Вот и иди отсюда, — сказали ему и выперли за дверь.

Через пять минут Сова вернулся.

— Слушай, — сказал он двери, — пойдем к моей жене, скажешь ей, что я у вас ночевал.

— Да пошел ты! — возмутилась дверь.

И Сова пошел.

А в автономках Сова всегда назначал себе день рождения, чтоб получить поздравления и торт. Он подходил всегда к заму тихонько, вставал рядом со спины и говорил скромненько:

— А у меня завтра день рождения.

И зам резко оборачивался, обнаруживал Сову и смущался так, будто тот застал его за чем-то интимным и совестным, и он тут же бросался Сове руку пожимать, поздравляя его всячески, а потом мчался на камбуз, чтоб там торт организовать.

Так что Сова у нас рождался в каждой автономке независимо от времени года. И зам ни разу не проверил, когда же Сова действительно появился на свет Божий.

А еще Сова любил спать. Он спал сидя, стоя, лежа, на корточках, на карачках, стоя раком, заходишь к нему в каюту, а он стоит на койке раком, ты ему: «Сова! Сова!» — а он спит; он спал на учениях, на докладах, совещаниях, собраниях, конференциях и просто так. Он спал, когда его распекали: вгонял голову в плечи, делал глазки щелкани и тихо сопел. Он хрючил во время больших и малых приборок, на политзанятиях, политинформациях и в строю, при поворотах на месте и в движении.

Мы стояли в Полярном полгода. И жили на ПКЗ. На этом плавбезобразии. Там была плавказарма, которая, стоя у пирса, давно утонула, то есть нижняя ее часть прогнила и впустила воду, и это пешеходное корыто село на грунт. В общем, в трюме — вода, дальше — крысы, потом — матросы, а затем — наша палуба, где офицерам отвели каюты, а выше — начальство. И еще служба там правилась по всем статьям: «Для подъема флага построиться — шкафут, правый борт!» — и все это на корабле, который давно утонул. Просто «карман-соита» — как все это дело называл старпом соседей, имея в виду то положение вещей, когда человек засовывает себе руку в карман, чтобы почесать там то, что на виду обычно не чешется.

И еще командир приказал вытащить из офицерских кают все матрасы, чтоб офицеры в рабочее время не разлагались, то есть не спали бы, как киргизские сурки, то есть без задних ног. И остались в каютах только голые панцирные койки, такие колючие, что на них лечь мог только умалишенный.

Сова надевал шинель, застегивал ее на все пуговицы, на голову — шапку-ушанку с опущенными ушами и в ботинках — руки на

грудь — заваливался на голые пружины и спал.

Зайдешь, бывало, в каюту, и не по себе становишься. Сова, вытянувшись, лежит в шинели на голых пружинах, свежий как покойник. Ему поначалу даже бирку в руки совали: «Я — умер, прошу не беспокоить».

— Савенко! — кричал командир, когда его вдруг где-нибудь отлавливал. — Где вы пропадаете?

— В цехе, товарищ командир, там клапана...

— В цехе?! Ну-ну! Если узнаю, что вы спите в каюте, клитор вырву!

— Есть! — говорил Сова и поворачивался, и у него на спине — сверху и донизу — была отпечатана койка.

Он обожал надеть на себя повязку дежурного и так разгуливать по территории. Так его никто не трогал, и он никого не трогал.

Но иногда на него что-то находило, видимо, что-то конструкторское, и он, пользуясь этой повязкой, останавливал строи, заставлял их равняться, перестраиваться, назначал старшего на переходе.

Как-то стоим мы с ним на обочине — а Сова только-только из себя дежурного сделал, — а мимо прет строй воинов-строителей — немые, зачуханные, по грязи, сапоги рваные. Строй похож на пьяную сороконожку.

Сова встал по стойке «смирно», грудь выпятил, поднял лапу к уху и пролаял: «Здравствуйте, товарищи воины-строители!»

Солдаты обомлели. С ними, наверное, никто никогда не здоровался, их, скорее всего, вообще никто не замечал, никто не любил. Они сами скомандовали себе «Раз-два-левой!», взяли ножку, подравнялись, прижали руки по швам, рывком повернули головы направо и завопили: «Здравия! Желаем! Товарищ! Майор!»

Сова, все еще стоя по стойке «смирно», скосил на меня глазки и спросил:

— Саня, чего это я только что сделал? А?

— Не знаю.

— И я не знаю. Вот до чего может довести чувство стадности. Не ведаешь, что творишь.

Говорят, Сова умер. Во время погрузки ракет он уснул, и на него упала ракета. Не верю. Не мог Сова так бесславно исчезнуть. Вот увидите, войду я когда-нибудь в центральный, а он там дает оче-

редное представление.

А как ракета падает, я видел. Хлоп — и потекла. И облако белое, ядовитое от нее поднимается. И как все узрели то облачко неприятное, и как рванули все — мигом вымерло, а впереди безумной толпы бежал капитан первого ранга. Он так врезался в окружающее нашу героическую базу колючее заграждение, что проволока лопнула у него справа и слева и в грудь глубоко вошли обрывки. Он бежал, как лось рогатый, и у него во время бега работало все: руки - ноги - рот и, главное, конечно же, ноги — они у него так и мелькали, так и мелькали, создавалось даже ложное впечатление, что они у него обуты в белые чулки, а за ним неслись все остальные, на мгновение позабывшие про свой мужеский пол.

И добежали они до какой - то вонючей ямы, и бухнулись в нее с разгону все, и все разом закопались, зарылись в землю, как кроты.

Вот это были скачки! Потом каждый из участников мог запросто изобразить «Зорге на лошади» или только «его лошадь».

Не помню, чтоб за это потом награждали.

Да и чем у нас могут наградить?! Господи! Да у нас же все награды юбилейные — какие - нибудь «70 лет Вооруженных Сил» или «100 - ление» еще чего - нибудь, может быть, даже исполнения оперы «Аида» или другой оперы, Масканио (брата Пуччини), «Сельская чушь».

Вот я никогда не носил на себе эту юбилейную глупость. Да и небезопасно это — можно ляжку проколоть.

Вот была у одного ветерана орденская планка от ключицы до колена. Так его так зажали, чтоб не очень ветеранился, в общественном транспорте, что она у него расстегнулась и упала. А потом ее кто - то подобрал и воткнул ему в грудь печальную, да так здорово воткнул, что сердце насквозь проколол. Окружающие ему: «Папаша! Папаша!» С - свет небесный! А у него головенка уже отвалилась, а глаза уже видят сады райские.

Выводок блядей! Хочется воскликнуть насчет всяческих наших наград. Выводок блядей!

Нет, граждане, у меня на груди всегда красовалась только одна планочка - волкодавка, символизирующая собой одну единственную награду — медаль «Не - Помню - За - Что». Я тогда даже не интересовался, что я там в военторге приобрел, когда мне орденская планка понадобилась, просто зашел в ларек, ткнул пальцем в самую

мелкую — «эту», мне ее и выдали.

Сколько она у меня распечатывалась и падала с груди — это не сосчитать, и все время я на нее наступал, и она мне в ботинок впивалась, и хорошо, что маленькая, — насквозь его не протыкала, а то Серега Бережной по кличке «Бережной с крестинами», тот самый, что, напившись, уверял, что он — Эрнест Хемингуэй, родной внук покойного, и сделан во время кубинского кризиса, купил себе планку сразу на четыре отростка и только пришил ее на себе, как она у него через мгновение отцепилась, упала, а он на нее, конечно же, наступил и пропорол себе ступню.

Месяц потом в госпитале валялся, потому что от согревшегося в ботинке носка получил заражение голубой Эрнестовой крови. Между прочим, после этого разрешили носить шитые планки, то есть пришивать их к белью намертво.

Выводок блядей! Хочется повторить. Вот так у нас всегда, чтоб им письку на лохмотья разматало, — пока не ухлопают кого -нибудь, перемен не жди.

Вот упал у нас генерал на пирсе, поскольку он, милашка, в наших новеньких флотских тапочках на кожаной подошве, и только затылочек во все стороны в лучах восходящего солнца брызнул. И только тогда нам всем тапочки заменили: выдали те, что не скользят на вспотевшем железе, — тапочки на микропоре. А сколько до этого подводников падало, сколько их билось своими тупыми голловками или что там у нас вместо них имеется — о железо! о железо! — и никого это не волновало, а как генерал звякнулся, язви его в душу тухлую, так всем сразу и полегчало.

Велик, конечно, соблазн возвести этот случай в принцип и бить генералов, ухватив их за срань, обо что ни попадя, чтоб до перемен на Руси достучаться, но не будем мы этим пользоваться. По - моему, нехорошо это как - то. Нехорошо. Лучше мы снова вернемся к описанию пейзажа.

— Онанизм! — заявлял наш старпом, который является составной частью нашего пейзажа. — Это полезно!

И заявлял он так в переполненной кают - компании где -нибудь к середине похода. Причем посреди доклада, не поймешь к чему — все затихали, ждали, что же дальше. А он, вроде бы про себя.

— И врачи рекомендуют. Надо бы нашему доктору лекцию прочитать.

— Так доктор и так все знает, Алексей Ильич! — не выдерживал я у себя в углу, и мне тут же вставляли в нежную часть кусок подозрительной трубы, огорчали меня то есть, наказывали в приказе, а потом аккуратненько переносили все это в мою карточку взысканий - поощрений. И не было в моей карточке места живого.

Меня наказывали: «за неуважение к старшим», «за препирательство», «за систематический халатный надзор», «за спесь и несобранность», «за умничанье» и, наконец, «за постыдную лживость при объективности событий».

А зам перед проверкой штабом флота вбегал к помощнику командира в каюту и, торопливо спотыкаясь, записывал нам, командирам боевых частей, всем одно и то же взыскание: «За низкую организацию соцсоревнования во вверенном подразделении» — выговор - выговор - выговор!

И я сочувствовал этой его торопливости.

Потому что когда мне давали эту карточку на ознакомление — а вы знаете, конечно, что у нас офицера знакомят с его взысканиями, — я улучив мгновение, кинь ее в форточку, и она, заметавшись, как чумная мышь летучая, полетела, полетела, полетела — размножаться. И помощник потом все никак не мог мне доказать, что он только что мне ее вручил.

Потому что не успел я расписаться за ее получение в журнале учета ознакомлений офицерского состава со своими карточками, потому что, пока он рылся, оттаяв свой ядреный круп турецкого кастрата, хрипя в галстук под целой стопкой журналов — «инструктажа по технике безопасности», «учета воинской дисциплины», «учета бесед...» и «учета учетов» — в поисках того журнала «ознакомлений», я свою карточку уже сплавил в форточку.

— Не может быть! — говорил он потом и шарил повсюду бесознательно. — Я где - то здесь ее положил.

— Может, — говорил ему я и смотрел нагло.

Про - мис - куи - тет, одним словом, про - мис - куи - тет! И обширная, систематическая пронация с помощью пронатора.

Я как - то сказал все эти слова, пытаясь с помощью их очень сдержанно, в строгих меланхолических тонах описать всю нашу флотскую жизнь, но меня никто не понял.

Все смотрели на меня и будто приноживались, будто я по старинному обычаю венецианок между щечками ягодиц раздавил ам -

пулу с духами и теперь они в непонятном томлении старательно постигают природу столь дивного аромата.

А у зама даже носик вытянулся, и вся его мордочка сделалась такой светливо тонкой, щетинистой — ну, точь - в - точь как у опоссума, прове-ряющего свежесть утиных лиц — такая недалекая - недалекая — видимо, оценивал он те слова на правильность политического звучания.

Но столь хрупкая его изостация (изосрация, так и хочется ляп - нуть) была совершенно подавлена и опоганена нашим старпомом.

— Химик, еб - т! — сказал он.

Наш старпом, кроме как «мандавошка — это особый вид ба - бочки без крыльев», ничего же поучительного сказать не может. И еще он много чего сказал, но я это все усвоил только на треть, потому что смотрел ему на мочку уха.

Этому фокусу меня научил Саня Гудинов, с которым мы столько прожили, что если собрать все это вместе, то получится огромный холм, состоящий из людей и событий, воспоминаний и восклица - ний, рапортов, объяснительных и проскрипционных списков.

А фокус состоял в следующем: нужно при распекании тебя на - чальством смотреть собеседнику на мочку уха. Начальство это не выдерживает, оно невольно начинает ловить твой взгляд и забывает совершенно то, о чем оно с тобой разговаривало.

Эх, Саня, Саня!

Мы с ним пять лет жрали из одного котла всякую малопонятную дрянь и спали, не раздеваясь, на одной походной несдвигаемой кровати, где кроме нас поместились бы все сказки Гауфа, и все мы в сравнении с нею были дюймовочками и нуждались в родительском утешении.

А родителями в тот период нашей с ним биографии у нас была группа командования. Это к ней, чуть чего, следовало обра - щаться за утешениями.

— Пойду выпью со сволочами, — говорил о них Саня и от - правлялся пить, празднуя то ли проводы очередного нашего зама, то ли пома, то ли старпома. И, напившись, они мирились, и старпом вел Саню к себе допивать.

— Глафира! — внутренне ликуя, говорил старпом жене, кото - рую вообще - то звали Марией, когда дверь открывалась. — Уч - ти! Мы с другом!

И «Глафира» учитывала. То есть я хотел сказать, что после

этого происходило нечто необъяснимое: его жена, ростом чуть выше веника или травы полуденной, выражаясь эзотерическим образом, стоящая в дверном проеме руки в боки, вдруг выбрасывала одну руку далеко вперед и сгребала старпома полностью в горсть — ему словно ядро между лопаток попадало; после чего она зашвыривала его в комнату — а он еще ножками так ловко сам себе наподдавал по жопке в этом перелете, что просто детское умиление порождал, — потом дверь с треском захлопывалась.

Саню я обнаруживал наутро во второй нашей комнате — он клубочком лежал на полу.

В этой комнате у нас хранилась политическая литература: откровение ведущих политических авторов и прочее проституирование в виде газет и журналов.

Дело в том, что Саня выписывал себе кучу обязательной литературы: «Красную звезду», «Квадратный полумесяц» и другие чудеса. И все это, не читая, мы годами складывали в этой комнате. Так вот: если правильно расположить вдоль стенки все эти отпечатанные мысли и потоки сознания, то на них можно было даже ночевать при отсутствии кроватей, что мы и делали, помявшись у нас в жопу пьяные гости: мы правильно располагали авторов, чтобы они с прыжка не развалились, потом за руки за ноги — «раз! два! три!!!» — закидывали на них гостей, оборачивая все это предварительно полиэтиленом на тот случай, если поутру они спросонок, не доходя до унитаза, будут ссать друг на друга вперемежку.

Но в этот раз, видимо, Сане пришлось туго, потому что он-таки не дошел ни до постели, ни до политических авторов. Я его поднял и потащил к кровати, а он только чуть-чуть в себя пришел, только почувствовал, куда я его перемещаю, как сразу же уперся: «Нет, — говорит, — пусть тут зам ляжет, а я — с краешку».

Так и не лег на кровать. А еще говорят, Саня не любит замов. Данный случай свидетельствует, что любит, и до этой любви, если сильно набубениться, можно докопаться.

Видимо, после того как Саню от старпома выставили, он вдоль озера здорово нагулялся и совершенно потерял ориентацию: пришел и рухнул среди журналов и статей.

Саня, когда крепенько выпьет, всегда гулять отправляется. Если

он вам скажет. «Я пошел гулять», — значит, он уже готов к повреждениям, и выпускать его не стоит.

Хотя внешне это на нем никак не отражается и заметить надвигающуюся прогулку можно только по косвенным признакам. Например, он вдруг открывает холодильник и начинает из него выгружать на стол все банки и тут же их вскрывает, приговаривая: «Это изумительные, восхитительные люди», — имея в виду тех людей, которым он собирается скормить все эти консервированные прелести.

Однажды он таким образом уничтожил всю замовскую икру. В нашем холодильнике наш новый заместитель — Клопан Клопаных, как мы его окрестили, — хранил свою икру. Не ту, конечно, икру, которую он лично отметал, а ту, которую нам после автономки выдавали. Просто квартиру ему еще не предоставили, и холодильника у него не было, вот он у нас свою икру и пристроил.

Он раньше на Черноморском флоте мучился, а там «икорку» — как он изволил выразиться — не выдавали, а у нас выдавали, и он этому обстоятельству жутко обрадовался. Да мы и сами предложили: мол, у вас на ПКЗ все равно сопрут, давайте к нам. Вот ее - то Саня и скормил «изумительным» людям.

Потом он, правда, подошел и сообщил эту трепещущую новость нашему новому заместителю, лимон ему в задницу. Икнул, потом основательно и глубоко рыгнул и сообщил.

Саня, когда смущается, всегда сначала икает, а потом уже глупо и убедительно рыгает. В общем, проделал он все эти упражнения со ртом и с желудком, говоря:

— Александр Александрович! (Фу - х!) Я вашу (мать) икру - то... съел!

И вы знаете, немедленно запахло наигравшейся гориллой. Этот наш новый зам в разные периоды своей жизни у нас пах по - разному: при волнении — наигравшейся гориллой, при огорчении — побеспокоенными клопами, а в случае опасности — духами и жасмином.

Так что если рядом с замом запахло духами, значит, жизни нашей что - то угрожает. У замов просто чутье поразительное на это дело, чуют они, трякомуды печальные, когда их жизнь в опасности, а этот наш недоносок — в особенности.

И еще у него уши оттопыривались, когда он был вне себя, и тогда, когда Саня ему эту новость сообщил, они тоже у него ото -

шли от головы на значительное расстояние, а затем на лице его сейчас же сделалось выражение, будто пришла свинья и съела всех его детей, с него просто картину можно было писать: Рубенс «Хавронья и младенцы».

Потом он пожевал впустую воздух — он всегда жевал так воздух, когда собирался сообщить нечто значительное, — и...

— Александр Евгеньевич! — пауза, во время которой зам слегка, как кляча на солнце, качает головой. — Но у меня ведь дети!

Надо вам сказать, что Саня (консервированные слоны тети Глаши!) вообще - то сначала слабо понимал, какое отношение имеют дети к замовской икре. Оказывается, у зама много детей, оказывается, их у него — вертеп едучий, и еще оказалось, что по ночам, оставшись один на один с верблюжьим одеялом в вонючей каюте на пароходе, зам мечтал, как он вскроет банку и собственноручно ложкой вложит каждому своему грызенышу в рот по икринке.

Пришлось за корабельный спирт доставать заму эту икру — а что делать! — и еще кое-какие консервы, которые Саня вместо детей съел вместе с «воспитательными» людьми.

Протознурия!

Я когда вспоминаю этого нашего зама, мне всегда приходит в голову именно это слово; сначала, правда, ахинея какая - то, удивительная в своей прозрачности, лезет в голову, а потом — оно. И еще приходит слово — «прострация», и еще — «проплиопитеку».

Проплиопитеками кто - то назвал наших матросов, которые при сдаче всем экипажем перед походом анализа мочи плевали заму в миску, отчего у него всякий раз обнаруживали в моче белок (хотя белок может быть в моче у замов, я считаю, просто от трусости перед автономкой).

А белок в моче, ребята, официально обнаруженный, — это и есть протознурия, что само по себе есть — заболевание почек, лихорадка, половая недостаточность и прочая глобальная зараза.

И как только такой никудышный замовский анализ становился достоянием гласности, зам немедленно впадал в пространственную прострацию на несколько дней, а доктор - идиот по триста раз гонял его на повторную сдачу той внутренней жидкости, недержание которой с трудом можно отнести к признакам богатырского здоровья, и недержание с ним случалось всякий раз, когда доктор все ему объяс -

нял про протознурию, но положительное звено состояло в том, что док ни под каким видом не гасил в нем луч надежды.

И зам каждое утро, проснувшись с надеждой или только с ее лучом, не срамши, не жрамши, не опорожнивши себя, мчится в поликлинику, и каждый день его надежда не подтверждалась, потому что матросиков у нас много, и все они негодяи, и все они успевали плюнуть заму в тот скромный половничек, что он в банку нацедил, отчего потом зам при получении в руки анализа заводил при док-торе такую псалмодию, что становится просто неудобно за его мировоззрение и идеи.

Оказывается, он совершенно был не готов к самопожертвованию, хотя, конечно, все где-то даже подозревали, что так оно и есть и наш заместитель ведет себя как блядь последняя, то есть как всякий зам на краю гибели, то есть как очумевшая колхозная баба, севшая жопой на противотанковую мину.

А от глевого пожара он вообще в отсеке носился по проходу, как молодая коза, бляял, душистый, сочась фекалиями веретенообразно (то есть ссаклами жидкими исходя совершенно на нет), опрокидывая моряков, которые бросались к нему, ссущему, наперерез, чтоб помочь осознать себя.

Ибо!

Нет такого пожара, чтоб не нашлось у тебя пары секунд, во время истечения которых можно было бы поправить себе галстук и кое-что на рожке и в душе.

И если уж вырвало клапан на пятнадцать кило по забортной воде на глубине четырехста метров, если улетел он, как снаряд, и в кого-то по дороге врезался так, что и смотреть потом на беднягу не хочется, так будь же ты человеком, сукин ты кот, потому что ты все же заместитель командира, а не дерьмо собачье и смотрят на тебя, паскуна, десятки глаз и ждут, когда ты скамандуешь: «Аварийная тревога! Поступление забортной воды в отсек!» — и, может быть, даже возглавишь борьбу за живучесть.

Конечно, найдется кому все это сделать и без тебя, но тогда хоть не сразу превращайся в вез-де-с-су-щее существо наиподлейшего вида, а если и случилось с тобой такое, то уж будь любезен, как только с аварией справятся, возьми на выбор или серп, или молот и отхвати себе тот постыдный кусочек, тот сраный окраинок, обтянутый кожей, тот вялопровод трясуций, который в результате

воспитания оставили тебе вышестоящие органы.

И будет это называться — «замовское хакакири».

Хотя кажется мне, что до хакакири нашим замам еще расти и расти.

Не будут они его делать ни при каких обстоятельствах.

Потому что ущербны они. Прищипнуты, как мы уже выше говорили, на манер восточного обрезания. Клиртованы (а клиртование — это когда клитор последовательно удаляют всему гарему: от клитора к клитору, от клитора к клитору).

Безусловно, и на этот раз все мои размышления метафизичны, вероятнее всего, полностью и приложимы не к замовской конечной плоти, а скорее к его уму, чести и достоинству.

Кстати, весь предыдущий пассаж, посвященный заму, его члену и его мировоззрению, целиком относится и к командирам, старпомам, помам и прочая, прочая.

И пусть выражение «береги член смолоду», принадлежащее нашему корабельному доктору, сослужит им в деле повышения уровня нашей боевитости свою посильную службу.

О нашем докторе здесь тоже можно порассказать.

Конечно, у нас доктором на корабле был не тот орел, который в автономке сам себе вырезал аппендицит, чем привел все командование в изумление, а потом и в состояние слабой истерии, вялого шока, мелкой комы, тихой рефлексии и многих сделанных интровертами (перевертышами то есть, в смысле всяких безобразий). После чего его с корабля убрали, наградив за доблесть орденом Красной Звезды. Правда, потом у него все подряд спрашивали: «Толя! Если уж ты вырвал сам себе аппендицит, то где же он?», — на что он обстоятельно отвечал, что аппендицит он положил в банку со спиртом в качестве вещественного доказательства, но крысы (я так и знал, что в дело замешаются крысы) проникли в банку (поди ж ты), выпили спирт (экие бестии) и червячком закусили. А ему опять говорили: «Толя! Ты бы хоть сфотографировал его на память для зренья», — на что он отвечал, что фотографирование он производил с помощью матроса, но фотографии получились только до входа в брюшину, а потом у матроса пленка кончилась. И еще его долго расспрашивали всякие дотошные негодяи, которых на корабле и вокруг него всегда много бродит и которым всегда интересно узнать, как же

это люди в мирное время ордена зарабатывают, вследствие чего он стал ужасно нервным и в дальнейшем, когда рядом с ним заговаривали об аппендиците, всегда вздрагивал и внутренне выл, поскребывая себя визуально и мысленно в нескромных местах.

Нет, конечно! Таких врачей, которые себе чего-нибудь с удивительным проворством во время службы отхватили, у нас не было.

Вот другим что-нибудь оттяпать — это пожалуйста.

Был у нас врач Петя, который, спасая командира БЧ-5 то ли от перитонита, то ли от гангрены, то ли еще от чего-то позорного, вместе с гниющей частью от восторга и облегчения, что так у него все здорово получилось, ему яйца оторвал.

И никто этого не заметил, а когда наконец заметили, то решили: ну зачем бэзцепятому яйца, ему главное — жизнь сохранили, чтоб он по-прежнему был командиром БЧ-5, — да и сам пострадавший сколько раз подходил к нему, улыбаясь, брал его руки в свои и вроде бы покачивал их, улыбаясь, и говорил высоким голосом: «Ну зачем мне яйца?! Главное — жизнь!» — на благо Отечества, хочется добавить, и замполиты так считают.

И был у нас врач Федя, который обожал раскроить какой-нибудь прыщик у матроса и сделать из него незаживающую рваную рану и который ходил за замом, как тундровый охотник за червивым оленем, и уговаривал его произвести операцию по удалению кисты, которая давным-давно должна была у зама появиться, судя по тем записям, что оставил ему его предшественник.

И был у нас врач Леха, которого я столько раз просил:

— Леха! Излечи от укачивания. Меня ни одна зараза не хочет излечивать. Я буду всюду за тобой ползать. Подползать и целовать в неосвященных проходах.

А Леха отговаривался, мол, «морская болезнь... вестибулярный аппарат... неисследованная часть мозга». А однажды так качало, что все лежали вперемешку с потрохами, а лодка выписывала бешеную восьмерку — вверх, вправо, потом висает и, набирая скорость вниз, влево — ужас кромешный, вжимает в пол так, что в глазах темно.

Как я до него добрался — не помню. Вползаю:

— Леха! Подышаю...

А он мне:

— На. Цистамин, противорвотное.

Только я глотаю эту дрянь, как лодка деревенеет где-то там

наверху, и мне на мгновение становится лучше.

— Хорошо, — говорю, — очень хорошо...

— Неужели сразу помогло?

— Как рукой.

— Ты смотри, как быстро действует.

И тут она пошла вниз.

Дворняжка! Сомлей в углу и уйми там свое нечистое дыхание. Именно так я отвечаю тем, кто начинает учить меня, как справляться с укачиванием. Яйца на очи, как говорят в солнечной Болгарии. «Яйца на очи!» Меня так вдавило в кушетку, и я так высоко плюнул, что цистамин мигом был в потолке, а я — в собственном дерьме зеленом.

— Интересная реакция организма! — говорит Леха и сует мне в нос вату с нашатырем. Миллион иголок попадает в нос, в мозг, а потом глаза вылезли, как пьяные улитки из домиков, и, перед тем как опстекленеть, внимательно посмотрели на Леху. Именно так смотрели экспериментальные собаки на академика Павлова.

— Интересная реакция организма! — Леха где-то там, на поверхности сознания, и мне его не достать. — А что если нам попробовать амилнитрат?!

После этой дряни остатки воздуха в легких улетучились сами, а глаза, про которые я уже сказал, что они выкатились на значительное расстояние, вылезли еще дальше, а тело задергалось так, будто оно веревку рождает. Секунда — и сдохну.

Пропадает амилнитрат — появляется воздух, мысль и Леха.

— Интересная реакция организма! — говорит Леха. — А что если нам попробовать этот... ну как его... этот... — Леха щелкает пальцами в поисках нужного слова, — этот ну как его...

— Леха!!! — хриплю я в ужасе.

— А?

— Ле - ха!!!

— А?

— Хуй на! — и после этого я выпадаю с кушетки на пол и на четвереньках, так меньше беспокоит, как раненный в жопу ящер, выползаю из амбулатории.

Чтоб этого Леху прибило когда-нибудь!

Поленом, бревном, коленчатым валом.

И чтоб у него позвоночник высыпался в трусы!

И чтоб у него на лбу вместо ожидаемой венской залупы выросла вагина принцессы Савской.

И чтоб у него там завелись тараканы, которые не давали б ему ни на минуту забытья.

И чтоб амилнитрат попробовали все его родственники и в особенности родственницы, и чтоб после этого первые стали бы активными педофилами, а вторые — педофобами, а третьи — если б они нашлись — запаршивели все!

Ох, врачи, врачи! Не было бы в вас нужды, давно бы вас истребили.

Между прочим, у Вересаева в случае холеры врачей забивали насмерть.

А у Чехова — заставляли высасывать дифтерийную пленку у ребенка. И детки потом ладошками насыпали ему могильный курган.

А врачи Куприна? Он идет и в сякоть, и в холод ночью от больного к больному, он не берет денег за лекарства, и в темноте передней ему целуют руки. А вам в темноте передней целовали когда-нибудь руки?

А Леха бинты домой воровал, сука. Сейчас живет где-нибудь, обложенный катастрофическим количеством бинтов.

Его потом перевели флагманским бригады утонувших кораблей, где кроме всего прочего он должен был еще учитывать крыс, убиваемых личным составом. Семьдесят пять крыс равнялось десяти суткам отпуска.

У него в отпуске побывала вся бригада. Они месяц подсовывали ему одну и ту же крысу.

Леха аккуратненько отмечал принесшего и крысу в специальном журнале учета, а потом она летела в иллюминатор. И тут начались чудеса: крыса не тонула, она плавала по поверхности, потому что матросики перед тем, как потащить ее к Лехе, надували ее, вставив ей тростинку в задницу.

Они ее вылавливали, сушили феном и снова тащили к Лехе, а ночевала она в бригадном холодильнике вместе с колбасой для комбрига, а комбриг потом жаловался на бурление и газоотделение.

Леха что-то неладное почувствовал только тогда, когда крыса истлела у него на руках, после чего он стал фиксировать в журнале

не крысу целиком, а только ее хвост.

Принесут ему хвост — он его зафиксирует и сам проследит, как тот утонет.

Тогда матросики в недрах этого плавающего флагманского караван - сарая завели подпольную крысоферму: отловили двух производителей, посадили их в клетку — и давай кормить, и развелось у них море крыс, среди которых велась селекционная, племенная результативная работа, в результате которой у молодняка вырастали ужасающие хвосты.

Хвосты доставались Лехе, и он их самолично топил.

Удивительно радостной и спокойной сделалась жизнь на этой бригаде. Люди трудились с утра до вечера с небывалым энтузиазмом. Люди точно знали, когда они отправятся в отпуск.

И бригада числилась самой крысоловщей. В этом показателе она всех облапошила. К ним по данному факту даже приезжала комиссия, председатель которой говорил Лехе:

— Не может быть, чтоб у вас столько ловили.

— Ну почему же, может, — говорил Леха и через рассыльного передавал: — Принесите свеженьких.

И ему немедленно доставляли пучок хвостов. И он вручал его проверяющему. Вы бы видели глаза того проверяющего. То были не глаза Ньютона, которому в голову грянуло яблоко, то были даже не глаза Карла Линнея, увлеченного своей паршивой систематизацией видов, — то были глаза стадного павиана, раньше всех обнаружившего в кустах патефон.

Так и отстали от Лехи с этими крысами. Ничего не могли с ним поделывать.

А тот доктор, что советовал всем беречь свой член, пробыл у нас совсем недолго, потому что спал со всякой блядью, в том числе и с женой такого высокого командира и начальника, что я из почтения даже выговорить его не могу, потому что только намереваясь это сделать, как во рту сейчас же будто ментол раздавили.

И со всеми своими бабами этот доктор проверял различные положения и позиции, изложенные в русских народных поговорках и поговорках.

Но когда он с той женой начальника проверил положение «солнце за щеку» и «всем вам по лбу», то она на него так окрысилась, просто неприлично, я полагаю, себя повела, что пожаловалась мужу,

и он его усладил куда - то туда, где прививки от дифтерита можно делать только моржам.

«Пидор» — это слово меня всегда взбадривает и возвращает к энергичному повествованию. И никто не говорил мне его, просто вроде бы само прозвучало, оно столько раз звучало со стороны, что почему бы ему еще раз не прозвучать, и я сейчас же вспомнил одно устное исследование, которое я провел вместе с одной моей знакомой девушкой, когда вовремя заметил в ней проснувшийся интерес к гомосексуализму. Я ей заявил, что на военном корабле нет места гомосексуализму, а потом я вдохновился, зашагал туда - сюда, остановился и изложил ей все, что я знал по данному вопросу, а также все, что я вроде бы знал, а также то, что я вовсе не знал, но мог бы знать. А в ней интерес все не пропадал и не пропадал, все распаялся и распаялся, и глаза у нее все открывались и открывались, что заставило меня еще неоднократно возвращаться к мужеложству как наисладчайшей теме нашей современности.

Я говорил долго, ярко, красочно, сочно, дополняя руками, манипулируя свободно ими и терминами. Я вдохновился так, что, казалось, не остановлюсь никогда. Я промчался по лесбиянству, геронто -, педо -, зоо - и фитофилии, как по милым тропинкам, искоженным с детства местам, и остановился, по - моему, только тогда, когда обнаружил, что говорю о задержках менструальности у норки и смене полов у домовых мышей. И остановился я только потому, что обнаружил, как собеседницу хватил кондратий.

А что делать? Нельзя у писателя настойчиво интересоваться, что он думает по тому или иному вопросу, он вам такого наговорит — рады не будете. Ведь он же писатель, он живет в мире иллюзий и проснувшихся чувств. Ну как же его можно воспринимать всерьез? И как у него можно спрашивать совета о том о сем?

— Шмара! Профура! Прошмандовка!

Вы не знаете, какое отношение ко мне лично имеют эти выражения? И я не знаю, но командование так часто ими пользовалось, что я уже думал: ну, может, внешне я им что - то напоминаю?

— Подберите свои титьки! — говорили мне на построении на подъеме Военно - морского флага нашей Родины, и я подбирал, поворачивался к своим людям и говорил:

— Слышали, что сказал старший помощник командира? Пятки вместе — носки врозь! Попку сжать и грудь вперед! Все нам в

рот! Смотреть озорней в глаза свирепой флотской действительности!

И люди меня понимали. И смотрели озорней. И правильно! (Клитор коровы вам всем на завтрак!) Во взгляде настоящего флотского офицера должна быть дуринка - смешинка - соринка - чертовинка! (Бигуди на яйцах!) И она там у него потому, что в любой обстановке он сохраняет присутствие духа.

Вот упал с пирса «уазик» комдива с двумя пьяными матросами, и утонули они тут же, и распорядительный дежурный, лейтенант, описывая полукруг, как кот с банкой на хвосте, вбегает к комдиву, сильно картавя:

— Там люди... с пирса... утонули!..

— Лейтенант! — говорит комдив. — Выйдите и зайдите как положено.

Лейтенант вышел, зашел и говорит отрывисто, потому что губы пляшут:

— Люди! Утонули! Товарищ! Комдив!

— Последний раз говорю: выйдите и зайдите как положено!

Лейтенант вышел и зашел как положено (стук в дверь: «Разрешите?» — «Да - да»):

— Товарищ адмирал! (Руки по швам. «Разрешите доложить? Распорядительный дежурный такой - то».) С пирса упала ваша машина! Два шофера утонули!

После этого адмирал — будто только этого и ждал — вскочил и заорал:

— Так! Какого ж хуя ты молчишь? (Енот твою мать!)

Вот оно!

Великую оздоровительную силу русского мата нельзя разменивать по мелочам!

— Так, старпом! — говорит командир на совещании. — И последнее. На корабле много мата! Мат прекратить! Развернуть работу!

Старпом, который слушал мат еще через мамину плаценту, а потому был в этом деле не последний человек, настоящий специалист и ценитель, вначале выглядит смущенным, но потом делает себе озабоченное лицо и говорит:

— И начать, я считаю, нужно с офицеров, товарищ командир!

— И начните! — Поворачивается к замполиту: — И вам, Антон Себастьяныч, тут непаханое поле деятельности. Всех блядей к ногтю! (Увидел замовское удивление.) Кстати, «блядь» — литературное слово. И если я говорю офицеру, что он блядь, значит, так оно и есть. И офицер должен работать, искореняя этот недостаток.

А через пять минут старпом со стапель - палубы уже кричит матросу, полусонному дурню, который наверху шагнул мимо ограждений и покотился - покотился и если не зацепится за что -нибудь сейчас, то лягнется с высоты семнадцати метров.

— Прособаченный карась! Ты куда, блядь паскудная, пополз?! Когтями! Когтями цепляйся, кака синяя!

И матрос (кака синяя) цепляется за что - то когтями.

А без мата как бы он зацепился? Как бы он собрал свою волю в кулак и почувствовал, что жизнь прекрасна? Как бы он вспомнил о Родине, о долге, о личной ответственности за каждого?

Этот старпом прослужил на корабле двадцать лет, а потом как - то очень быстро собрался в один день и списался с плавсостава с диагнозом — «мгновенная потеря памяти». Правда, врачи ему сначала сказали, что с такими штуками, как «тараканы в голове», «моментальное размягчение ума», «временная глупость», «взрывы в кишечнике» и «что - то гнусное внутри», они не списывают, но он предоставил какие - то послеродовые метрики, где было написано, что еще при рождении «стрельцом» он вышел у мамы боком.

— А как же вы на флот попали? — спросили его, и он заявил, что проник через форточку и затер пальцем то место, где было описано его детство.

После чего его уволили в запас, взяв у него на всякий случай пункцию спинного мозга, и теперь у него при ходьбе не только память, но и ноги отстегиваются, и голос у него стал такой певучий - певучий, истинное кантабиле получается при разговоре, слово кабальеро, никак не остановить.

Просто — член на планширь!

Я считаю, что именно так эту ситуацию и можно прокомментировать: член на планширь!

Так командовал нам капитан первого ранга Сыромятин, когда мы — молодые, в пушке, с зеленью на ушах, первокурсники — про-

ходили шлюпочную практику.

— Всем член на планширь с правого борта! — командовал он нам, когда мы, сидя в шлюпке в десяти метрах от берега, отвечали ему устройство шестивесельного яла и тут кто-то не выдержал его громового голоса и писать попросился.

И все вытащили тогда свои члены и положили их с правого борта. И вдруг он истошным голосом, сжимая кулаки и наклоняясь от усердия, как заорет:

— Всем с - сссать!!! — и все сейчас же ссут сидя и ты, ссуший так же, как и все, неторопливо замечаешь, что у кого-то член с родинкой, у кого-то — в пятнышках и в таких трогательных мелких пупырышках, а раньше ты этого не замечал; а в пятнадцати метрах — пляж с людьми. А если кто замешкался с ответом или устройства шлюпки не помнит, то он ему: «Пешком из шлюпки марш!» — и он в одежде в воду — бух! — и бредет к берегу.

Говорят, этого бешеного капитана первого ранга представили когда-то к «герою Советского Союза» и к званию «адмирал», но когда он прикатил в то место, где у нас все это вручают, то вошел в помещение вразвалочку, а ему сказали: «Выйдите и войдите за наградами как подобает». И тогда он повернулся и врубил такой строевой шаг, что люстра жалобно затренькала, а, выходя, он еще дверью шлепнул так, что все ковры побелкой запорошил, и больше ни за наградой, ни за званием не явился, а отправился в ближайшую пивную горло промочить, там его в конце дня и обнаружили, и получил он тогда назначение не в «герои» и не в «адмиралы», а к нам в училище, на шлюпочную практику.

Вот в присутствии каких людей, положив свой член на планширь, в окружении друзей, пузырясь от страха через жопу, я ссал с правого борта.

А вокруг — солнце, тишина и безмятежное море, совершенно недоуревающее о растущей мощи нашего родного военно-морского флота и его великом грядущем, в котором я лично совершенно убежден неоднократно, и даже очень.

А мне еще говорят, что я не люблю флот.

Дорогие мои сифилитики, импотенты ума, прямолинейно пуштоловые! Флот — это я. Я на нем полжизни прожил. И как же я могу не любить самого себя?!

Да я себя обожаю, идиоты. И с этого момента присваиваю себе титул — «Дивный»!

Да - а - а...

А флот так и стоит перед глазами...

— Пиз - ззда с ушами! Просто пиз - ззда! — говорит командир на пирсе в окружении офицеров, и это — исчерпывающая характеристика его подчиненного.

А вот и стихи:

Пошто! Моей мечте вы уши обкорнали!

Пошто! Взашею мне шлепков наклали!

Пошто! Я молодой от вас в тавот попал!

Их читает Мишка Таташкин по кличке Крокодил. Он сочиняет их на ходу, и поскольку мы ходим много, то этих нескладушек у него — полным - полно. Например, идет он рядом со мной и бредит: «Сосу сосал сосед сосил», — это он рифму подбирает, или: «Гиська уютно - уютно лежало, дерево рядом тихонько дрожало», — и читает он их нам на построении на ухо, когда стоит во второй шеренге. Когда надоест — поворачиваешься к нему и говоришь:

— Мишка! Едремь! Ты знаешь слово «эдикт»?

— Знаю. Это по - римски «выражение».

— Это по - русски — «э - ди - к - ты»!

А рядом уже обсуждается старпом:

— Наш старпом всегда так противно визжит.

— И воняет.

— И в желаниях своих, я вам должен доложить, он мелок, как писька попугая.

— Из ужасов половой жизни хотите? Ночью снится мне что - то невыносимо белое. А я же любопытный. Пододвигаюсь поближе, тянусь, окликаю, а это рука, безжизненно торчащая из белоснежной жопы. И только я придвинулся к ней, еще ничего до конца не осознавший, а она меня — хват! — и стала обнимать. Чуть ежа не родил!

А вот еще:

— С утра руки чесались сделать что - нибудь для Отечества!
Купил японский веер.

— Зачем?

— Трихомонады отгонять!

— Эх! Наковырять бы козявок!

— И засунуть бы их заму в рот!

— После чего в воздухе разольется мягкий запах мяты и детской прелести.

— Из-за вас я совершенно не слышу старпома.

— А на хрена он...

— Тише! Я тоже не слышу. Сейчас выбью серные пробки из ушей и приспособлю их под его чарующие звуки.

— А я при разговоре с командиром чувствую все время, как спина прогибается и зад отключивается, а в глазах — любовь - любовь и желание совершить то, совершить это, доложить об этом, об том...

— Вчера старпом послал меня на стройку кафель для гальюна воровать. За мной два часа майор с лопатой гонялся.

— Догнал!

— Куда ему, пьяненькому!

Эх, вторая шеренга. Вот когда я умру, то пусть мое эфирное тело на прощанье отправится на пирс и послушает, о чем говорят офицеры во второй шеренге.

А пирс выкрашен суриком, красный и с утра в росе, и солнце только что встало, и солки вокруг, и ты словно в чаше, маленькая соринка, и тихо, и ветерок ладошками гладит по щеке. Это он балует. А глаза закроешь — и сейчас же увидишь траву. Зеленую.

А хорошо лежать в той траве. Только нужно обязательно лечь на подстилку, а то трава, даже самая мягкая, кусается, колется. А сколько в ней различных красивых побегов и стеблей. Нужно только придвинуться, чтоб рассмотреть.

Вот мягкий тысячелистник, вот — скромница ромашка, а вот еще что - то, названия, конечно, не знаю, но, наверное, это ятрышник, северная орхидея. Очень капризный. Ни за что не вырастет на грядке, потому что наши руки для него слишком грубы и бесцеремонны.

А сколько всякой живности бродит по листьям: и задумчивая тля, и всякие там нагруженные заботами кобылки, и, конечно же, пауки.

А вот и пчелы прилетели. Осмотрели, нет ли чего, погудели - полетели.

А пауки очень пугаются, если их взять на руку, — тут же хотят улизнуть, а рядом на камешке давно уже лежит ящерка, а заметить

ее можно только по брюшку, которое раздувается и опадает — вдох - выдох.

А если перевернуться на спину, то на тебя сейчас же надвинется небо. Навалится. Синее. И кажется, это оно специально придавило тебя к земле. Уж очень густой у него цвет. Кажется, оно говорит: «Лежи не двигайся, иначе ты все сломаешь».

И я лежу. Без мыслей и, главное, без тревог.

МОРЕ, ЛЕТО ПРОХЛАДА И КАРКАЮЩИЕ ЧАЙКИ

Лодка встала в док. Конечно же, под субботу и воскресенье. Мы становимся в док не иначе как под субботу и воскресенье и не иначе как с той целью, чтоб не дать людям выходной. И списки на выход с завода не подготовили. В общем, сиди и пей. Можешь еще с перехода морем начать. Начать - то можно, только пить нечего: специально не получили на корабль спирт, чтоб его в доке весь не выпили.

Мда - а... ну, если нет спирта, тогда мы пьем чай, причем до одури. А гальюн закрыт. Только лодка встала в док (и даже не в док, а когда она еще в створе — на пути туда то есть), как на ней закрывается гальюн, чтоб на стапель - палубу не нагадили. На замок закрывается. Конечно, как говорят братья надводники: «Только покойник не ссыт в рукомойник», — но ведь все об этих наших способностях знают, и потому воды в кране нет, чтоб потом залить это дело: снята с расхода.

Мда - а... тогда приходится затерпеть, зажаться часов на восемь, пока лодка не встала на кильблоки, пока воду не спустили, пока леса на корпусе не возвели и пока лестницы не подкатили. Терпишь, терпишь — и вот... «Разрешен выход наверх!» — пулей туда по трапу, колобком до стапеля, а там уже начинается «барьерный бег»: надо перелезть через ребра жесткости, и бежишь, торопишься, задирая ножку, и перелезаешь через ребра жесткости, которые в высоту доходят до одного метра, добираешься до конца, где имеется тот самый, погружаемый вместе с доком гальюн, в котором при борку делает во время погружения великое море, но ты в него не

бежишь — исстрадался; от нетерпенья ты становишься на самый краешек дока, открытый всем ветрам, а море — вот оно, у ног, и ты — роешься, роешься, роешься у себя внутри в штанах, роешься, перетаптываешься, и находишь наконец там все, что и требовалось, и вытягиваешь (его и... — о Господи! — воешь от восторга и от ощущения жизненной теплоты).

Ночью хуже. Ночью проснулся, сгруппировался, сполз с коечки, оделся, выполз из каюты, потом через переборку нырнул, задел ее обязательно башкой, потом по трапу вверх, потом долго до стапеля и только потом уже — «барьерный бег». (Секундочку! Минуточку! Не бросайте чтение. Сейчас пойдет основная часть!)

Так вот: Юрий Полкин, командир группы дистанционного управления, стоя вместе с лодкой в доке, в четыре утра, после того как он с вечера накачался чаем, проделал все эти акробатические номера только для того, чтоб, сами понимаете, добраться до моря. Юрик добрался до моря и встал там на торце. Лето, тишь, каркающие чайки, прохлада, море и Юрик, стоящий на самом краешке. А море — вот оно, между ног, чуть не сказал. И Юрик, вот он, в общем — то там же. Стоит и спит. Он уже нашел у себя там внутри все что надо, вытянул все это на поверхность и теперь, убаюканный падением капельноструя, спит, паразит. И тут всплывает нерпа. Она всплыла так бесшумно, как может всплыть только нерпа. У ног спящего паразита Юрика. И капельноструй юриковский запросто падает нерпе в лоб. Нерпа удивляется, увидев над собой нашего Юрика, да еще в таком неожиданно хоботном варианте, и, удивившись, делает так: «Уф!» — и Юрик открывает глаза.

Надо вам сказать, что нерпа была похожа на лодочного боцмана. Поразительно была похожа: такая же коричневая, лысая, круглая и усатая, и это «уф!» — точно как у боцмана. Юрик как только увидел нерпу, похожую, как две капли, на боцмана, перед собой, да еще когда попадаешь этому боцману прямо в лоб, — так, знаете ли, чуть не выронил себя, чуть не посерел, не поседел и не потерял сознание от ужаса, ножки у него сами собой отломались, и он трахнулся задом о палубу и от слабости остался на ней сидеть, не поднимаясь.

Нерпа давно исчезла, а Юрик все сидел и сидел, а из него все лилось и лилось, и откуда бралось то, что лилось, я не знаю, но долго лилось, черт!.. А вокруг — это, как его, море, лето, прохлада и каркающие чайки.

ЛОДКА, БОЦМАН И ГАЛЬЮН

В нашем рассказе будет три действующих лица: боцман, гальюн и лодка.

Сейчас два из них дремлют в третьем, но вы увидите, как ловко мы выудим их на свет Божий.

Средиземное море; солнце в полуденной дреме; вода тиха, и прозрачна, и голуба, как в ванне с медным купоросом; водная гладь нестерпимо сверкает, штиль и воздух.

«По местам стоять к всплытию!» — и огромная лодка всплывает в сонме солнечных зайчиков.

Палуба еще улыбалась лужами, когда на ней появился боцман. Он наладил беседу, опустил ее за борт, оделся в оранжевый жилет и, зацепившись карабином, полез к своему любимому забортному заведению.

Вода где-то рядом ласкалась, и какие-то рыбки резвились. Боцман засмотрелся на рыбок. Мысли его повисли. Солнце залезло на спину и разлеглось на лопатках. В одно мгновение оно сделало свое дело: боцману стало тепло и расхотелось работать. В голове его вихрем пронеслась дикая смесь из золотого пляжа, бронзовых женских тел и холодного пива.

Слюна загустела и скисла. Боцман очнулся и с досады размашисто плюнул в Средиземное море. Рыбки бросились в стороны, и обрывки боцманской слюны зависли в волнах.

Боцман взглянул на волны, подумал и... высморкался.

Всего два тысячелетия назад такое неуважение дорого бы стоило мореходам: в те времена из моря с грохотом появлялось чудовище в бородавках и с хрустом поедало обидчиков, и как только все бывали съедены, пучина поглощала корабль.

Боцман собирался еще раз плюнуть насчет разного рода обросших суеверий, и тут... море под ним заворчал: в глубине произошло движение; мелькнуло что-то длинное, толстое — шея чудовища!

— Мама моя, — поперхнулся присевший внутри себя боцман, вылезая глазами.

Первобытный холод облил спину, кольнул поясницу, забрался между ног — да там и остался!

Заворчалась, зашевелилась кудлатая бездна; ударил гул; глаза

у боцмана вылезли вовсе. И тут уже бездна взорвалась, встала стеной, протянув свои щупальца к небу.

Разбежалась зеленая пена, и в пене, напополам с дерьмом, родился вцепившийся боцман.

«Что это было?» — спросите вы, незнакомые с флотской спецификой.

Отвечаем. Было вот что: очень сильно продули гальюн.

ЛЫСИНА, БОРОДА И СТРУЯ

Если б вы знали, что за лысина у Сергея Петровича! Чудо! И она совсем не то, что у некоторых, ну хотя бы не то, что у нашего старпома, которая вся в щербинах, болячках, родинках, кавернах, струпьях и каких-то невыразительных прыщиках.

Нет! Лысина Сергея Петровича — это нечто розовое, гладчайшее, напоминающее этим своим качеством, проще говоря, свойством, никелированную елду со спинки старинной железной кровати с ноющими пружинами, и по этой причине ее легко можно было бы отнести к инструменту, может быть даже духовому, кабы не ее теплота.

Да! Вот уж теплее места на всем его теле не нашлось бы — хоть всего его общупай, — и поэтому возможно было бы, примерившись, хорошо ли все это выглядит со стороны, поместить на нее для последующего отогревания сразу две онемевшие от непогоды девичьи ступни, находишь такие в интимнейшей близости, или четыре ладошки.

Но полно об этом! И другие части Сергея Петровича нетерпеливо дожидаются неторопливого нашего описания. Вот хоть его борода — то не клочья какие-то, нет! — то борода царя Давида, Соломона или, может быть, Дария (а может, и Клария), но только вся непременно в колечках и завитушках до середины груди. И если на голове у Сергея Петровича ни одной волосины, то борода поражает густотой и плотностью рисунка.

А уши! Видели бы вы его уши! Это даже и не уши вовсе, а я даже не знаю что. Ужас как хороши! Они у него такие нежные — просто хочется взять и оттянуть. Они немного напоминают кры-

ля новорожденного мотылька — оттого - то их и хочется сца -
пать.

А нос? Это даже несколько неприлично было бы сравнить его с
чем - то, кроме как с клювом казанского сокола, который тем и от -
личается от клювов всех остальных своих собратьев, что уж слишком
колюч и продолжителен. И если Сергей Петрович попробует язы -
ком достигнуть его самого кончика, то заодно он легко выскоблит и
каждую из имеемых в наличии ноздрей.

А в глазах Сергея Петровича — голубых, из которых один
вдруг, фу ты пропасть, раз! — и поехал куда - то в сторону, — никак
не учуять души. Разве что иногда мелькнет в них нечто вечернее,
вазаристое, то, что легко можно принять за ее проявление, — не то
интерес, не то жажда наживы.

Не зря мы заговорили здесь о наживе и об интересе, и вообще
обо всем, надо вам заметить, здесь сказано было не зря. Конечно,
сейчас - то все и развернется. Я имею в виду событие.

Правда, чтоб осветить его, нам понадобится еще описание глаз
молодого королевского дога — белого в яблоках, принадлежа -
щего вот уже восемь месяцев Сергей Петровичу. Глаза его несут
неизмеримо больше чувств, нежели глаза хозяина. Вот уж где по -
рода! Тут вам и волнение, и нетерпение, и вместе с тем смущение,
доброта и любовь, где искорками добавлены любопытство, бес -
страшие и глубокая собачья порядочность.

Все это можно прочитать в тех собачьих глазах всякий раз, как
он мочится на ковер. Он мочится, а Сергей Петрович терпеливо
ждет, когда он вырастет, чтоб начать его слушать с королевскими
самками.

А все ради нее — благородной наживы. Потому что за каж -
дого щенка дают деньги. А ему хочется денег. Много. И самок тоже
много, и все они в воображении Сергей Петровича уже выстрои -
лись до горизонта. И все они жаждут королевских кровей. И Сер -
гей Петрович тоже жаждет и начиная с месячного возраста при -
стает к своему догу — все ему кажется, что тот уже готов. И мы ему
сочуствуем, потому что, дожив до восьми месяцев, можно и вообще
потерять терпение.

И Сергей Петрович его потерял — он отправился в Мурманск,
в собачье управление, где ему тут же заметили, что напрасно он
упорхнул так далеко: в их поселке, в соседнем даже подъезде, у того

самого старпома с непривлекательной лысиной есть догиня и все прочее - прочее.

И Сергей Петрович помчался туда и немедленно вытащил старпома на случку.

И вот они уже сидят на кухне у Сергей Петровича. Жен нет, и они вволю выпивают и рассуждают о том, как надо держать суку на колене, и с какой стороны должен подходить кобель, и куда чего необходимо вставлять, чтоб получилось «в замок», и как потом нужно полчаса держать суку за задние ноги, поднимая их под потолок, а то она — от потрясения после изнасилования — может обмочиться, а это губительно для королевских кровей. Они покраснелись, они рассуждают, говорят и не могут наговориться: оказывается, там, на службе, они почти разучились о чем-нибудь говорить по-человечески, а по-человечески — это когда не надо оглядываться на звания, должности, родственников, ордена и сколько кто где прослужил, то есть можно говорить о чем попало, пусть даже о том, как вставлять «в замок», и тебя слушают, слушают, потому что ты, оказывается, человек, и всем это интересно, и все, оказывается, нормальные люди, когда они не на службе. Вот здорово, а?!

А собаки в это время заперты в комнате — пусть поворкуют, авось у них и само получится, — и вот уже один другого называет «тестем», «сватом», «своём».

— Дай я тебя поцелую! — и вот уже обе распаренные лысины, одна гладкая, другая — с изъемами, сошлись в томительном поцелуе.

Но не отправиться ли нам к собачкам? Конечно, отправиться!

— Цыпа, цыпа! — зовет догиню старпом, и они входят в комнату.

Входят и видят возмутительное спокойствие: собаки сидят каждая в своем углу и проявляют друг к другу гораздо больше равнодушия, чем их хозяйка, — есть от чего осатанеть.

И, осатанев, обе наши лысины немедленно накинулись на собак.

Та, что более ущербна, схватила догиню за тощие ляжки. Другая, неизмеримо более совершенная, принялась подтаскивать к ней дога, по дороге дроча его непрестанно.

И сейчас же у всех сделались покрасневшие лица! И руки — толстые, волосатые, потные! И глаза растарашенные! И крики:

— Давай! Вставляй! Давай! Вставляй!

И вот уже ляжки догини елозят на колене старпома, и зад ее

интеллигентно вырывается, а взгляд — светится человеческим укором.

И тут наш восьмимесячный дог, которого Сергей Петрович так долго подтягивал, настраивая, как инструмент, кончил, не дотянув до ляжек.

Видели бы вы при этом его глаза: в них было все, что мы описывали ранее.

Королевская струя ударила вверх и в первую очередь досталась великолепной бороде, запутавшись в колечках, потом — носу, по которому так славно стекать, ушам - глазам и, наконец, лысине, теплота которой давно ждала своего применения, а во вторую очередь она досталась люстре и потолку и оттуда же, оттянувшись, капнула на другую, куда более ущербную лысину.

БЕГЕМОТ

МОЖНО НАЧАТЬ ТАК:

Я стою на скале лицом к морю, и плотный войлок моих чудных волос треплет северный ветер. А вода – вот же она – у самых ног.

Плещется

Я раскидываю руки, словно пытаюсь обнять этот мир. В этот момент на меня наезжает камера, потому что меня снимают для истории.

Истории Российского флота, разумеется, потому что я уже внес кое-что в эту историю и еще – ого - го! — сколько еще внесу.

Камера продолжает наезжать.

Видно мое лицо крупным планом с раздувающимися ноздрями. "Это все мое, — говорят мои блестящие глаза, — мое, я все это охраняю".

Я продолжаю стоять с голыми руками, с непокрытой головой, с блестящими глазами на совершенно голой скале.

Камера отъезжает.

Вид сверху: я превращаюсь в точку, затем скала превращается в точку, потом залив превращается в точку, за ним – море и вся планета.

МЕТАБОЛИЗМ

Идем мы домой с боевой службы.

Отбарабанили девяносто суток, и хорош, хватит.

Пусть им дальше козлы барабанят.

Подходим к нашим полигонам, а нам радио: следовать в такой - то квадрат и так куролесить суток десять.

И все сразу же настроились на дополнительные деньги.

Но командир нам разъяснил, что к деньгам это растяжение не имеет никакого отношения, боевую службу нам засчитают по старым срокам, а это — как отдельный дополнительный выход в полигоны.

И народ заскучал.

Видя такое в населении расстройство, командир вызывает доктора и говорит: "Так, медицина! Срочно найди какого-нибудь подходящего матроса и чтоб у него сиюминутно разыгрался аппендицит. Тогда я дам радио и нас сразу в базу вернут".

И док немедленно нашел нужного матросика и сказал ему: "У тебя сиюминутно разыгрался аппендицит, но не бойся, на два дня ляжешь в госпиталь, а потом я за тобой приду".

Сказано — сделано: мы радио — нас к пирсу. А на пирсе уже дежурная машина и дежурный военрез.

Док берет бутылку спирта и к нему: "Слушай! Вот тебе спирт. У парня ничего нет. Ты поддержи его два денечка, а там и колики пройдут".

Но как только мы передаем тело, нас опять мордой в море, в тот же самый полигон, в котором мы не доходили.

Так что с ходу к мамкам попасть не получилось.

То есть ни женщин, ни денег.

То есть налицо горе.

Ну, естественно, с горя все напиваются как последние свиньи.

Корабль плывет во главе с командованием, а на нем все лежат.

Зам, катаракта его посети, ходит по кораблю, проверяет бдительность несения ходовой вахты, а его в каждом отсеке встречают трупы, застывшие в разнообразных позах, а доктор его успокаивает — мол, это все из-за свежего воздуха: произошла активизация процессов метаболизма в организме, и организм с ней не справляется, вот и спит.

Зам терпел все эти бредни до последнего. До того, пока не обнаружил начхима, лежавшего на столе на боевом посту безо всякого волнового движения, а изо рта у начхима тухлыми ручейками вытекали его личные слюни. Я вам скажу по этому поводу, что лучше уссаться в кровать по случаю собственного дня рождения.

Зам вылетел с криком: "Начхим пьян, сволочь!" — и тут уж группе командования пришлось — таки заметить, что что — то действительно на корабле происходит.

Начхима вызвали в центральный, но по дороге ему изобрели легенду, по которой последние дни ему абсолютно не могло, совершенно не спалось и он у доктора выпросил сонных таблеток, ну и, опять же, метаболизм...

— Какой, в монгольскую жопу, метаболизм?! — орал зам так, что за бортом было слышно, но все участники событий стояли на своем.

Зам орал, орал, а потом ушел в каюту и оттуда уже позвонил доктору:

— Что - то у меня голова разламывается, не могу уснуть. Дай чего -нибудь.

И доктор дал ему "чего -нибудь" ... особую наркотическую таблетку.

Зам как скушал ее, хвостатую, так сразу же упал головой в борщ, разломил тарелку и напустил слюней значительно больше, чем начхим.

И были те слюни и гуще и жирней.

— Доктора! Доктора! — орал вестовые и таскали тело заместителя туда - сюда, спотыкаясь о вскрытые банки из - под тушенки.

Доктор явился и установил, что зам спит, а слюни у него из - за таблетки.

— Ну вот видишь, — говорил ему потом командир, — и у тебя слюни пошли.

ДЕМИДЫЧ

У нас Демидыч в автономке помирал. Сорок два года. Сердце. Командир упросил его не всплывать, потому что это была наша первая автономка и возвращаться на базу ему не хотелось.

— Дотерпишь?

— Дотерплю...

И терпел. Ему не хватало кислорода, и я снаряжал ему регенерационную установку прямо в изоляторе.

— Хорошо - то как, — говорил он и дышал, дышал. — Посиди со мной.

И я садился с ним сидеть.

— Вот здесь болит.

И я массировал ему там, где болит.

— Помру, — говорил Демидыч, и я уверял его, что он дотянет.

— Ты человек хороший, вот ты мне и врешь, думаешь, я не чувствую?

А потом он мне начинал говорить, что кругом только и говорят о том, что раз я не пью, значит закладываю.

— Дураки, конечно, но ты смотри, они ведь подкатывать под тебя будут, чтоб действительно всех закладывал, ну ты знаешь, о ком я. Грязь это, Саня, какая это грязь. А ты... в общем, дай я тебя поцелую, чтоб у тебя все было хорошо... Вот и хорошо... хорошо...

И он, поцеловав меня в щеку, отворачивался.

Тяжело было к нему ходить. Если я не приходил несколько дней, Демидыч всем жаловался:

— Химик ко мне не ходит...

"Ой вы, горы дорогие, леса разлюбезные, дали синие, ветры злые..." — как я где-то читал.

Я тогда читал всякую муть, потому что ничего особенного читать не позволялось.

А Демидыча хоронили уже на земле.

Дотянул.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Между прочим, один мой знакомый вышел на пенсию, в запас, и, стоя перед зеркалом с утра, решил, как водится, прыщик себе выдавить.

Выдавил прыщик с видимым удовольствием, угорь рядом с ним прихватил, ухмыльнулся, подмигнул себе и крикнул, а вечером помер от непонятной болезни.

Говорят, причиной столь мощного недомогания послужил тот самый прыщик, появившийся у него незадолго до выхода в запас.

А друзья на поминках вспоминали его по-разному, все больше с любовью, неизменно добавляя "Ничего себе туй на лбу выдавил!"

И пенсия его пропала.

Вся отошла стране любимой, потому что до этого момента он как раз с женой развелся и поделил белье и чемоданы, а жена проговорила потом восстановить свое отношение к его пенсии, собственно

говоря, задним числом, но ничего у нее, по - моему, не получилось.

ВАЛЕРА

Валеру все время пытались убить. И не то чтобы это были люди — нет, скорее всего, так складывались обстоятельства.

Можно сказать, судьба, взяв в руки молоток, ходила за ним по пяткам.

То он упадет с крыши двухэтажного дома в крыжовник, то полезет на старую березу за опятами, которых и без того вокруг на пнях сколько угодно, а потом сорвется с нее, да как гакнется задом о бревно, да так и останется в таком положении на некоторое время.

И все - то судьбе не удавалось уложить его на досочку, сделать по бокам бордюрики и прикрыть всю эту красоту сверху крышечкой.

Валера из всех испытаний выходил с улыбочкой гуимплена на устах сахарных. А в море, когда они всплыли перед носом американского авианосца, выходящего из базы Якасука — каково название, — их тут же одело жопкой на морду этому носорогу.

Винт вместе с гребным валом мигом вошел внутрь прочного корпуса, и образовалась дыра, в которую и трамвай безболезненно влезет.

А Валера в это время как раз наклонился, чтобы подобрать что - то с палубы, и вал с винтом прошли у него над головой.

Хорошо еще, что авианосец какое - то время нес нашу букашку на себе, а то б утонули, волосатой конечности дети, не приходя в сознание, тем более что на всем корабле все, что могло летать, летало какое - то время, а потом свет померк.

Но, слава Богу, пришли в себя, задрали попку или что там у них осталось так, чтобы вода не сильно внутрь захлестывала. Приподнялись, утопив свой нос, изогнули спинку, как жуки пустыни перед метанием зловонной жидкости, и в таком исключительном положении дали радио, что, мол, случилось тут нечто этакое каверзное, может быть даже небольшое повреждение суставов, но думаем, что сумеем все ликвидировать сами и даже сможем своими силами добраться до базы.

А авианосец развернулся и пошел назад делать себе пласти -

ческую операцию.

Он пытался, конечно, предложить нашим свои услуги, но от мощи заклятого врага тут же отказались. Можно сказать, с энтузиазмом и возмущением отвергли.

И пошли они в базу сами.

Мать моя родила своевременно! Двое суток их носило по волнам без света, без пищи и с такой дырой в упомянутой заднице, что дрожь промежность пробирает, потому что вибрируют волоса.

А они все страшились доложить, что, мол, ничего не придумывается, люди, помогите. Наконец преодолели они этокое свое природное смущение и полетело на далекую родину короткое сообщение о том, что утонем же скоро, едрит твою мать, дети звезды.

И немедленно, на всех порах, рывками, всех свободных от вахта туда.

Туда, чтоб вас вспучило дохлыми раками! На помощь!

И довели бродяг за ноздрю до родного причала.

Только один Валера сошел на берег со счастливой улыбкой, и сказал он тогда фразу, не совсем, может быть, понятную окружающим: "Ну все, суки, теперь - то уж точно на берег спишут!"

И он был прав.

После этого всех списали на берег.

ПЕРЕСЧЕТ ЗУБОВ

Если тихонько подняться по ступенькам трапа со средней палубы, можно незаметненько заглянуть в центральный и посмотреть, что там происходит.

В середине центрального в кресле с огромной спинкой сидит старпом. Старпом спит. Он как только садится в кресло — немедленно засыпает.

Интересно, почему старпом спит на вахте?

Отвечаем: он спит, потому что здесь единственное место на корабле, где он не ощущает тревоги, тут он уверен в себе, в окружающих людях и механизмах, поэтому сел, дернулся два раза и отключился, и рот у него открывается так, что можно при желании пересчитать все его зубы — не выпали ли, все ли там, где надо.

Артюха — клоун центрального и в то же время старшина ко-

манды трюмных — регулярно это делает.

Присаживается рядом с открытым старпомовским ртом, улыбается потаенной улыбкой беременной женщины и начинает считать: "Раз, два, три, а где наш корявенький?"

Было бы неправильно сказать, если можно так выразиться, что весь центральный в восторге от этой затеи. У нее есть яростные противники и не менее жаркие почитатели.

Между ними всякий раз возникает спор: стоит ли считать старпому зубы или нет.

Некоторые утверждают, что среди серых будней автономки это делать необходимо, мол, ничего так не будоражит кровь, как чувство опасности для ближнего — а вдруг старпом захлопнет пасть, а Артоха не успеет выдернуть палец? Как он потом все объяснит?

Другие же, судя по выражению их лиц, готовы удавить Артоху и всегда пытаются это сделать, но бродяга начеку и удирает во все лопатки на свое законное место при малейшем намеке на преследование и там уже мерзко хихикает.

Все это возбуждает центральный и на какое-то время наполняет его жизнью. Особенно в ночные часы, когда кажется, что по кораблю ходят только призраки.

Вот мелькнула чья-то тень; оглянулся — нет никого.

И все так таинственно, и никак не отделаться от мысли, что за тобой наблюдают из щелей на подволоке, из-за электрощита.

Стоит еще открыть лючки в каюте, чтоб заглянуть на кабельные трассы. Они тянутся вдоль борта. Там пыль. Там прохладно, а в высоких широтах и холодно.

Скорее всего, здесь и обитают призраки.

Именно из всех этих щелей они являются по ночам в каюты и пугают людей во сне.

И еще они веселятся: усыпляют старпома в центральном и общают Артохе желание пересчитать ему все его зубы.

ИДИЛЛИЯ

В последнее время мы с америкосами очень дружим.

Я имею в виду наш противолодочный корабль и их крейсер.

Так везде и ходим вместе, как привязанные. Держим дистанцию и все такое прочее.

А то потеряешься еще, не приведи Господь, ищи потом друг друга, нервы трать.

Мы даже друг дружке издалека ручкой делаем — мол, привет, крапленье!

Идиллия в общем.

На каждого охотника по жертве.

Боевая идиллия.

Но однажды эта наша идиллия оказалась прервана самым неожиданным образом. Как - то утром раздается из каюты командира: "Гады! Боевая тревога! Торпедная атака!"

Мама моя! Все обомлели, но потом — делать нечего — бросились: "Аппараты с правого борта товсь!" — звонки, прыжки, и уже дула развернули, и уже застыли у агрегатов.

Только кое - что осталось нажать.

Такую незначительную кнопочку.

Америкосы описались. Они даже сообразить не успели: по-выскакивали на палубу кто в чем и орут: "Русские! Не надо!"

Да нам и самим не хочется. А тут еще командир из каюты чего - то не появляется, чтоб управление огнем взять целиком на себя.

Пошли на цыпочках проверить, как он там. А он стоит посреди комнаты, неумная трахома, держит у уха кружку и говорит: "Готов нанести удар по оплоту мирового империализма".

С ума сошел, представляете!

Мы тихо попками дверь прикрыли и бегом торпедеров от торпед оттаскивать.

А америкосам проорали: "Ладно, мокренькие, на сегодня прощаем!"

ПЕДИКЮР

Заму нашему никто никогда не делал педикюр.

Это не могло продолжаться до бесконечности.

Что - то должно было случиться.

И случилось: педикюр ему сделали крысы.

У нас на корвете крыс — тишкина прорва.

Они у помощника даже ботинки съели.

Те стояли у него под умывальником задумчиво задниками на ружу, и когда помощник их поправить собрался, коровий племянник, и на себя потянул, то оказалось, что только задники у него и остались.

А у старпома, который забыл яблоко в кармане кителя, они сожрали весь китель, в смысле нижнюю его часть, пройдя насквозь от кармана до кармана.

Ну, а заму сделали педикюр.

В тропиках у нас все ходят в трусах и сандалиях на босую ногу.

А у зама пятки, видимо, свисали со стоптанных сандалет и касались пола, пропитанного всякими ароматами. Особенно на камбузе, где зам любил у котлов задержаться, можно было многое на них насобирать.

Сами понимаете, зам у нас ног не моет.

А спит он у нас очень сладко.

Собственно говоря, как всякий зам.

Вот ему крысы ноги — то и помыли, а заодно и соскоблили нежно.

Он даже не проснулся.

А когда проснулся, то обнаружил, что кожа на подошвах стала тоньше папиросной бумаги и ходить больно.

Смотрим, зам выползает на верхнюю палубу в белых носках и ходит как то странно — все на цыпочках, на цыпочках.

А Вовка Драчиков как увидел это безобразие, так нам и говорит:

— Давно я мечтал, дети, чтоб наш зам сошел с ума и в безумье своем сплясал танец маленьких лебедей.

ВОТ ОНИ

Вот они — последствия полового голода.

Втиснули меня в автобус.

Меня — офицера с двумя сетками пищи и воды.

Втиснули и сжали со всех сторон.

А тут еще фуражку сзади с головы толкнули, и она полезла у меня вперед.

Ни черта не видно, и сделать ничего не могу, потому что руки

у меня внизу, вместе с сетками.

Я ее глазами, несомненно, поднимаю, а она ни в какую.

А правая рука упирается какой - то девушке в лобок, и она начинает об нее тереться.

И у меня сейчас же Герасим встал.

Я ему говорю про себя "Гера - сим! Ге - ра - сим!" — а он становится все упорней.

А впереди ощущается зад мужчины, и он чувствует, что там у меня происходит, и ерзает, ерзает, чтобы обернуться ко мне возмущенно, но ничего у него не получается.

А у меня фуражка на глазах.

Можно, конечно, ему сказать: "Мужик, это потому, что я ничего не вижу", — но это будет не вся правда.

Потому я ему шепчу: "Это не на тебя! Это не на тебя".

ДЕЖУРНОЕ ТЕЛО НА СТАРТЕ

Ах, какие у меня были бицепсы в моей лейтенантской юности, бицепсы, трицепсы, большая мужская мышца спины, и все это на месте, и все это вовремя упаковано в мануфактуру, а где надо — выпирало - вылезало - обнажалось и играло рельефно с золотистым загаром в окружающей полировке и в стеклах витрин.

Но спорт на флоте — тема печальная.

Сейчас расскажу вам две истории, в которых я выступал дежурным телом на старте, и вам все станет ясно.

История первая

Как только я попал на флот, старпом подозрительно уставился на мои выпуклости и выдал сакраментальное:

— Спортсмен, что ли?

Надо же так влет угадать! Весело:

— Так точно!

— Лучше б ты алкоголиком был. Лучше иметь двух алкоголиков, чем одного спортсмена.

— Почему, товарищ капитан второго ранга?

— Потому что я за тебя служить буду, а ты будешь на сборах ряшку отъедать. Каким видом - то хоть занимался?

— Всеми подряд.

— Уйди, — скривился старпом, — убью!

Он знал, о чем говорит. Через два часа после моего легендарного прибытия на флот меня уже отыскал врио флагманского физкультурника — временный флагманский "мускул".

— Плаваешь? — спросил он.

— Да! — ответил я.

— Только честно, а то тут один тоже сказал "да". Я его поставил на четыреста метров, так еле потом уловили с баграми. Значит, так! Будешь участвовать в офицерском многоборье, там плавание, бег полторы тысячи, стрельба и гимнастика.

— А что там по гимнастике надо делать? — Я где-то ватерполист и к гимнастике подхожу бережно.

— Да, ерунда! Перекладина, на махе вперед выход в упор в разножку, потом перехват, ну и потом по инерции, сам увидишь по ходу дела.

— А потренироваться?

— Какие тренировки? Ты же из училища, здоровый как бык! Как твоя фамилия? Записываю! Потренироваться ему нужно, хе-хе! На флоте не тренируются!

— И все?

— Что "все"?

— По гимнастике, перекладина и все?

— А-а... ну, брусья, там, через коня, по-моему, прыгнуть придется.

— А через коня как?

— Ну, ты даешь! Что, в школе никогда не прыгал?

— Прыгал, — сказал я и застеснялся и подумал: "Ну, прыгну как-нибудь там".

Проплыть я проплыл. На перекладине на махе вперед по инерции я сделал что-то такое обезьянье разухабистое, что судьи перхнулись, а один — так глубоко, что чуть не умер.

— Переходите к коню, — сказали мне хрипло, когда откашлялись, и я перешел.

Через коня перед нами прыгали совсем маленькие девочки: сальто-мортале там всякие, с поворотами, а за конем простиралось огромное зеркало, создающее иллюзию бесконечности нашего спортивного зала.

Мостик отодвинули. Я подсчитал: три метра до коня, конь — метра два будет — итого пять метров по воздуху. Ничего себе лететь!

Первым полетел волосатый грузин.

Он до прыжка все разминался, смеялся и говорил мне "генац-вали". Он разбежался как - то не по - человечески мелко, оттолкнулся от мостика, прыгнул и не долетел, и со всего размаху — зад выше головы — в разноможку, чвакнув, сел на коня.

И запрыгал по нему, и запрыгал.

Молча.

Голос у него отнялся.

Второй, видя, что произошло с первым, но уже разбежавшись не остановить, споткнулся о мостик и, падая, на подгибающихся ногах домчался до коня и протаранил его головой.

Наши офицерские старты называют почему - то веселыми.

Не знаю почему.

Потом прыгал я.

Имея перед собой два таких замечательных героических примера, я разбежался, как только мог, оттолкнулся и полетел.

Летел я так здорово, что дельтаплан в сравнении со мной выглядел бы жалким летающим кутенком.

И приземлился я очень удачно.

Прогнувшись, с целым копчиком.

— Все хорошо, — сказали мне с уважением, пораженные моим полетом, — только о козла обязательно нужно руками ударить и, раскрывшись, оттолкнуться и соскочить. Давай еще разочек.

И на всякий случай поставили на той стороне коня, куда я должен был прилететь, двух страхующих — суровых ребят, старых капитанов, с челюстями бейсболистов, чтоб я в зеркало не улетел.

Настроение у меня отличное, опять разбегаюсь — получилось еще сильнее, чем в прошлый раз, оттолкнулся, лечу и все время думаю, чтоб двумя ручонками об кончик коня шлепнуть и раскрыться, долетаю, об кончик — шлеп! — двумя ручками и, прогнувшись, приземлился, раскрылся и... стреб обоих бейсболистов.

Я остался на месте, а они улетели в зеркало, создающее иллюзию бесконечности нашего спортивного зала.

Звук от этого дела был такой, как будто хряц разгрызли. И осели они, оставляя на зеркале мутные потоки мозговой жидкости.

— А я еще на брусках могу, — сказал я в наступившей тишине, чтоб хоть как-то скрасить изображение обстановки.

— Не надо, — сказали мне, когда очнулись, — и без тебя будет кому брусья развалить, — и сняли меня с соревнования, до стрельбы из пистолета меня не допустили.

Наверное, боялись, что я им чемпионов перестреляю.

История вторая

— А вам приказываю метать на лыжи!

Это мой старпом, спешите видеть. Мысль о том, что я с юга, что там снега не бывает и что я не умею стоять на лыжах, показалась ему идиотской. То, что я спортсмен, старпома непрерывно раздражало, и тут вдруг не умею ходить на лыжах, когда приказывают ходить — саботаж!

Бежать нужно было всем экипажем. Десять километров. Сдача зимних норм ВСК. Весь экипаж собрался у Дофа, разобрал эти лыжные дрова — широчайшие лыжи "турист", — и вот тут выяснилось, что я вообще не могу стоять на лыжах.

— А что на них "уметь стоять"? Да я вам глаз выосу! Встать на лыжи, я кому сказал?! Да я тебя с дерьмом сожру!

Насчет дерьма вы можете быть абсолютно спокойны — наш старпом сожрет и не такое, а уж если отдаст приказание, то будет жать, пока лоб не треснет, в смысле, мой, конечно, а не его, у него там монолит.

— Повторите приказание!

— Есть встать на лыжи! А можно я с ними на плече пробегу, товарищ капитан второго ранга? Ну, ей-богу, не могу!

— Нет, вы послушайте его! Лейтенант разговаривает! Говорящий лейтенант! Он хочет, чтоб я рехнулся! Вы что, перегрелись? А? Пещеры принцессы Савской! Что вы мне тут вешаете яйца на забор?! Я приказал встать на лыжи!

— Есть!

— Вот так! Ты меня выведешь из себя! Я тебе... Одевай лыжи немедленно!

— Есть!

— И репетуйте, товарищ лейтенант, репетуйте команды, приучайтесь! Получили приказание — репетуйте: "Есть! Встать! На лыжи!" Встал — соответственно доложил: "Встал на лыжи!" Взял в руки палки

— доложил: "Взял палки!" Воткнул их в землю — доложил! Привыкайте, товарищ лейтенант! Вы на ф л о т е! На флоте!!! А не у мамы за пазухой, вправо от вкусной сиси!

И начал я вспоминать, как там в телевизоре у лыжников на лыжах получалось плавно.

В общем, я встал, взял, воткнул, отрепетовал, оттолкнулся, доложил и упал, ноги сами разошлись, и получился шпагат.

Ну, шпагат - то я делать тогда умел, я себе ничего там не поврал, только штаны, меня собрали, поставили и под локотки, по приказанию старпома, понесли на старт.

Несут, хохочут, потом отпустили меня, а там горка, и я с горки покатился, а навстречу — самосвал с воином - строителем из Казахстана.

Воин - строитель, он умеет ехать только прямо, свернуть он не может, его посадили за руль, где - чего - надо нажали, включили, и он поехал.

Это я знал.

Чувствую, что мы с ним непременно встретимся.

Пришлось мне падать вбок.

Подняли меня, донесли наконец до старта и поставили там.

— Ладно, Ромен Роллан, — говорит старпом, — слазь, верю.

— Не могу, — говорю, — у меня, товарищ капитан второго ранга, уже возникло чувство дистанции. Лыжи отберете — так побегу. Не могу я теперь — дрожу от нетерпенья!

— Черт с тобой! — говорит старпом. — Держись лыжни. Что такое лыжня — понимаешь? Это колея, ясно?

Я кивнул.

— Там еще флажки будут. Давай!

На десять километров отводится час, я гулял три.

Перед каждой горкой я снимал лыжи и шел в нее пешком.

Все давно уже убежали вперед, а я держался колеи, и вдруг она разошлась веером, а спросить не у кого.

Я выбрал самую жирную колею и пошел по ней.

Колея вела, вела и довела до обрыва.

Метров восемьдесят.

Внизу — залив.

А за мной увязался такой же, как и я, южанин, но какой - то безропотный: ему сказали иди — он молча встал на лыжи и пошел.

— Что делать будем? — спросил безропотный затравленно.

— Как что, прыгать будем! — и не успел я так пошутить, как он горестно вздохнул и прыгнул.

Я охнул, и мои лыжи вместе со мной сами поехали за ним в пропасть.

Как мы до земли долетели, я не знаю.

Я глаза закрыл, где - то там спружинил...

Я потом водил всех к этому обрыву и показывал, у всех слюна пересыхала.

Выбирались мы долго, тут еще пурга разыгралась. Старпом никого не распускал, пока мы не найдемся. Он посылал группы поиска и захвата, но они возвращались ни с чем. Наконец кто - то увидел нас в объездах пурги.

— Вон они! Эти козлы!

— Где? Где? — заволновался народ.

Все - таки в народе нашем не развито чувство сострадания.

Двадцать минут народ говорил про нас разные громкие слова, потом старпом всех распустил по домам и сам ушел, оставив одного замерзающего лейтенанта дожидаться нас.

Когда мы, раскрасневшиеся и свежие, подошли к Дофу, там стояло это жалкое подобие.

— Ну как дела? — спросил я его.

— Нор - маль - но, — выговорил он и тут же замерз.

О КОЗЫРЬКЕ

Только не о козырьке от фуражки, о другом козырьке.

Видели, как дерьмо замерзает в унитазе?

Наверное, не видели?

Где ж вам видеть, если вы там никогда не были.

Это бывает на севере во время великих холодов.

Правда, оно замерзает не совсем в унитазе, оно замерзает на улице, в канализации, а в унитазе оно потом скапливается, и еще оно скапливается в ванне, особенно если квартира на первом этаже, а все остальные этажи срут по - прежнему, невзирая на то, что кана -

лизация замерзла, и ты бегаешь снизу - вверх и говоришь им: не срите, а они все равно срут, и в ванне у тебя пребывает.

От этого можно свихнуться.

Я имею в виду то обстоятельство, что можно свихнуться от собственного бессилия.

У нас старпом мчался как вихрь по всем этажам и стучал во все двери, которые либо не открывали,

либо открывали и говорили, что мы, дескать, не срем,

а сами срали самым наглым образом,

и старпом прибегал и смотрел в ванну, где копилось дерьмо,

и впоследствии, от расстройства, разумеется,

он напился вусмерть и, что совсем уже непонятно,

вывалился из окна на лестнице пятого этажа.

Но упал он не вниз головой, как водится,

а в полете, с каждым метром трезвев, сообразил — головой нельзя, спиной нельзя, ногами, животом тоже нельзя — поджал ножки и грянулся задницей о козырек над парадной и сломал его совершенно.

Козырек просто вдребезги разлетелся.

И хорошо еще, что в нем было так мало цемента,

просто совсем его не было,

может быть, там все клеилось и не цементом вовсе,

а слюной мидий,

я не знаю, вполне возможно,

и еще хорошо, что в нем совершенно отсутствовала железная арматура, хотя она должна была там

быть.

Старпом только смещение двух позвонков себе заработал, а все из-за того, что дерьмо замерзло в унитазе на первом этаже.

ПО ПОВОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО РАССКАЗА

Тут недавно мне начали говорить, что все это выдумка, что, мол, не мог старпом упасть на козырек.

А я им говорю: чистая правда. Мне самому когда рассказали, что старпом двести шестнадцатой упал на козырек, я сразу же спросил "Фуражки?" — оказалось, не фуражки.

И в "скорой помощи", куда немедленно позвонили насчет того, что старпом упал на козырек, тоже спросили: "Фуражки?!" А им говорят: "Нет, не фуражки! Он упал на козырек!" — а они опять: "Фуражки!" — "Да нет же! Не фуражки! Он упал на козырек!!! — "Фуражки!!!!" — "Блядь! Да не фуражки же!!! Не фу-ра-ж-ки!!!!" — и так пятнадцать раз подряд, потому что в те мгновения от волнения никто не мог сообразить, что бывает другой козырек.

Не от фуражки.

И насчет того, что тот козырек, который не от фуражки, был сделан без арматуры, тоже были всяческие недоверчивые выражения — мол, так уж точно не бывает, а я им напомнил, как в сто пятом доме забыли один лестничный пролет вовремя вставить и потом наружную стенку ломали, а у соседей на первом этаже общую трубу канализации со всего дома вывели посреди спальни.

Она у них выходила из потолка и уходила в пол рядом с подушкой.

Пришлось им выкрасить ее в белый цвет и черную крапушку, под березку.

Два года жили рядом с Ниагарским водопадом.

И еще относительно козырька, чтоб окончательно рассеять все сомнения у Коти Лалтева, когда его назначили старшим над жилым домом в городке, в трех подъездах козырьки были, а в одном не было, и там все время в период дождей скапливалась вода, которая затем текла в подвал.

И Котьке командующий лично приказал восстановить над подъездом козырек, и, когда Котька спросил его: "Из чего мне его сделать?" — командующий ему сказал: "Из собственных утрённых испражнений".

И тогда Котя совершенно опечалился, и, видя такое его плачевное состояние, один из матросиков, в прошлом неплохой штукатур, ему предложил: "Товарищ лейтенант, да бросьте вы переживать. Вы мне найдите немного цемента и песка. Я из дранки сплету навес, привинчу его над подъездом, а потом оштукатурю. Ни одна собака не подкопается. Два года простоят, а потом это будут уже не

ваши проблемы'.

Так и сделали, и простоял тот навес ровно два года.

Потом рухнул. От скопившегося снега. На комиссию из Москвы.

Кстати, и все прочие части предыдущего рассказика также подвергались различным сомнениям.

В одном только никто не сомневался – в том, что дерьмо замерзло в унитазе.

КАЮТА

— ... а потом ты ей вдул, да?

— Ну что за выражение, Саня, яростные английские марки танки. "Вдул". Я не вдул, я пальцами, пальцами открыл для себя нежнейшую область, в которой сейчас же обнаружил томительнейшую, стыдливейшую сырость, куда точнейшими ударами и направил своего Гаврюшу.

— А..

— Да, и никак иначе.

Мы с Саней Юркиным лежим в каюте. Она на верхней полке, я на нижней. Уже тридцатые сутки автономки, и я рассказываю ему о бабах

— Она была тигрица. Клеопатра. Она меня царапала, кусала, сосала, лизала, как конфету. Она брала мое лицо и с силой водила им по груди, по груди, животу и ниже, заталкивала меня носом в пах, а потом возвращала меня наверх, хватала губами мои губы, а языком... что только она не делала своим языком... Она задыхалась. Ее сердце птичкой колотилось в маленьком тельце, и я слышал этот ужасный, сумасшедший бой. Спутанные, мокрые копыта мелких кудрей, влажные, скользкие груди, пахнущие свежим сеном, жаркое опустошенное лицо и скачка. Она скакала на мне, как ковбой. Ее зад поднимался вверх с судорогой, со страданием, она почти отрывалась от моих направляющих, вернее, от одного направляющего, и тут же с силой опускалась – трах! трах - тебедух!

— О - о..

— Она говорила: "Не заморить ли нам червячка?" И она заморивала его. Червячок просто валился с ног, падал без сил. Она его

дергала, массировала, мяла, трепала. Дай ей волю, она б его оторвала. А потом она тащила меня в ванну, где опускалась на колени и вновь поедала его, и он, казалось бы совершенно безжизненный, немедленно оживал, опоясанный жилами, в нем нарастало безжалостное давление, а она словно чувствовала это его состояние, и сейчас же в ней обнаруживалось сострадание, материнская нежность, участие. Она лишь слегка удерживала его, предлагая передохнуть, но как только он поддавался на эти ее уговоры и успокаивался, она вновь набрасывалась на него, и он, несчастный, бежал от нее, но все это ему только казалось, потому что этакое его бегство входило в ее планы и направлялось ею же...

— А - а...

— И он, понявший это слишком уж поздно, забился, сначала сильно, а потом все слабее и слабее, покоряясь неизбежному, и наконец грянули струи, и она вынула его и оросила свое лицо, и особенно глаза..

— А - а..

Тут я кончил,

Саня, по - моему, тоже.

БЕГЕМОТ

повесть

Эй вы, бродяги заскорузлые, инвалиды ума!

Именно вам мое повествование предназначается, хотя кому как мне следовало бы знать, что вам, в сущности, на него наплевать.

На самом - то деле вам бы, конечно, хотелось выкушать бидончик вина и, в чудеснейшем настроении, ухватив ближайшую тетку за танкерную часть, потерять на некоторое время малую толику своего соколиного зрения и на ощупь проверить, все ли там у нее в наличии и на прежних местах.

Ах вы черти полосатые!

Нельзя ни на минуту оставить вас без присмотра!

Обязательно залезете даме в ее макроне.

Между прочим, должен вам сообщить, что Бог придумал для человека очень смешной способ размножения: существует, видите ли, некоторый шарик, который, при известных обстоятельствах, накачивается — не воздухом, конечно, а жидкостью.

Шарик, в обычное время висящий мокренькой тряпочкой, можно сказать, сейчас же встает, и даже тянется к небу, видимо возносит к нему свои желания, и в этот момент изо всех сил работает насос - сердце, которое токает - токает, бедняжка, и накачивает этот шарик, поддерживая его вертикальную жизнь.

А потом человек сует его во всякие дыры, всячески пытаясь сломать.

И при этом все мы офицеры флота! (Черви в мошонку!) И только и делаем что печемся о процветании Отчизны милой!

Вагинические пещеры и бесформенные куски сиракузятины! Конечно же о процветании, о чем же еще!

Сливки различных достоинств и жупелы чести!

Истинные кабальеры!

В сущности, мы еще даже не начали наше повествование, но мы его начнем, после небольшого вступления о маме - Родине.

Мама - Родина представляется мне в виде огромной, растрепанной, меланхолически настроенной, совершенно голой бабы, которая разбросав свои рубенсовские ноги, сидит на весеннем черномоземе, а вокруг нее бегают ее бесчисленные дети, которых она только - только нарожала в несметных количествах. А она пустой

кастрюлей — хлоп! — по башке пробегающему ребятенку; он — брык! — и она сейчас же наготовила из него свежего холодца с квасом, чтоб накормить остальных.

Фу ты, пропасть какая! Ну что за видения, в самом - то деле! Ну почему так всегда: вот только подумашь о Великом, как тут же какие - то несметные тучи всяческой дряни вокруг этого Великого не - медленно нарастут!

Нет уж! Лучше думать о чем -нибудь личном, не затрагивая этой удивительной территории, более всего напоминающей тунгусское болото, кишмя кишашщее всякой малообразованной тварью, куда только кинешь камень с каким -нибудь новым, пока еще редким названием кого - либо или чего - либо, и тотчас же вонючие газы - метаны после — бултых! — вырвутся наружу, а потом кружки - кружочки, и все затынулось аккуратненько по - прежнему.

И можно идти и идти по этой территории, через одиннадцать часовых поясов, и хохотать во все горло, и закончить хохотать где - то в Магадане, сорвавшись со скалы на виду у всего птичьего базара.

Нет, друзья мои, лучше о мелком, о личном, о частном, не трогая общих закономерностей, потому что к чему? Зачем? Ну что с того? Лучше вспомнить о чем -нибудь.

Вспомню ли я во всех подробностях и наисладчайших деталях те достославные времена, когда мы с Бегемотом оказались на обочине своей собственной прошлой жизни.

Помереть мне на месте, именно там — на обочине.

Проще говоря — нас выперли.

Вернее, уволили в запас с воинской службы.

В общем, открыли форточку — "кто хочет наружу?!", и мы переглянулись — сейчас или никогда! — и вылетели в три окна, как два осла, временно снабженные перепончатыми крыльями.

И то, что снаружи, нас оглушило.

Точнее, нас оглушила свобода: можно было петь, орать, скакать и сосать свои собственные пальцы.

Потому что снаружи была жизнь.

И жизнь нас уже поджидала.

И жизнь немедленно поперла на нас, как двадцать взбесившихся трамваев, через гам, лай и вой клаксонов на перекрестках и шлепки дождя по седому асфальту.

И мы к этому уже были готовы.

То есть мы вдыхали этот восхитительный, этот прохладный, как стакан газировки, этот живительный, с игопочки, воздух.

То есть мы хотели тебя — жизнь, и ты, как мерещилось, хотела нас.

Правда, прошлая жизнь, все еще оскалившись, хватала нас за штанину, но мы ее палкой по зубам — “сгинь, подлая!” — и она убралась восвояси ко всем чертям, и имела она при этом вид начальника отдела кадров капитана третьего ранга Прочухленко по кличке Стригунок, которого бы я лично в чистом виде с аппетитом удавил и который при нашем увольнении в запас так суетился, паразит, чтоб нам где-нибудь нагадить, то есть чтоб нам на пенсию не хватило одного процента, а лучше целых трех (сука - тифлис-ская - была - его - мама - моча - опоссума - ему - на - завтрак).

А наш дедушка адмирал, провонявший в подмышках, на прощанье призвал нас и спросил, чем же мы думаем заниматься на гражданке. И я сказал ему: “Фальсом”.

Я специально выбрал такое слово, чтоб после не было никаких дополнительных вопросов. И если в фарфоре наш могучий патриарх еще мог что-нибудь этакое мохнатое вставить, то слово “фальс” повергло его в иступление, как если бы я ему предложил немедленно переталмудить все мысли Конфуция со свежekomандирского сразу же на старочухонский.

Но справедливости ради следует отметить, что он тут же совершенно справился с собой и кивнул с пониманием, после чего он перевел свой взгляд на Бегемота.

Тот, в добродушии своем, просиял и доложил нашему выдающемуся стратегу, что он будет разводить кроликов.

— Кроликов?! — Казалось, папу нашего посетил шестикрылый серафим. — Кроликов?! — Он налился дурной венозной кровью — сейчас умрет. — ... Ка... ких кроликов?!

— Рогатых! — хотел вставить я, чтобы перевести разговор в энтомологический или в крайнем случае в психологический пласт, но постеснялся, тем более что Бегемот сказал “Домашних”.

Что было потом, описать не берусь.

Вернее, опишу, конечно, но боюсь, красот метафорических не хватит.

Очень бледно все выглядело следующим образом: наш славный

дед схватился за собственные щеки и застонал, а потом зарычал, завизжал, закривлялся.

— Боевые офицеры! — верещал он. — Выращивают кроликов! Почему?! Почему я не умер на сносях! При родах! В зародыше!

Больше я ничего не помню, потому что все происходило как в дыму сражений, когда от волнения видишь только чьи-то дырявые подошвы, и нет для тебя интересней зрелища.

Говорят, папа потом два дня останавливал всех подряд и говорил, что боевые офицеры теперь выращивают кроликов, а потом его с почечными коликами увезли в наш замечательный госпиталь, где врачи довели ему это дело до обширных метастаз только затем, чтобы потом его прах развеять над Северным Полюсом.

Леживал я в этом госпитале, господа, леживал. Это такая, я вам скажу, засада — крысы, матросы, вечно скользкий галлюн.

Там все заново проходили курс молодого бойца.

Там командиры дивизий, седые в холке, после того как их одевали в ватный халат, из которого торчала их тонкая, как у страуса, шея и голова, немедленно обращались в полный хлам, и перед ними грудастые медсестры ставили трехлитровую банку со словами: “За сутки наполнить!” — и он в первые секунды стеснялся даже спросить, чем наполнить, мочой или александрийским калом¹, а потом — “мочой, конечно, вы что, совсем уже?” — и он, томясь, жене по телефону: “Ле - ноч - ка - а... привези, пожалуйста, два арбуза, здесь нужно мочой...” — а мы ему: “Михалыч, не волнуйся! Давай мы тебе немедленно нассим полведра...” — а в углу лежал заслуженный адмирал, весь утыканный трубками, как дикобраз иглами, по одним в него дерьмо наливалось, по другим — выливалось, который, утирая слезы, говорил: “Ка - на - ус, едри его мать! Я уже не могу, сейчас от смеха все трубки оборву!”.

А в другом углу лежала личность, которая во всех отношениях казалась нормальным человеком, если только дело не касалось биорок и его личного здоровья.

Личность харкала в баночку, специально для этой процедуры припасенную, а потом рисовала на бирочке: “Харкнуто таким - то

¹Почему александрийским? Потому что хозяина зовут Александром, а если б его звали Степаном, был бы степанийский.

тогда - то", а у меня, знаете ли, руки чесались от желания приписать: "В присутствии такого - то".

Педикулез, в общем! То есть я хочу сказать, что каждый надувшийся гондон мнит себя дирижаблем!

Вот почему мы с Бегемотом решили оставить воинскую службу

А оставить ее можно было только после показательного учения по выходу в ракетную атаку.

Нам так и сказали: "А вы как думали?!"

А мы с Бегемотом и не думали.

Я вообще не помню, чтоб мы с ним когда - либо думали.

Если вы посмотрите пристально на Бегемота, то увидите только глаза - пуговики, вздернутый нос и отчаянно всклокоченные космы, и вот тогда - то вы поймете, что думать Бегемот не может, у него для этого времени нет.

Он может только действовать, причем очень решительно.

Его однажды заволокла к себе какая - то баба, и когда Бегемот вошел в прихожую, то обнаружилось, что его не за того приняли, что его приняли за человека с деньгами и теперь, впятером, пытаются ограбить и прежде всего раздеть.

Бегемот первым делом вышиб бабе все ее зубы, а потом, пробежав на кухню, выпрыгнул со второго этажа вместе с оконной рамой.

Так что если на улице можно попасть только после ракетной атаки, то мы ее вам, будьте любезны, устроим в один момент.

Мы к этому учению полгода готовились.

Теперь самое время сообщить, чем же мы, в сущности, с Бегемотом занимаемся.

В сущности, мы с Бегемотом готовим мичманов — эту нашу русскую надежду на профессиональную армию — к ракетной атаке.

Полгода ни черта не делали, кроме как учили ракетную атаку.

Всех этих наших олухов выдрессировали, как мартышек.

Те у нас чуть чего — прыг на тумбочку — и лают в нужном направлении, а на стенде в эти незабываемые мгновения лампочки загораются "Начата предстартовая подготовка", "Открыты крыши шахт", "Стартует первая" — красота, одним словом.

И вдруг какому - то умнику из вышестоящих пришло в голову,

что в самый ответственный момент у нас шееры залипнут.

— Так не залипали ж никогда!

— А вдруг залипнут? Ну нет! Это адмиральская стрельба! Вы просто не понимаете ситуации. Давайте внутрь пульта Кузьмича с отверткой посадим. Он, по- моему, единственный из вас кто сообщают. Если шеер залипнет, Кузьмич воткнет отвертку куда надо и замкнет что следует, и атака не захлебнется. Нужно мыслить в комплексе проблемы.

Тут мы не нашли чем возразить.

Кузьмич здоровый, как слон, и как он, бедняга, туда внутрь влез, как таракан в будильник, никто не знает.

Но!

Организацию предусмотрели, сводили его пописать и дырочку про- сверлили, чтоб он видел происходящее, через которую он даже покурить два раза, потому что мы ему с этой стороны сигарету вставили.

И вот прибыла московская комиссия с адмиралом во главе — принимать у нас ракетную атаку.

Сели (Кузьмич на месте, потому что глаз из дырочки торчит), проорали "Ракетная атака!", и те удивительные, знаете ли, события сами по себе стали разворачиваться.

Сначала все идет как по маслу: команды следуют одна за дру- гой, мичмана вопят, как недорезанные дюгоны, и лампочки, как им и положено, загораются.

И тут вдруг вроде дымком запахло, вроде мясо на сале жарится, но все делают вид, что почудилось, и я сейчас же замечаю, что у Бегемота волосы на жопе встали от предчувствия.

То есть я хотел сказать, что они у него встали на голове, но у него, у Бегемота, такая странная особенность наличествует, что если встали на голове, то обязательно и на жопе тоже — короче, ментальность у него, у Бегемота, таким образом проявляется.

А у меня прыщички в носу появляются.

Нос сначала чешется вроде, а потом краснотой наливается.

Бугорочки на глазах просто зреют и внутри их ощущается давление, и кожа становится упругой, блестящей, так и тьнет почесать, огладить.

Как опасность — так и наливаются.

Я Бегемоту говорю: "Посмотри, пожалуйста, у меня нос нали- вается!" — а он мне: "Заткнись!" — а сам смотрит на пульт.

Это оттуда дым валит, и мало того, что валит, так он еще и

разговаривает и вздыхает. "Ой!" (дым сильнее, и голос с каждым разом истончается, в нем появляется все больше беременных нот). "Ой, мама!" — и пульт колыхнется, вроде как дышит грудью вперед; "Ой, елки!" — и наконец с криком: "Ой, бя!" — пульт падает вперед, и на него вываливается наш Кузьмич с дымящейся задницей.

Скорее всего, он там пока сидел с отверткой и следил за шеером, жопой замкнул совершенно посторонний шеер и терпел, поскольку человек — то он у нас добропорядочный, пока у него мясо тлеть не начало.

И тотчас же все забежали: "Где огнетушители?! Огнетушители где?!"

А огнетушители у нас в коридоре через каждые полметра стоят, но все они не работают, потому что перед самой комиссией их покрасили и ту дырочку, через которую они пеной ссут, от усердия замазали.

В общем, поливали кузьмичевскую задницу заваркой из чайника, и при этом, наклонившись пинцетом все пытались зачем — то отделить горелые штаны от кожи.

Для чего это делалось не знаю, но Кузьмич в это время на весь коридор орал: "Фа — шис — ты!!!!".

Именно в такие секунды мне в голову лезут китайские стихи:

Монах и певичка
Ночь провели
В любовных утехах
Без сна.

И я вам даже не могу сказать, почему это со мной случается.

А Бегемот потом, когда мы уже за здоровье кузьмичевской мнотрепадной задницы выпили и закусили, говорил мне:

— Саня, я знаю, как разбогатеть.

И я смотрел на него и думал, что вообще — то самое замечательное место на лице человека — это глаза.

Их плутовская жизнь оживляет уголки глазных впадин — там появляются лучики морщин, они разбегаются, как водомерки, затем приходит в движение носогубная, передающая эстафету уголкам рта, потом лицо, ставшее необычайно рельефным, вдруг округляется, залорощенное пушком, может быть, даже младенческой мягкости, что ли.

— Природа - блядь! Когда б таких людей ты изредка не посы-
лала б миру...

Прервали.

Возник очередной тост, прославляющий нашего Кузьмича и его
долготерпение относительно задницы.

После чего все полезли друг друга целовать, потому что на
воинской службе, понятное дело, не хватает нежности.

— Гниение не остановить! — это мой непосредственный на-
чальник. Он как выпьет, так сразу же превращается в философа с
космическим пониманием всего.

— Гниение не остановить, — повторил он, вцепившись мне в
плечо. — Ведь все вокруг: небо, цветы, шакалы — все результат
гниения. Жизнь — это гниение. Так что не остановить.

— Нельзя быть настоящим мудрецом, — продолжил он без вся-
кой связи настоящего с предшествующим, — имея внутри кишечник,
наполненный дерьмом. Это удивительно: человек мыслит и гадит,
мыслит и гадит. Но, слава Богу, отрезками. Отрезками мыслит, от-
резками гадит. А то что бы мы имели — завалы мыслей и дерьма.

Мой начальник остановился и вперил свой орлиный взгляд в
правый угол комнаты.

Требовалось срочно сообщить его могучему разуму новое на-
правление.

— Александр Евгеньич! Знаете первый признак лучевой бо-
лезни? Хочется спать, жрать, и кажется, что мало платят.

— Вот! — отстал он от меня — Люди! Какие вы мелкие!..

И меня снова перехватил Бегемот. Тот все бредил о кроликах.

— Видишь ли, Саня, устройство желудка у них таково, что это
животное непрерывного питания. Учти! Кролик ест очень мало, но
часто, и если его не кормить постоянно, а только три - четыре раза
в день, то он переедает и подыхает. Нужна клетка с непрерывной
подачей пищи и автоматическим отводом кала, который по на-
клонной плоскости попадает в курятник, и там его куры поедают, то
есть экономится корм и для тех, и для других.

Знаете, иногда мне все же кажется, что Бегемот, как и всякий
военный человек, не совсем нормален. Но потом, незаметненько для
себя, я увлекаюсь и на полном серьезе начинаю с ним обсуждать
организацию разведения пчел, мидий и перепелов на подоконни-
ках.

Особенно часто такое со мной случается, если речь идет о вещах экзотических — о добывании космической пыли или выпаривании золота из списанных приборов.

А недавно мы с ним долгое время говорили о вытравливании застарелой проказы с помощью нафтеновых кислот.

Мы потратили на это часа полтора, и он меня почти убедил, что после применения этой дряни оставшиеся в живых избавятся от проказы навсегда.

Здесь следует остановиться.

Я люблю вот так посреди разговора о проказе остановиться и внимательнейшим образом осмотреть свои пальцы.

Все - таки пальцы гения.

То, что я — гений, я заметил давно.

Потому что выдержать напор Бегемота в деле поливания язв кислотами, может только гений. Ему мозг буравят, а он — хлобысь! — и уже полетел, лия рулады, в поэтические дали, где имеется Амур-задрыга и голый Плутон недр.

После этого уже безболезненно для себя возвращаешься назад в свое тело, чтобы выслушать очередное: "А давайте из списанных подводных лодок сделаем танкера, чтоб, пройдя подо льдами, снабжать горючим районы отсталого Севера. Но нужна государственная поддержка. И я даже знаю, кто это поддержит. Есть такой человек в правительстве. А при всплытии пятиметровый лед придется рвать боевыми торпедами, и в случае возникновения пожара под водой горящее помещение немедленно заполняется фреонами 112, 118!"

Все!

Не могу!

Хочется освободить чукчей навсегда.

— Чук - чи! — хочется сказать им. — Вы свободны навсегда!

И от топлива тоже.

Лучше все это пусть опять зарастет вечной мерзлотой, а мы будем у вас устраивать сафари и стрелять ваших полярных гусей среди девственной, экологически чистой природы чистыми керамическими пулями.

Заседлайте мне оленей, чукчи, чум вас побери!

Между прочим, если пристально посмотреть на карту, где - то там, между торосами, затерялся уникальный совхоз по выращиванию племенных быков.

Совхоз находился в заведовании у военно - морского флота, потому что так всегда: если кругом ни хрена нет, то все это находится в заведовании у военно - морского флота.

А потом сперму быков, выращенных рядом с белыми медведями, доставляли в Киргизию и там уже закачивали киргизским телкам, а приплод женского пола доставляли по железной дороге в Бело - вежскую пуцу, где он длительно насиловался с помощью зубров, и на выходе получался такой живой вагон с рогами, что он даже в сарай не помещался. Корми его хоть ветошью отечественной, а он все равно вырастает с вагон.

Потом, конечно, когда все вокруг уже разрушили, никак не могли найти, кому следует перекачивать эту сперму, которой много скопилось, и через подставных лиц звонили Бегемоту из Нарьян - Мара.

И Бегемот, воодушевленный таким количеством беспризорных молок, предлагал ее всем подряд.

Звонил и говорил:

— Сперма нужна?

Пристроили ее потом в Южную Корею для участия в ежегодном фестивале корейских масок.

А однажды быков вместе с возбуждающими их телками перевозили военными вертолетами с пастбища на пастбище.

И часть пути нужно было лететь над водной гладью.

И тут одна телка отвязалась и, очумев от болтанки, принялась всех безжалостно бодать.

Так ее просто выпустили.

Открыли дверь, и она сиганула вниз.

А внизу сейнер плавал.

И попала она точно в сейнер.

Корова пробила его насквозь, и он мгновенно затонул.

Спаслась только кокша - кухарка, которая вылезла на верхнюю палубу и, задрав голову вверх, пыталась рассмотреть, откуда это сверху несется такое катастрофическое мычание.

Бац! — и кокша сейчас же в воде с блестящими глазами западносибирской кабарги. И она ничего потом не могла объяснить: как это — му! — а потом сразу вода.

Ее спрашивали, а она, досадой сотрясаемая, все твердила: "Му — и вода! Му — и вода!"

"О, это невыносимое пение сирен, льющееся из клиники ту -

беркулеза", — как сказал бы один очень известный поэт.

Не уверен, что в этих выражениях можно описать все вибрации, исходящие от плавающей кухарки, но уверен в том, что это хорошо, холера заразная, это лирично, это красиво, черт побери!

А красота, как правильно учат нас другие поэты, имеет право звучать как попало, где придется.

Отзвучала — и люди, пораженные всеми этими звуками, должны замереть и подумать о своем высоком предназначении.

Вот я, к примеру, когда слышу все эти красоты, сразу замираю и думаю о чем-то клетчатом.

И когда я слышу: "А давайте с помощью архимедова винта поднимем подводную лодку", — я тоже замираю с головы до жопы и внимаю тому, как лимфа бухает своими детскими кулачками в гимнастические узлы, неутонимая как молодые бараны. Тин - тилидон! Тин - тилидон! — а это уже слезы весны.

Видимо, слезы радости.

А еще хорошо слушать, как шепчутся божьи коровки и милуются клопы и стаффордширские слоники где-то там, на листе за окном, и сейчас же стихи, да-да, конечно стихи, сначала шорох, щелчки какие-то, неясное турули — а потом стихи, того и гляди падут невозвратно, как капля борща на ступеньки собора, если их немедленно не записать:

Глафира, Глафира, хахаха - хаха!
Вчера я нашел во дворе петуха!
Издых!
От любви, я надеюсь, почил,
Не так он точило свое поточил,
Но я же, Глафира, ле-бе-дю-де-дю!
По этому поводу всячески бдю!
Не бойся!
Не мойся!

Кстати, мне сейчас пришло в голову, что с помощью этих стихов можно будет объяснить некоторые особенности военного человека.

В частности, болезненные состояния его ума.

Видите ли, военный служащий очень часто превращается в идиота.

И не всегда удается сразу распознать, что это превращение уже

произошло.

Оно всегда неожиданно. Ни с того, ни с сего. Ты с ним говоришь, а он уже превратился.

Оттого - то и приходится много страдать.

И я думаю, что все это происходит потому, что в какой - то эволюционистический период своего развития военнотружущий переполняется всякой чушью и на время теряет способность отделить реальность от своих мыслей о ней.

Таким образом он мимикрирует, то есть заклоняется от реальности, то есть сохраняет себя.

Вот наш командующий

Тот всегда думал вслух.

Выскажется — и все сейчас же бросаются исполнять, овецеставлять это высказывание, а он и не рассчитывал вовсе, не предполагал, не хотел — и получается кавардак.

Но порой что - то с хрящевым хрустом втягивалось ему в его башку, что - то, как всегда, оригинальное, с перьями, и все в этом непременно участвуют, напрягаются, чтоб повернуть вспять, то есть раком, все законы логики, динамики и бытия, и поворачивают, и опять получается ерунда.

Словом, ерунда у нас получается в любом случае: и когда он просто мыслит, и когда те мысли воплощались.

Вот уперли у распорядительного дежурного два пистолета из сейфа. Вою базу подняли по тревоге на уши и искали два дня без продыху.

Но с каждым часом все с меньшим накалом.

— Они же не ищут! — возмущался командующий, когда собрал в кабинете всех начальников. — И я вам докажу, что не ищут! Начальник плавзавода! Немедленно изготовить двадцать деревянных пистолетов, покрасить и разбросать в намеченных местах. И мы посмотрим, как их найдут!

И начальник плавзавода, нерешительно приподнимаясь со своего места во время такого приказа, вначале напоминает человека нормального, повстречавшего человека не совсем в себе, но потом, словно озаренье какое - то, просветлев лицом: "Да, товарищ командующий! Есть, товарищ командующий! Правильно, товарищ коман -

дующий! Я и сам уже хотел, товарищ командующий!" — и нервно бросается в дверь делать эти пистолеты, которые потом разбросали где попало и которые потом искали всем гамбузом наряду с настюшками, чтоб доказать, что ничего не ищется, да так и не нашли: ни натуральных, ни поддельных.

То есть, как и предполагалось, прав был командующий, а кто же сомневался — никто ни черта не делает!

И вот поэтому, желая сохранить в себе способность отделять зерна от плевел, мух от котлет и фантастику от неслыханных потуг бытия, мы с Бегемотом и решили уйти с военной службы.

К червонной матери

Хотя, пожалуй, порой мне даже кажется, что этой способности удивлять окружающий мир мы с ним еще не скоро лишимся, потому что только недавно жена Бегемота, сдувавшая пыль с его орденов, обнаружила в нагрудном кармане его тужурки непечатый презерватив и спросила: "Сереженька, это что?" — "Это приказ, — сказал Бегемот ничуть не смущаясь. — Вокруг СПИД, — продолжил он с профессорско-преподавательским видом, расширив глазенки, — вокруг зараза. Поэтому всем военнослужащим, независимо от должности, приказано иметь при себе презервативы, чтобы противостоять заразе!"

— Слушай, — позвонила мне его жена, не называя ни имени моего, ни чего-либо другого, в двадцать пятом часу ночи, — а правда, что есть приказ иметь при себе нераспечатанные презервативы для предотвращения проникновения заразы в войска?

— Правда, — сказал я горестно про себя вздохнув и посмотрев на часы ради истории, — приказ номер один от такого-то. Всем иметь в нагрудном кармане рядом с носовым платком отечественные презервативы. И на смотрах проверяют. Вместе с документами. Даже команда такая есть: презервативы - ы пока - зать! — и все сейчас же выхватывают двумя пальцами правой руки из левого нагрудного кармана и показывают. У кого нет презервативов, два шага вперед..

— А затем следует команда: пре - зер - ва - ти - вы на - адеть! — сказал я уже самому себе, залезая под одеяло.

Сволочь Бегемот — вот что я думаю.

Толстая безобразная скотина.

На четвереньках должен ползать перед этой печально невинной женщиной.

И целовать ее тонкие пальцы.

Но на ногах.

А потом, сквозь уже дремучую дремоту, я вспомнил все эти смотры, осмотры, запросы - опросы - выпросы и то, как я выхватывал (не презервативы, конечно) платок, который от долгого лежания в кармане обрастал грязью на сгибах, и ты его сгибаешь в другую сторону, чтобы показать чистые участки, а на следующем смотре — вообще - то ты серьезный, здравомыслящий человек — опять старательно ищешь на нем свежие места и радостно находишь, а в конце года развернул тот платок, а он — как шахматная доска, черные и белые квадраты.

Господи! Все - таки здорово, что мы с Бегемотом уходим со службы к дремлющей матери.

Потому что я лично уже не могу.

Господа! Не могу я смеяться каждый день, я скоро заикой стану.

Да, вот еще что

Перед самым уходом нам вдруг заявили:

— Ничего не знаем, но уходя вы должны еще сдать экзамены по кандидатскому минимуму.

— По какому минимуму?

— По философскому. Что, что вы на меня так смотрите, не помните что ли?

— Ах, да - да - да...

— А то вы слиняете, а нам разбираться.

Понимаете, какое - то время тому назад, сдуру естественно, мы с Бегемотом решили писать диссертацию на тему "Ракетный двигатель — это нечто..." — и все для того, чтоб получить продвижение по службе.

У нас же всегда так: то не двигаешься годами, а потом вдруг — бах! — и выясняется, что не двигаешься из - за того, что диссертации нет, хотя того, что у тебя внутри накоплено в виде натурального внутреннего опыта, хватило бы на десять таких диссертаций, и ты это чувствуешь, чувствуешь, и эти чувства не проходят да -

ром, и какое - то время ты действительно увлечен этой идеей, и даже хочешь написать диссертацию, но только вот как же все это оттуда достать, то, что у тебя внутри схоронено, как извлечь, не повредив.

Извлечь, изъять, показать, предьявить, и все остальные чтоб тоже поняли, что ты — ходячая энциклопедия — вот это самое сложное — но, черт с ним, по дороге что - нибудь придумается — и ты уже приступаешь к извлечению этих твоих нутряных знаний, уже нервничаешь по поводу того, что у тебя из всего этого получится, но тут опять — бах! — и ты увольняешься в запас, потому что предложили, потому что больше никогда не предложат и потому что нужно скорей, а то опять все передумают, перепутают, ушлют тебя куда - нибудь к совершенно другой матери, вот только экзамены по кандидатскому минимуму надо сдать, а то посещали занятия в рабочее время.

Нехорошо

Да.

Занятия - то мы посещали, но только я почему - то где - то глаголю внутри был убежден, что нам все это никогда не потребуется, не говоря уже о Бегемоте — тот у нас вообще круглый балбес по поводу всех этих декартовых глупостей.

А я вот помню только первый закон, чуть не сказал Ньютона: материя первична, сознание — вторично, — и все, но, слава Богу, это все - таки основной закон нашей философии, остальные законы, по - моему, возникают из тщательно подобранной комбинации этих четырех слов.

Так что выкрутимся, надеюсь.

Как - нибудь.

И отправились мы на экзамен.

Я вызвался первым сдавать, потому что терять, собственно говоря, нечего.

Открываю билет — а там, как заказывали, первый закон.

— Можно без подготовки?

— Пожалуйста.

— Материя, — говорю я философу с легким небрежением, — первична, а сознание, как это ни странно, вторично!

— Хорошо, — говорит он мне, — а как звучит вторая часть

первого закона?

Я подумал, что он меня не понял, и повторил еще более вразумительно:

— Ма - те - ри - я пер - вич - на, а сознание...

— Но вторая, вторая часть...

— Вторая часть, — говорю я ему, а сам чувствую, как меня заклинивает, — первого закона выглядит так соз - на - ние... вто - рично (главное не перепутать)... а мате - рия... первична...

И тут он замечает по документам, что я восемь лет как уже капитан третьего ранга, и это его несколько успокаивает относительно оригинальности моего мышления

— Ну, хорошо, — говорит он, — переходите ко второму вопросу.

А второй вопрос у нас был: «Социальные аспекты, рассматриваемые в материалах XXVII съезда КПСС».

Видите ли, вся трагедия моего положения заключена в том, что я с детства не понимаю слова "социальное", а мне все время кажется, что это вроде как "общественное", и больше я к этому добавить ничего не в силах, я могу бредить полчаса в родительном падеже — "социальном", "социального", могу склонять: "я — социальное, они — социальные", — а объяснить ну никак не получается у меня. Поэтому я заявил:

— Практически все аспекты, рассматриваемые в материалах XXVII съезда КПСС, так или иначе связаны с социальными сферами человеческого поведения...

И тут он начинает понимать, что для меня "социальное" — тайна за семью печатями.

— А что такое "социальное", как вы это понимаете?

— Социальное?

— Да.

— Ну, это как общественное.

— Ну а все - таки, что такое "социальные вопросы"? Вот, к примеру, о чем вы думаете постоянно? Что вас постоянно заботит? Не дает вам спать?

— Постоянно?

— Да.

И тут я, может быть, первый раз в жизни, покрываюсь жгучим потом и говорю медленно, чтоб не ошибиться:

— Меня постоянно заботит... идея торжества социализма во всем мире.

Инструктор политотдела рядом сидел, так он с головой ушел в пепельницу с окурками, отрывая пепел и охнарики.

Так смеялся, что не мог в себя прийти.

Оказывается, "социальное" — это сады, ясли, квартиры, зарплаты... — вот что меня должно постоянно заботить, вот от чего я должен не спать ночами.

— Сколько тебе надо? — спросили меня.

— Три балла, — ответил я и получил свою тройку.

А Бегемоту тут же поставили два шара, потому что он старший лейтенант и у него налицо способности к росту.

— Слушай, — подошел я к философу, — поставь парню три балла, а то его из-за этой двойки еще со службы уволят, не приведи Господь. Ну хочешь, я вместо него еще раз тебе это все сдам?

— Не хочу, — сказал философ, и Бегемот получил "удовлетворительно".

После чего мы и оказались на улице

Как все - таки там хорошо!

Вот идет по улице человек, а на нем ядовито синяя болоньевая куртка, а под ней донашиваются черные флотские брюки и ботинки, и он улыбается.

Это наш человек.

Это человек флота, недавно выставленный за дверь.

Он выставлен без ничего.

Он голым попал в этот неуютный, неприветливый, колючий, вообще - то говоря, мир, но он улыбается, потому что видит то, чего не видят остальные, он видит свое прекрасное будущее.

Некоторые из тех, что тоже выставлены за дверь, не видят своего прекрасного будущего.

Некоторые не ходят на улицу.

Они хотят назад (не будем называть это место).

Им страшно.

А нам с Бегемотом ни черта не страшно.

Достаточно один раз посмотреть на Бегемота, чтоб сказать: это животное страха не ведает.

И с ним хорошо мечтать.

О том, что пойдем туда, сделаем то, заработаем кучу денег и станем знаменитыми до боли в чреслах.

У вас никогда не болели чресла от того, что вы знамениты?

Еще будут болеть.

И главное, мечты — все без конца и без края.

И одна мечта порождает другую, другая — третью, третья ловит за хвост четвертую, та — крепко держит пятую, пятая — шестую..

И взгляд твой затуманивается, увлажняется от предвкушений, и возникают видения, и ты, увлекаемый ими, идешь, идешь простой, как ромашка, не ведая стыда...

Кстати, небольшое, но лирическое отступление о военном стыде.

Военный стыд — это как что?

Военный стыд как философская категория — это как то, чего нет и никогда не было.

Потому что стыд как чувство нуждается прежде всего в прививке, а у нас даже то место, на которое нужно прививать, отсутствует, не предусмотрено.

Так что мы, уволившись в запас, все делаем без стыда: воруем — торгуем — обмениваем — продаем.

"КамАЗы"

В те времена вся страна продавала "КамАЗы".

И мы с Бегемотом, временно оставив в покое кроликов и фаянс, ринулись продавать "КамАЗы".

Я даже знал их названия и номера.

Бегемот звонил по ночам мне, а я — Бегемоту, и вместе мы звонили еще куда - то, все время в разные места, продираясь сквозь чашу посредников, плотным войлоком окутавших страну, щедро раздавая по три процента направо, налево, тут же входя в долю и обещающая еще.

Можно было видеть людей, которые ходили и шептали: "Три процента, три процента... полпроцента..." — и мы с Бегемотом ходили среди них.

И у всех была одна улыбка.

И у всех было одно выражение лица: будто безжизненной, красной пустыней встает огромное желтое солнце, и вокруг оживает красота, а ты издали наблюдаешь эту красоту.

Это было глубокое поражение психики.

И в груди от этого поражения становилось тепло и уютно, там - то и возникало то нечто, что сообщало душе толчок, с помощью которого можно было преодолеть расстояние между мечтами, если они отстояли друг от друга далеко.

Мы входили с Бегемотом в квартиру, хозяина которой то ли убили, то ли уморили огромным количеством спирта; мы входили, аккуратно, чтоб не замараться, толкнув дверь, когда - то обитую чем - то издали напоминающим кожу, а теперь — со следами зубов существа мелкого, но ужасно кусачего, и попадали на кухню, где, похоже, кормилось сразу несколько дремучих бродяг, и путь наш был отмечен скелетами селедок.

И можно было обойти всю квартиру по кругу, потому что так соединялись все комнаты, и выйти через унитаз, потому что он стоял на дороге последним.

Просто стоял, не подсоединенный ни к чему, потому что это был чешский унитаз, а все остальное было советским и давно стнило.

Там, в одной из комнат, распяленный на лавке, все время спал какой - то шофер, а рядом стоял недавно распакованный компьютер, который был связан со всеми камазодержателями, а в другой комнате сидел человек, который, в зависимости от условий, то скупал "КамАЗы", то продавал, а в промежутках он пытался продать, еще не купив, и еще ему нужны были холодильники "Цусима", которые только что разгрузились во Владивостоке и которые он брал за любые деньги, но в пределах разумного.

— У вас никого нет во Владивостокском порту? — спросил он нас, даже не поинтересовавшись, откуда мы возникли.

— У нас есть все во Владивостокском порту, — сказал Бегемот, и я посмотрел на него с уважением.

— Но нужны гарантии.

— У нас есть гарантии.

Меня всегда восхищала способность Бегемота сначала сказать: "Да! Я это могу с гарантией!" — а потом, уже не торопясь, без суеты, часа полтора осознавать, что же он такого наобещал.

Но, слава Богу, русский бизнес в те времена отличало то, что на

следующий день после сделки, пусть даже она была оформлена документально, можно было не водиться с этим человеком вовсе, ничего из обещанного ему не поставлять, все порвать, затереть и забыть, потому что прежде всего он о тебе забыл, запомнил, и ему с самого начала нужно было все объяснять.

А еще он мог сам назначить встречу, но накануне у него был тяжелый день, в конце которого он сходил в баню, напился, кинулся в прорубь и всплыл уже с амнезией, в ходе которой он помнил только слово "мама" (или "мать"), и теперь, когда ты пришел, у них кутерьма, потому что с платежками нужно ехать в банк, а на них нужна подпись, которую он не может теперь даже подделать, просто забыл, как он расписывается, и печать, которую он в проруби потерял, хотя перед этим он надел ее на шею, чтоб потом куда-нибудь не задевать.

И вот у таких людей мы покупали "КамАЗы"

и какие-то восстановленные газовые плиты,

по поводу которых звонили в Днепрогэс,

чтоб выяснить, какие нужны:

на две конфорки или на четыре.

И таким людям, с частично утраченным самосознанием,

мы доставали других людей,

с непрестанно угасающей самооценкой,

которые к тому же обладали гипнотическим влиянием на весь

Владивостокский порт,

и Бегемоту звонили ночью,

но было плохо слышно,

а потому он тоже звонил и в конце концов дозвонился до того ненормального Владивостока

и спросил, чего они хотели у него спросить,

и оказалось, что они спрашивали: "А наши проценты будут?"

— на что Бегемот защебетал в трубку таким воробушкой, как будто пришла весна и отовсюду просо подвезли:

— Ка - неч - но - же - бу - дут! — положил трубку и расхохотался дьявольским смехом, но это нам все равно не помогло, потому что тот, кому это предназначалось, кинулся в прорубь и при встрече с водой лишился ума.

Ума нет — считай, калека.

И никто не виноват.

Вот.

И проценты погibli.

Бегемот потом звонил во Владивосток и говорил: "Человек сошел с ума, так что не рассчитывайте", — а там и не рассчитывали, потому что там тоже чего-то случилось, и те люди, с которыми он договаривался, куда-то подевались, и теперь там другие люди, полные грандиозных надежд.

Армяне

С армянами нас многое связывает.

И не потому, что у нас нос, крупные губы, уши и глаза - вылопосики.

А потому что все свои идеи мы сперва испытываем на них.

Вот, к примеру, возникает какая-нибудь очередная странная но великолепная идея, и я сразу говорю Бегемоту волшебное слово: "Армяне!" — и он, выделив в непомерных количествах муцины — эти замечательные и вместе с тем очень слизистые вещества из группы гликопротеинов, образующие вязкость слюны, — звонит дяде Боре в Ереван (потому что для нас слово "армяне" рождает в душе нечто детское, мягкое, как уши гиппопотама, как будто кто-то крикнул: "Цирк!" или "Клоуны приехали!").

А дядя Боря в Ереване до сих пор самый главный человек — он пошлет кого надо и проверит где следует: нужна ли армянам эта идея, и если нужна, то в нашу сторону немедленно выедет кто-нибудь, точно так, как это было в случае с "Нисанами", с которых собственно, и начались наши отношения.

Как-то армянам потребовались машины "Нисан - Патруль", и они позвонили Бегемоту:

— Скажи, это не вы случайно продаете "Нисан - Патруль"?

Конечно же,

Бегемот сразу стал продавать "Нисан - Патруль".

В те минуты у него было такое выражение лица, что неприлично было бы даже предположить, что он не продает "Нисан - Патруль", потому что верхняя часть оно́го у него выражала скорбь, а нижняя — удаль.

И головой он встряхивал так,

что кудри летели в разные стороны,
как будто он пианист на последнем издыхании
и играет "Кипящее море" Грига.

И Бегемот, прихватив меня для четного количества, немедлен-
но помчался в то место, где ему уже три недели подряд предлагали
"Нисаны" с патрулями — надоедали, плакали, просили, чтоб он
непрерывно звонил.

Это место называлось "Русский национальный центр", и там
обитали русские националисты, то есть люди, которые далеко не
чужды были идеи соборности и духовности.

Я давно пытаюсь выяснить у кого -нибудь, что же такое "со-
борность" и "духовность".

И чем, например, "соборность" отличается от "шалашовности",
а "духовность" от "духовитости".

Но у меня ни черта не выходит.

Все говорят: "Соборность — это..." — и глаза закатывают, точно
в тот самый момент получили шпиль в задницу.

И теперь, когда я слышу о "соборности", мне сейчас же хочется
выкрикнуть петушиное слово "рококо" и объявить во всеуслышанье,
что мне известны пути повышения "фалловитости".

Но ближе к русскому национализму как к явлению.

Беглого взгляда на этих людей было достаточно, чтоб понять,
что в прошлой жизни все они были аскаридами, а их предводитель
в бесконечной цепи превращений только что миновал стадию —
свиной целень.

Было в них что - то сосущее, какой - то сердечный трепет, ко-
лотье и пот в перстах, словом, присутствовало некоторое "весеннее
возмездие" (эротический термин), когда речь заходила о способах
расчетов с посредниками.

А посредниками в этом деле были все, кроме армян, и русские
националисты, и мы с Бегемотом, и все хотели ухватить кусок, по
возможности более могучий, раз уж возникла тема: "Нисан - Пат-
руль".

Как раз тогда - то и появилось это мерзкое слово — "тема". На-
пример, "тема: "Нисан - Патруль"" или "тема: березовые обрубки".

"Мы финнам — березовые обрубки, а они нам..." — и так до
бесконечности. И теперь, когда я слышу слово "тема", я начинаю
давиться хохотать, вскрикиваю только: "Березовые обрубки! Бере -

зовые обрубки!.." — и опять не могу остановиться, всхлипываю и плачу, к примеру животом. Потом тщательно вытираю нос, лоб и красные щеки и жду, когда внутри улягутся все, знаете ли, звуки, после чего тщательно высмаркиваюсь.

Да - а! Россия..

Но вернемся к армянам, которые все еще ждут свои "Нисан - Патрули"!

— Ар - мя - не! — хочется сказать им.

— Ар - мя - не! — хочется им заметить. — Ар...мя.—..не...

— Ве... да... че... эээ...

Последние несколько слов, а вернее букв, символизируют армянское недоумение, проще говоря, оторопь, которая приключилась с ними после общения с русскими националистами,

позорными червями в печальном далеко.

Те говорили:

— Покажите деньги.

А эти им:

— Покажите «Нисан».

Оказалось, ни у кого ничего нет: предусмотрительный дядя Боря прислал армян на разведку, чтоб их сразу не обобрали.

Армян звали: Кимо, Самвел и Араик.

Араик был самый молодой. Кимо в первый раз в жизни надел пальто, а Самвел всеми своими повадками напоминал животное.

И смотрел он на место, откуда, по его разумению, должен был появиться "Нисан - Патруль", так, как только китаец смотрит на яшмовые ворота прежде чем сунуть туда свой нефритовый стебель.

А вокруг он — китаец, разумеется — уже разложил следующие обязательные предметы большой любви:

свисток неистребимого желания

крючок страсти

колпачок возбуждения

зажим нежности

бородавку утомления

серное кольцо Вечной Похоти

татарский любовный колокольчик и фамильный мастурбатор.

И уже изготовился.

Сейчас приступит.

С трудом войдет в "беседку удовольствий".

А пока только предварительно разглядывает.

И от напряжения при разглядывании даже слезы на глаза выступили.

Все последующее (методологически) напоминает мне некоторые садомазохистические картинки. И будто в них участвую я: голышом надеваю роликовые коньки, и стройная женщина в черных крагах возит меня кругами по концертному залу, крепко держась за мой тоненький пенис.

Во всяком случае только я начинаю вспоминать, чем же там у нас закончилось дело с этими "Нисан - Патрулями", как тут же эти видения вытесняют из моего сознания все остальные воспоминания.

Помню только, что потом мы дружно встали на защиту армян, за что и заслужили их любовь и получили возможность немного погоря впахивать им остальные идеи.

На прощание они пожимали нам руки, обнимали и говорили:

— Приезжайте к нам в Ереван.

А моя жена, воспользовавшись случаем, бросилась в комнату, нашла, прибежала назад и вручила им мои новые туфли, которые она в свое время приобрела по случаю в Ереване на улице Комитаса в маленьком магазинчике, и которые нужно было там же срочно обменять, потому что один туфель оказался на полтора размера короче другого.

И эти армяне уехали от нас навсегда, ожимая от счастья в руках вместо "Нисана" мои дефективные башмаки.

Правда, мы потом много раз перезванивались, поскольку Араику нужны были игровые автоматы — "однорукие бандиты", и он звонил нам, а мы ему, с трудом добираясь до этого непрерывно отползающего в те времена от России Еревана, с которым то нет связи, то на том конце никто по-русски не понимает ("Подождите, я Гамлета позову, он по-русски понимает, а я говорю, но не понимаю"). Наконец нашли мы ему эти автоматы, но нужно было в последний раз уточнить: такие - то они или сякие - то, и я еще раз дозвонился.

— Але, але, это Ереван? Позовите Араика. Араик? Это Араик?

— Нет, нет, это не Араик, это его жена. Араик в лифте застрял.

И тут я сошел с ума, потому что долго дозванивался, потому что когда еще до них доберешься.

— Побегите к нему, — говорю я ей, — уточните, такие - то ему нужны автоматы "однорукие бандиты" или сякие - то?

И она побежала — слышно, что по дороге что - то упало, — и долго там выясняла у Араика, сидящего в лифте, какие ему нужны автоматы, а потом прибежала и переврала все до неузнаваемости, потому что очень волновалась и все по дороге забыла.

Мама моя!

Как меня успокаивает, если я, после всяких таких вот событий, открываю автора, настоящего певца печали, на любой странице и читаю:

"... Чувство! Лежит в основе. Это точка опоры. Она не сводится к понятию, исключая то краткое (можно сказать) мгновение, когда чувство выносит приговор Вселенной. Затем чувство либо умирает, либо сохраняется..." — и все, захопываю.

Настоящих авторов, лохань их побери, никогда не следует читать вдоволь (чуть не сказал — вдоль), тогда это успокаивает и помогает сохранять равновесие.

Хотя иногда руки опускаются

И у Бегемота тоже.

Видели бы вы, как они у него опускаются он — крупный, беглый, а они медленно так поползли, поползли и достигли пола.

О, хрустнувшая хризантема моей души! — говорю я ему в такие минуты. — Знаешь ли ты, что величаво - спокойное, прощя говоря, лирично - эпическое повествование более подходит твоему невыразимому отчаянию. Кстати, в такие минуты я почему - то представляю тебя старым, толстым и на одной ноге. Вторая у тебя смачно оторвана на службе короля Георга. Но ты опираешься на плечи молодых своих собратьев и орешь им: "Сарданапалы! Мухины дети! Все очком будете у меня воду пить! И им же верблюжьим колочки носить с места на место!" — а потом ты успокаиваешься и рассказываешь им о пулях - штормах - парусах и о том, как ты водил по морям отечественные тральщики, и на глазах у них блестят романтические слезы, каждая величиной с австралийскую виноградину.

И сейчас же руки у Бегемота возвращаются на прежнее место.

И в глазах появляется блеск, который я считаю совершенно нормальным для современного военнослужащего: будто вскрыли старинный сундук, а там — "пиастры! пиастры!"

Это ли не повод вспомнить о душе?

Душе военного, я разумею.

То - то весело было бы для какого - нибудь исследователя ее отыскать, обнаружив при этом незначительные ее размеры в сочетании с несомненными ее качествами, — наивностью, невинностью, светлостью.

Душа военнослужащего — это то, что растет у него всю жизнь.

И в конце жизни значительную часть ее составляет честь и совесть или то, что он вкладывает в эти понятия.

Исключения составляют генералы, которые всю жизнь существовали при чем - нибудь вкусеньком.

Им в душе отказано.

Бирюза

— О, озарение святое, снизойди! — молили певцы и поэты древней Месопотамии, и озаренье снизошло — все они остались без штанов, потому что озарение — один из способов освещения мрака: всем в одночасье становится ясно, куда идти, но при этом все чего - то лишаются — одни невинности, другие — благо и бла - гости.

И на нас с Бегемотом снизошло озарение. (Я, кстати, тут же поинтересовался относительно штанов.)

Оно снизошло утром в пятницу, и душу сразу так затомило - затомило, потому что мысль озаряющая пока еще не до конца состоялась и какое - то время существовала в виде бледновато - ключковатом, но потом сразу раз! — и мы поняли, что не можем жить без бирюзы.

— Бирюза! — вскричал Бегемот. — Бирюза!

— Говорил ли я тебе, Саня, — обратился он ко мне тут же, от возбуждения сжимая до боли мой случайно оказавшийся рядом с ним большой палец правой руки, — что теперь мы будем заниматься исключительно бирюзой — этим благороднейшим из камней, измеряемых в каратах. Знаешь ли ты, что у меня есть технология производства бирюзы в несметных количествах. И мы прежде

всего, конечно же, снабдим всю Армению этим богатством. У нас все армяне будут ходить с бирюзой. Они спать будут с бирюзой. Они жрать будут с бирюзой. Я бы даже на улицу запретил бы им выходить без бирюзы. Помчались!

Опять помчались!

Вы не знаете, почему русские люди всегда куда - то бегут, мчатся, распуская по воздуху слюни?

И почему русскому человеку можно пообещать что -нибудь, но не сделать, а потом пообещать ему еще что - то, еще более значительное, чтоб у него глаза на лоб полезли, и он опять поверит?

И опять побежит.

Почему в России нельзя спокойно сесть и положить в рот кусок варенной на пару лососины в белом соусе и, обратившись в глубины своего существа, наблюдать за тем, как она непринужденно растворяется, уверенно теряет свои первоначальные очертания и в ней образуются плешины, промоины, легко ощущаются волокна; и во взоре твоём благодарном от всей этой ерунды сейчас же появится масло и то глубинное успокоение, какое свойственно разве что только кустам бузины после дождя?

Почему у нас всегда так: только отправил кусок за щеку, как рядом обязательно оказывается некий запаршивевший от невзгод козел, доверху напичканный радиомусором, который говорит безо всякого умолку о налогах, бюджете, думе, парламентаризме, перемежая все это — “вам, конечно, будет небызынтересно” и “но мы - то с вами понимаем?”.

Как хочется выловить в тарелке дробиночку перца и, придвинувшись к нему вплотную, — “простите!” — щелчком направить ему ее в глаз, лучше в правый, и с удовольствием необычайным по своей полноте наблюдать, как он задохнется от слез, заплывет, закашляет, а лучше забить ему в грызло обмылок или этот, как его, который разбухает, как груша, и заполняет, надеюсь, все помещение, как кляп какой -нибудь, и будет еще не раз то разбухать, то опадать,

то разбухать, то опадать, пока не изольется душной Амазонией.

Я думаю, что это все из - за пассионарности.

То есть, я хочу сказать, из - за склонности этой страны к пассионарности.

Периодически встречаются тут несколько мудаков - пассионариев, и весь этот бардак начинается заново.

Все это — как шляпа по кочкам — пронеслось в моей голове, пока мы с Бегемотом бежали за бирюзой, и если с высоты птичьего полета посмотреть на то, как мы бежали, то многое, наверное, на этом свете нам должно проститься столько в этом беге было наивной веры и надежды, а также — волглости, смачности, сочности.

И у Бегемота работали на лице все его мускулы, а взгляд его — бесстыже чистых — был обращен чуть вверх, словно он наблюдает сошедшую с небес лепоту или зарю на вершинах деревьев.

Порой он прищелкивал языком, как вампир, порой улыбался, как деревниш, который уже видит танцующих гурий, а то вдруг оставался и начинал говорить.

— Бирюза, — говорил он, — это соединение меди голубоватого и зеленоватого цвета, и ее можно варить из медного купороса или, лучше всего, из сливных вод, которые образуются как продукт различных производств. Подумай только, мы еще очистим город от тяжелых металлов! А потом все выпаривается и прессуется, а затем шлифуется. У меня есть такие шлифовальщики, которые даже из каловых камней сделают ожерелье!

И я смотрел на Бегемота, и уже видел на нем ожерелье из каловых камней, и вспоминал цитаты.

Я, знаете ли, неожиданно могу вспомнить цитаты. Например: "Во время полового акта она имела обыкновение смеяться так бурно, что выталкивала член из влагалища".

Или:

"Они жили долго и кончали преимущественно в один день".

Или:

"Вместо рта взяла в глаз — еле выморгалась!"

Я не знаю, из каких они произведений, но считаю, что их нужно запретить.

Из соображений выспренной нравственности.

Именно выспренной!

Потому что у нас нравственность особого рода.

И поэтому ее нужно охранять.

А если ее оставить без присмотра, то она скоро полностью переродится в блуд и паскудство.

И когда я смотрю на Бегемота, мне все время приходит в голову мысль об охране нравственности.

И еще, куриные челюсти, в некоторые периоды своей жизни лицо Бегемота, срамота щенячьего, вызывало в моей памяти лицо коменданта того славного военного городка, с которого и началась моя необыкновенная карьера. Что - то в них было общее, какая - то помесь ответственности с вихрем непредсказуемости.

Фамилия коменданта была Извергов

Кстати, не помню ни одного коменданта с фамилией Цветиков, Розанов, Хризантемов. Обязательно — Извергов, Самохвалов, Спиногрызов.

Я впервые увидел его при заступлении в патруль.

Он нас инструктировал.

Там было на что посмотреть: у него, прежде всего, надувалась шея, как у лягушки - быка перед вступлением в половые отношения, и голос, низкий, хриплый, казалось, легко извлекался из области вспомогательного таза.

Телом мал

Лицом красен.

Взором отважен.

И в движениях быстр, как краб на отмели.

Он говорил:

— Квадрат «Е» - еее! — и никто не посмел бы заявить, что он не знаком с этим квадратом.

И еще он говорил:

— Именно тут ожидаю появления множества самовольно шагающих воинов - строителей. Они должны быть здесь! В камере! И если они не будут сидеть, то сидеть будете вы! — и никто не посмел возразить.

Он говорил:

— Гэ - о - мет - рия! Укладывать гробики! — и это означало, что снег с дороги следует располагать вдоль обочины аккуратными

параллелепипедами, проще говоря, гробиками, по всем законам геометрии.

Вот так, расчудроны чудаковатые, а вы думали, армия у нас пальцами где попало ковыряет?

Нет!

Армия у нас снег вдоль дороги укладывает и старается при этом, чтоб снег был белый, а не грязный, то есть затемненные места следует еще сверху свеженьким снежком припорошить.

Да - ааа... жизнь...

Как - то комендант стоял в Дофе и ждал, когда ему позвонят — там у дежурного по Дофу есть телефон — и сообщает, что послали бульдозер для того, чтобы убрать с центральной площади гигантскую кучу колотого льда, которую соорудил в середине предыдущий бульдозер.

Коменданту должны были позвонить с минуты на минуту, и он ужасно нервничал, дергался всеми своими чувствительными членами одновременно и поминутно обращался к дороге, а если звонил телефон у дежурной, успевал подскочить, до нее ухватиться за трубку и гаркнуть в нее:

— Ка - мен - дан - т!!!

— Ой! — говорили там. — Извините...

— Гм... — говорил он, — трубку бросают... — а там просто хотели у дежурной поинтересоваться какой, фильм в Дофе идет, и только трубка оказывалась на месте, как снова раздавался звонок:

— Ка - мен - дант!!!

И опять:

— Ой! Извините...

Так повторялось множество раз, пока он наконец не увидел, что где - то с горы к площади движется бульдозер, и он не выдержал и, пульсируя на ходу, побежал, скользя, спотыкаясь, навстречу этому бульдозеру, размахивая руками и горланя по дороге какую - то песнь горилы - самца.

А бульдозерист, заметив издалека, что на него бежит одичавший от переживаний комендант, от страха бросил бульдозер и удрал, утопая по пояс, в снежные сопки.

И теперь бульдозер сам шел на площадь, и, когда комендант добежал до него и обнаружил, что внутри никого нет, он при -

нялся прыгать вокруг и орать уже бульдозеру:

— Стой, еб - т! Стой, блядь! Как же здесь нажимается, а? Эй!
Кто -нибудь!

Но никого не потребовалось.

Тот бульдозер остановился только тогда, когда уперся в эту гору льда, сделанную предыдущим бульдозером.

Там он и заглох, железное чудовище.

А еще мы видели коменданта на парадах и на строевых прогулках.

Весна, воскресенье, солнце, теплень — а у нас строевая прогулка.

Мы идем строем — экипаж за экипажем — в поселок, чтоб там походить кругами по дорожкам, создавая своим строевым шагом строевую красоту, а впереди нашего строя на машине с тремя мегафонами наверху едет комендант.

Он таким образом очищает перед нами путь.

А очищать не от кого, поскольку утром в поселке еще никого нет — никто не проснулся, улицы пусты.

И для кого мы тут ходим, непонятно, а дорога идет под горочку — справа кювет, слева — откос, и тут из - за дома вылетает на трехколесном велосипеде крошечный мальчуган и, отчаянно крутя педали, пристраивается перед машиной коменданта, и теперь все мы, и машина коменданта в том числе, приобретаем скорость движения этого крохотного велосипедика.

Какое - то время так и движемся, а потом комендант начинает очищать нам дорогу:

— Мальчик! — говорит он сразу в три мегафона так, что просыпаются горы. — Ма - ль - чик! Принять в сторону!

А парнишка уже понял, что он сделал что - то не так, и отчаянно крутит педали, но от страха не может свернуть в сторону и попрежнему едет впереди нашей процессии.

— Мальчик! — не выдерживает комендант. — Мальчик! Ма - ль - чик, еб твою мать!

И тогда мальчишка резко выворачивает руль и летит под откос — мальчик - велосипед - мальчик - велосипед — пока не достигает дна канавы, после чего ничто уже не мешает красоте нашего строевого движения.

Ах..

А 23 февраля мы с утра до вечера
тоже что-нибудь делали

Только в середине дня нас отпустили домой часа на три яйца погладить, а потом опять, переодевшись в парадную тужурку с медалями, следовало прибыть в Доф и, отметившись на входе у старпома, пройти в зал на торжественное собрание, а ускользнуть невозможно — все дырки заделаны (я сам все проверил), даже окно в туалете закрыто решеткой, и после этой проверки, ослепительно стройные, уже не торопясь, направляемся на торжественное собрание.

Умные пришли в Доф без шинелей: они разделлись у друзей, живущих рядом, и шли метров двадцать — тридцать без шапок среди пурги.

Глупые пришли в шинелях и разделлись в гардеробе.

И вот когда кончилось торжественное собрание...

— Объявляется перерыв!

И все как-то быстренько заторопились к выходу.

— А после перерыва всем опять собраться в зале на концерт художественной самодеятельности!

И все заторопились сильнее.

— Уйдут, — выдыхает капитан первого ранга, распорядитель торжества, — нужно закрыть гардероб. Скажите там, чтоб закрыли гардероб! — Движение масс еще более усиливается. — Шинели! Шинели не выдавать!

Люди побежали, по дороге кто-то упал.

Дверь в гардеробе разбили сразу же, но всех она все равно не вместила, поэтому рядом сломали фанерную стенку и оттуда стали просто выбрасывать шинели наружу, на пол, там по ним ходили, потом поднимали и по обнаруженным в кармане пропускам устнавливали "кто-чья".

— Закройте входную дверь! То-ва-ри-щи офицеры!

— Комендант! Вызовите коменданта!

И приехал комендант! "Всех в тюрьму!!!" — орал он перед дверью гардероба.

Конечно! Я в эти мгновенья был внутри.

Я не хотел надевать чужую шинель.

Я хотел найти свою, и, когда в гардероб ворвался комендант, я всего только успел завернуться в ближайшую шинель, висящую на

вешалке, и остался стоять, а рядом со мной Гудоня — маленький, щуплый лейтенант — тоже завернулся, но от страха он еще и подпрыгнул, поджав ноги.

Он висел ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы вешалка на шинели оторвалась, и тогда он упал, и на него еще сверху легло шинелей пять - шесть.

Шум привлек коменданта, он пробежал мимо меня, бросился, разрыл, достал и потом уже вышел, держа в одной руке потерявшего человеческое обличье Гудоню.

"Не помня вашу сексуальную ориентацию, — как говорил наш старпом, — на всякий случай целую вас в клитор!"

И еще он говорил:

"Как я тронута вашим вниманием,
и особенно выниманием".

И еще он любил стихи:

"Буря мглою небо кроет,
Груды белые крутя".

Нет, ребята!

Лучше все - таки бежать за бирюзой.

Бежать, бежать и видеть перед собой широчайшую спину бедняги Бегемота, и думать о том, какой ты все - таки дурак, что бежишь неизвестно куда.

И это хорошо, потому что ты сам дурак, самостоятельно, без каких бы то ни было побочных дураков.

И это прекрасно.

Я даже своего тестя — золотые его руки — решил приспособить к производству бирюзы, для чего из Киева, под видом пресса, нам прислали два противотанковых домкрата, и мы, напрягая себе шею, сломав по дороге телегу, даже дотащили до него — золотые его руки — эти совершенно неподъемные железяки, которые впоследствии так никогда и не превратились в пресс — золотая его мать, — потому что не хватало еще кучи всяческих деталей.

Бог с ним, штамповали на стороне.

А бирюзу нам варил Витя

Витя был гений.

И, как всякий натуральный гений, он мыслил вслух.

Это был фейерверк.

Это был какой - то ослепительный кошмар.

Он все время говорил.

Он звенел, как мелочь в оцинкованном ведре, и мы легко тонули в обилии свободных радикалов.

Витя мог все.

С помощью индикаторных трубок на что угодно.

Я помню только индикаторные трубки на окись углерода и озон, на аммиак и ацетон, на углеводы и раннюю идиотию — трубку следовало вложить в рот раннему идиоту и через какое - то время вынуть с уже готовым анализом.

Трубок было до чертовой пропасти.

Кроме того, Витя мог заразить весь воздух, всю воду, всю землю и еще три метра под землей трудноразличимыми ядами.

Во времена Клеопатры он наслал бы мор на легионы Антония.

Во времена династии Цин — отравил бы всех монголов.

Сама мама Медичи плакала и просила бы его дать ей яда для ее сына Карла.

Витю надо было только зарядить на идею, и дальше он уже мчался вперед самостоятельно, с невообразимой скоростью изобретая трубки, приборы, способы, методы.

Он все варил голыми руками.

После него можно было годами биться над воспроизведением его методик, и на выходе получалась бы только желтая глина, а у него получались рубины, сапфиры, топазы, потому что он все делал по схеме: один пишем — два в уме.

Он приходил в неистовство, если его не понимали, а поскольку его не понимали сразу, то в неистовство он приходил тут же.

Он спрашивал и сам себе отвечал, повышал на себя голос и выстраивал логические цепи, он не верил и домогался, готовил ловушки и сам в них попадал.

Говорить с ним мог только Бегемот.

Без Бегемота непременно терялась нить разговора.

Витя сварил нам много бирюзы.

“Ах, эти невысказанные потуги, напряжения, колотье в груди.

Все ли усилия наши возвратятся

К нам голубками, перышками легкими, майскими ситцами!” —

сказал бы настоящий поэт, холера его побери.

И не только холера.

Пусть у него загнойтся глаза, тело покроется струпиями и чумными бубонами.

Бирюза...

Мы продавали ее на всех углах.

Мы ходили с ней по городу, и эти драгоценные ядрышки екали у нас в карманах, как каменные яйца или как селезенка у водовозных лошадей.

Мы входили в офисы, расположенные в техникумах и хлебопекарнях.

Мы входили через мужской туалет и попадали в двери, и, как пещера Аладдина, взорам нашим открывалась шикарная жизнь: там на кожаных диванах продавали за рубеж нефть, газ, лес и ввозили в страну йогурт.

Они хотели возить только йогурт.

Они не хотели бирюзы.

А мы им всовывали, втохивали, втирали в очки технологию производства бирюзы и индикаторные трубки на раннюю идиотию, а они делали большие глаза, они вообще не понимали, откуда мы взялись, они делали руками движение — "чур меня, чур", будто отгоняли кого-либо или стирали в памяти.

Они не понимали ни черта, потому что в голове у них — как и у всех торгующих газом и нефтью — был только вентиль: открыли — потекло.

Мы даже Ежкину предложили бирюзу

С Ежкиным мы еще с лейтенантов служили среди сугробов.

А теперь он продавал заношенное белье на вес и существовал среди кислых запахов.

— Еж-ки-н, скотина ты эдакая, — говорил я ему ласково, — почему ты не хочешь купить у нас бирюзу?

А Ежкин смотрел на нас пристально и медленно соображал, потому что в прошлом он к тому же был охотник и быстро и опр-метчиво он только стрелял и бегал, а думал и говорил он медленно.

Помню Ежкина еще в младенчестве, когда он впервые надел лыжи и взял в руки охотничье ружье как инструмент убийства (дробь

в обоих стволах).

И вот Ежкин идет по хрустальному, заснеженному лесу — вокруг застывшая несравненная красота — и доходит до глубокого оврага, а на той стороне в кустах что-то возится.

Он взял и стрельнул в эти кусты (дробь в обоих стволах), а оттуда вылетела кабаниха, мать вепря, мотая головой. Она была размерами с шерстистого носорога.

Она как увидела Ежкина на той стороне оврага, так прямо без подготовки прыгнула к нему в объятия, распластавшись над пропастью.

И Ежкин, от испуга, вместе с лыжами взмыл в воздух и, стремительно собирая по дороге в рот иголки, оказался на самой верхушке гигантской ели.

Кабаниха вырыла под елкой глубокий и убедительный окоп.

Иногда она вскидывала морду к звездам и смотрела — не свалится ли к ней в этот уютный окопчик маленький вкусненький Ежкин?

Она продержала его на дереве всю ночь.

Дерево гнулось и скрипело.

Ежкин висел, раскачиваясь на самой верхушке, черный, как спелый банан, и пел что-то народное, чтоб согреться.

Следует заметить, что Ежкин у нас потомственный охотник на кабана.

Еще его папа, тоже, кстати, Ежкин, не говоря уже о дедушке, охотился на этого чуткого зверя.

Как-то они — его папа с другом — оказались с дипломатической миссией в Германии, и там их пригласили на кабана.

Выпили они по полведра каждый, и их посадили в разные люльки над тропой.

Одного посадили в начале тропы, другого — в конце.

И друг папы Ежкина от пьянства дико пал — вывалился из люльки прямо на тропу, по которой уже пошел зверь.

И на четвереньках — встать он таки не смог — он полз, подгоняемый кабанями и кричал: "Я не кабан! Я не кабан!"

Кричал он, видимо, папе Ежкина, к которому и направлялось все стадо.

Столь глубинное потрясение — а он орал "я не кабан" даже в машине — не прошло для него бесследно. Уволившись в запас, он

сделался яростным защитником всего живого.

Пока я вам все это рассказывал, Ежкин думал о бирюзе.

Думал, думал, искажая свою внешность, а потом он мне сказал решительно, что, мол, бросай, Саня, свою бирюзу, чугуи с ней, и переходи к нам. У нас так хорошо. Мы продаем вещи людям, то есть помогаем им выжить в это непростое время.

И я смотрел на Ежкина, на его раскрасневшееся от благородства лицо, и жалость пронзала мне печень.

Мне вдруг захотелось взять его на руки и обнять, и сказать ему ласково: "Еж - ки - н, ско - ти - на т - ы э - та - ка - я!!!" — а потом, так же внезапно, так же вдруг, видимо, из-за разлитой в воздухе лежалой кислотности, мне захотелось немедленно набе-докурить у них в углу на диване влажной кучей, причитая при этом скрипуче: "У Ежкина родились дети, и странно, но все они были Ежковыми, и у этих детей тоже родились дети — Ежкины до бесконечности..."

После чего хочется искусства

Вот хочется и все тут.

А искусство — оно же не на виду.

Скрыто оно же.

Не всем показывается

Вот, например:

"Где твой язык молодым тюленем едва одолевает бобэоби
Моих губ, чтобы тут же охлынуть к самолюбивой соленой ут-
робе..."

А вот еще:

"И вот ты тянешь меня за уздечку, да и сам я уже вострю
Нежные лыжи охотничьи, чтобы без шума подобраться к твоему
снегирию..."

И потом:

"Чтобы выдернуть из его зоба золотой шнурок с бусинкой по-
беды..."

Да... не всем дано понять, потому, чтоб понять, как говорил наш старпом: "Нужна рость, любовная кость!" — и еще он говорил, упражняя свой ум "положил - заложил - доложил" и "уг-лежопые", а вместо "хуже" говорил "хуйже", например так: "бу-

дет хуй - же".

Эх, где они теперь, мои старпомы - командиры - автономки?

Разве что в неисхоженных уголках моей памяти или в кошмарных сновидениях.

Да - а...

А бирюзу мы все же продали

Одному заезжему индийскому факиру, настоящему гуру, который колесил по свету и показывал чудеса материализации.

И когда по нашей методике из ничего у него получился камень — все рты пооткрывали.

А потом мы поднапряглись и продали ее еще раз этим дурням из Москвы.

Они, правда, не знали, куда ее приложить, эту нашу методику, к какому месту, чтоб получилась бирюза, потому что в отличие от индийского гуру не были снабжены истинным знанием и космическим зрением, но они решили — пусть у них это будет на всякий случай.

— Ах! — мечтали мы с Бегемотом, пожирая добычу, — нам бы побольше таких замечательных психиатрических объектов, которыми, кроме бирюзы, можно продать секреты, например, русского булата или венецианского стекла, красной ртути или египетской бронзы.

Вот мы зажили бы тогда! Мы открывали бы по одному секрету в день, что составило бы 245 секретов в год, не считая суббот и праздников.

Мы открыли бы все секреты в этой стране, а потом перебрались бы в другие места. Меня к примеру, давно волнует узелковое письмо майя.

Спермные! (То есть я хотел сказать "смертные".) Мы бы вам помогли.

Конечно, мы предложили бирюзу и армянам, потому что если с помощью индийского гуру мы распространили ее среди дикарей, поклонявшихся портретам своих умерших родственников, то среди армян — сам Бог велел.

Но в отношении бирюзы у нас с армянами любви не получилось, потому что оплату они хотели производить гранитом и розовым туфом.

Мы решили, что нам не нужен гранит.

И розовый туф.

И вольфрам нам не нужен.

И молибден.

А у них этого баракла — навалом: все горы изрыты.

Изрыты и спущены в реки.

Изгажено - продано - пропито.

Сохранена только национальная неприкосновенность.

Вот где наблюдается чистота и этническое целомудрие! (Может быть, я только что сказал масло масляное, но если дело касается армян, то это ничего, это как раз хорошо, потому что с первого раза до них, как правило, не доходит.)

И потом, какая экспрессия!

Имбирь, натуральный имбирь, в виде запаха, начинает метаться по воздуху, когда несколько армян спорят о направлениях собственного развития.

Бегемот это слушать не может.

Отказывается.

И все после того, как он безуспешно пытался им навязать мини-гидроэлектростанции, а также ветряные электростанции, и они сначала спорили друг с другом до появления стойкого запаха имбиря, а потом, видимо сговорившись, обратились к Бегемоту:

— А можно мы это оплатим гранитом?

— Нет! — вскричал Бегемот. — Только не гранитом! Я это уже слышал! Гранит уже был! Ты хочешь гранит? — обратился он ко мне, и я замотал головой.

— И я не хочу гранит! И розовый туф не хочу! А также я не хочу асфальт, кокс, выделения из электролита, соединения меди и алюминия, цементную пыль и буковые поленья! Все! Хватит! Вместо электричества будете дрова жечь!

И пошли они жечь дрова.

Хотя было еще потом несколько звонков, но с ними говорил я, Бегемот уже не мог говорить — у него в желудке перегорали котлеты.

Армяне звонили и предлагали поставлять компоты в трехлитровых банках, вагонами, а банки нужно было прислать им назад в тех же вагонах. И все это через три границы, где со всех сторон шла война.

— А сена у них нет? — спросил обессиленный Бегемот.

И сено у них было: в виде чабреца,

тмина,

душицы,

мальвы однолетней,

мяты,

дикого чеснока,

лука

борщевика,

кизила,

барбариса,

грецкого ореха,

фундука и черте чего еще.

Все горы усеяны.

Тоннами можно производить.

Сотнями, тысячами тонн, десятками тысяч.

Господи!

Как бы мы зажили, если бы не обессилел Бегемот, который те -
перь, когда ему говорили про армян, вспоминал только гранит, один
только гранит, реже розовый туф.

Мы бы торговали травами!

И все же, я думаю, окончательно его доконала идея производ -
ства персикового масла: собираются, спешите видеть, персики, из
них выделяется косточка, сушится, отделяется скорлупа, которая по -
том идет на обрамление столешниц, семечко давится, масло — в
бутылки, жмых — скоту.

Все!

Бегемот кончился, когда он нашел людей, технологию, меха -
низмы, сертификаты, министерство пищи и труда, собрал, запустил,
испытал, а они ему заявили, что расплатятся вазелином, застрявшим
на армейских складах.

Все!

Кончился

Я стоял над разлагавшимся трупом Бегемота, который медлен -
но, как уставший паровоз, исходил белыми газами.

Потом он, правда, пришел в себя, но слушать об армянах уже
больше не захотел.

И вообще у него слух испортился.

И вот тогда — для восстановления потухшего слуха Бегемота — я пел ему, читал стихи, декламировал творения политических авторов, ерничал, словоблудствовал и вообще вел себя как полный кретин: сочинял, например, детские стишки:

Утром распухло яйцо динозавра -

Самца... —

и так далее.

Наконец я был прощен, потому что персиковые косточки — это была моя идея.

И армяне тоже.

Им позволено было жить и размножаться.

И они были оставлены в своих горах с гранитом, вазелином, чабрецом и кизилом в полном счастье.

Кончилась наша армянская эпопея, зато все остальное, по - моему, только началось.

Электрошок

Как вы относитесь к электрошоку?

Скорее всего, никак.

И подобное устойчивое легкомыслие будет наблюдаться до тех пор, пока вы с ним не столкнетесь.

Будет так: вы стоите в этой стране на асфальте, ни о чем не подозревая, и тут вам неожиданно встречаются пятьсот вольт, и вы их наверняка поприветствуете, поднимете, скажем, ножку, с видимым усилием, отведете ее в сторону, откроете пошире глаза, ртом захотите сказать: "Ах!" — да так и замрете, думая о себе как о постороннем, который стоит (если стоит), держась глазами за забор, и валит в штаны.

Бегемот навалил в штаны, когда случайно эта штука у него в кармане сработала.

Амикошонство с подобными вещами, я считаю, не проходит бесследно — это мое личное наблюдение.

До этого Бегемот прикладывал это выдающееся изобретение ко всяким встречным пьяницам и бродячим собакам, радостно наблюдая у них хорошо отретпетированный паралич, и тут, закончив, как он изволил выразиться, "ходовые испытания", он сунул ее в брюч -

ный карман и совершенно машинально нажал куда следует, и тут же обосрался, и буквально, и фигурально.

Вообще - то военнослужащий, должен вас предупредить, много делает машинально, особенно нажимает на курок.

Никакого разумного объяснения этому явлению нет.

В лучшем случае говорят: "Парность случая" — то есть если нажал один раз, то, что бы ни случилось, нажмешь еще.

Я сам однажды нажал, когда мне показывали газовый пистолет, дети брызнули в окна.

А у Бегемота поменялось лицо, чуть не сказал "на жопу", то есть я хотел заметить, изменилось его выражение: вихреватое добродушие сменила сторожевая бдительность и общая полканистость.

Точно такое же выражение я видел только у жены маячника — смотрителя маяка, когда ее вместе с подкидной доской сняла с постаменты портовая грязнуха, а доска называлась подкидной потому, что устанавливается в деревянном гальюне, стоящем на торце пирса, на полу,

в ней еще дыра прорубается,

и вот через эту дырищу волной - то тебя и может запросто под-
нять и даже подкинуть под потолок,

а волна получается из-за всяческих плавсредств, разнузданно
проходящих по акватории

порта, и поэтому,

сидя над этой дырой,

следует внимательнейшим образом смотреть вперед

и

в щелях между досками следить за этими гондонами —

проходящими плавсредствами,

чтобы потом было время убежать из этого гальюна до подхода
к нему

такого губительного цунами.

А случилось это в одном секретном портовом городишке —

назовем его пока Бреслау,

где жена маячника,

назовем ее Агриппиной,

подобным образом сидела

и наблюдала за акваторией,

и к ней, с наветренной стороны,

совершенно бесшумно,
подобралась портовая грязнуха,
которая своими длиннющими аппарелинами,
выставляющимися далеко вперед, как челюсти,
сбирала с воды всякую дрянь
и которая не поднимала такой безумной волны, как остальные
суденышки,

по причине того, что без волнения легче мусор собирать.
Капитан на грязнухе пребывал в сильнейшем опьянении,
и поэтому она ходила по заливу абсолютно самостоятельно
и все время находилась вне сектора наблюдения маячницы Аг-
риппины.

Так что в какой-то момент она просто сняла гальюн с поста-
мента и стала возить его по заливу концентрическими кругами.

Крыша гальюна от вибрации сползла в воду, стены сами разва-
лились, и открылась миру жена маячника, с тем же выражением лица
— "Я — Полкан!", — что и у Бегемота.

Она боялась пошевелиться
и от страха смотрела только вперед,
и ее мраморная задница была далеко видна.

Со стороны казалось, что по заливу движется ладонь великана,
бережно держащая маленькую фарфоровую статуэтку.

— Молодой человек, вам нехорошо? — спросили у Бегемота
на улице, и Бегемот сказал, что ему хорошо, потому что неправиль-
но себя оценивал после столь мощного извержения.

Потом он продал это чудное изобретение все тем же придур-
кам из Москвы.

Они тут же захотели испробовать.

— Работает? — радостно взблевав, спросили они у Бегемота.

— Работает, — скромно ответил Бегемот и, отведя глаза в
сторону, мягко добавил: — На себе проверял.

— Ну и как?

• — Впечатляет.

— А у нас самая впечатлительная — Маруся, — сказал гене-
ральный директор этого анклава придурков, и не успел Бегемот
сказать: "Ах!" — как тот, предварительно пошлепав, то есть не-
сколько все же разрядив прибор, приложил электрошок электри-
ческими губками к чувствительным ягодицам стоящей рядом секре-

тарши.

То, что сделала потом секретарша, описать нетрудно.

Интересно, где это в человеке помещается столько говна?

Не иначе как в каких-то кладовых.

А потом она села туда же — поскольку наложила она, прямо скажем, сквозь собственные трусы на колени своему директору, и тот, в поднявшейся неразберихе, тоже оказался ужаленным все тем же инструментом, выпавшим из рук, после чего он потерял

речь,

зрение,

обоняние,

осязание,

слух

и разум,

и забыл нам оплатить вторую половину денег.

Мало того, за Бегемотом еще гнались полквартала, и он бежал как ветер.

**Именно с этого момента во мне
проснулся интерес к литературе**

Точно, это было в пятницу: я вдруг подошел к книжному шкафу и, что никогда не делал, ласково погладил корешки (книг, конечно же).

После чего, само собой, меня уже неудержимо потянули к себе — с точки зрения композиционной, разумеется — психологические опусы ранних и экзистенциальные сентенции поздних французов, и я немедленно увлекся соотношениями парадоксального, ортодоксального и исповедального в прозе, полюбил ненавязчивые парадигмы.

Теперь меня часто можно было наблюдать шляющимся с томом Паскаля в руке, а также изучающим всякие Авесты Ницше и Фрейда.

Я полюбил приставки и суффиксы,

аффиксы и префиксы,

и особенно корни — их в первую голову.

Все теперь для меня имело значение, и мир теперь являл собой особую ценность, потому что в нем были слова —

мягкие,

терпкие,
гладкие,
едкие,
колючие,
жгучие,
вкусные,
грустные.

Я даже посещал поэтические семинары.

Там по вечерам собирались поэты и в атмосфере хрупкости душевного устройства слагали вирши.

Следовало при этом их хвалить.

Потому что поэта можно легко убить, сказав, что у него не стихи, а говно.

Нужно было говорить так: "... Образность прозрачных линий не всегда доминирует... э... я бы сказал... вот..."

Семинары вел гений — сын ящерицы: потому что на абсолютно лысом черепе глаза казались особенно выпуклыми, потому что помещались в бутоне из складок полувяленной кожи.

Когда я впервые увидел это сокровище отечественной изящной словесности, я почему-то подумал, что он должен ходить по душевной комнате босиком с лукошком и разбрасывать по стенам гекконов, которых он из этого лукошка и достает.

Он разбрасывает — они прилипают.

Я там узнал много новых слов.

Я там узнал слово "сакральное".

Его следовало произносить с придыханием, томно расслабив члены.

Его нужно было вставлять где попало — оно всегда выглядело к месту.

Там же я познакомился с иностранцами.

И даже прослыл среди них чем-то вроде путеводителя.

Как-то девушка — прекрасная американка — сидела рядом со мной, и битый час мы разговаривали о филологии.

Она была неистощима.

Ее интересовали всякие новые слова, а также различные русские ортодоксальные течения в литературе, по поводу которых вначале я что-то мямлил, но потом, установив, что она впитывает всякий хлам, как малайская губка, разошелся и с непередаваемой легкостью вязал

в нечто восьминое и клириков, и лириков, и всяких, и прочих.

Мне нравились ее глаза — серо - голубые, как северные небеса.

Мне нравился ее нос — немножко вздернутый, ее губы, чуть припухлые, как у обиженного ребенка, ее локоны, мелкими льяны - ми колечками разметавшиеся по плечам, розовой спине, попадавшие во впадину между лопатками, обещавшими сейчас же задышать летним зноем, запахнуть грушами, коснись только их слегка.

Мне нравились ее руки — крупные, белые.

Мне нравились ее ноги — крупные, белые.

Ступни, бедра, лодыжки.

Я чувствовал, что оживаю, что внутри струятся соки.

Почему - то захотелось сделаться маленьким и посидеть у нее на коленях, и чтоб она была моей мамой.

— Ххх - ууу - иий! — простонала она.

— Что? — не понял я.

— Я давно хотела спросить, — сказала она, — есть одно такое русское слово, его много говорят, его надо сказать так, как будто ты выдыхаешь, вот так, — и она набрала воздух, — Хххх - ууу - иий!

Этим, знаете ли, все и кончилось, и я снова нашел Бегемота.

— Членистоногое! — сказал я ему, раскрывшему глаза широко.

— Только член и ноги! Напустил девушке полную лохань своих говоластиков, а теперь не хочет жениться! — Видя, что напасть на него внезапно мне не удалось, я продолжил:

— Помыл тело и за дело! Настроил инструмент и за документ! Вы, я вижу, все позабыли. Что вы на меня усталились, вяловатая тайландская кишечная палочка! Вы что себе вообразили, пиписька ушастого коршуна, если я на мгновение занялся отечественной литературой, которая в этот момент неотступно погибала, значит, можно вообще все бросить и не думать ни о чем? Так что ли?! Где отчет по ядам для всей планеты? Где, разработки единственного противоядия? Где плановая организация витаминного голода и защита от него? Что вы на меня так усталились, мороженный презерватив кашалота? Соберите свои мысли в пучок, мамыны фаллопиевы трубы, просифоньте, просквозите, промычите, проблейте что - нибудь, не стойте как поэто, накашляйте, наконец, какой - нибудь рецепт всеобщей радости!

Вот!

Скажу вам откровенно: военнослужащий устроен так, что на него нужно орать.

Только тогда он ощущает себя человеком, способным к немедленному воспроизводству.

Лицо у тебя должно быть веселое в тот момент, когда ты порешь всю эту чушь лимонную, а голос — о голосе особый разговор, к нему особое наше почтение — у тебя должен звучать бодро, смачно, самоутверждающе, потому что военнослужащий, как и всякий другой кобель, в основном помещен в голосе.

Ты орешь на него, и он, вначале испугавшись, вдруг с какого-то момента начинает замечать, что это ты шутишь так по-дурацки, и в это мгновенье он понимает, что, в общем-то, ты к нему замечательно относишься, что ты его любишь, в конце-то концов, и он, если он к тому же твой подчиненный, начинает тоже тебя отчаянно любить.

Так устроен мир.

И не нам, военным, его менять.

И пусть даже Бегемот теперь в запасе.

Но рефлексы - то у него остались.

Тем и воспользуемся.

И вы, граждане, тоже пользуйтесь своими рефлексами, если они у вас остались.

Это помогает жить.

А все-таки жаль, что я не стал поэтом, таким, как Лев Николаевич Толстой, например (потому что он прежде всего поэт, я считаю; у него в прозе есть скрытые рифмы). Я бы тогда тоже писал дневники:

План на завтра:

встать в четыре утра, наблюдать зарю,

скакать на коне,

не говорить чепухи,

дать Степану пятиалтынный.

Итоги за день:

встал пополуночи,

полчаса давил прыщи,

потом нес какую-то околесицу, в результате чего:

дал Степану в морду.

А потом эти дневники изучали бы пристально и писали б диссертации о степени реализации моего подлинного чувства.

Кстати, о морде

Я давно заприметил, что в схожих ситуациях у военнослужащих бывают очень похожие морды (я имею в виду лица).

Просто не отличить.

Я имею в виду их выражение: виноватая готовность к ежедневному самоотречению.

Правда, ситуация должна быть такая их куда - то послали, но они туда не дошли по причине того, что дороги еще не проложены.

И у Бегемота бывает такое выражение, такая тоска собачья, и тогда - то я и пытаюсь его развеселить всякими глупостями, которые на самом - то деле, как уже говорилось, означают совсем не это, но военнослужащий понимает то, что другие понять не в состоянии: он вслушивается и ловит не смысл, а интонацию, которая говорит ему не дрейфь, все хорошо, ничего страшного, прорвемся, ну же, смотри веселей, и не такое бывало, подумаешь, плевать, плюнул! Молодец!

И сейчас же выражение лица меняется.

Полет в нем появляется.

И свет, и блеск, и озорство дворовое.

И еще об озорстве

У Бегемота, как уже говорилось, не всегда присутствует озорство.

А у Коли Гривасова, который теперь торгует фальшивым жемчугом, всегда.

Вот смотрю я, бывало, на лицо Коли, появившегося на свет после обильных паводков в среднерусском недородье, и думаю: где ж ты получил свое озорство?

Если б перед Дарвином в определенный период его дарвиновой биографии маячила не нафабренная и чопорная физиономия англичанина (эсквайра, я полагаю), а светящаяся здоровьем прыщ-

ватая рожа Коли Гривасова, он бы не сделал гениальный вывод о том, что человек произошел от обезьяны, он сделал бы другой гениальный вывод о том, что человек произошел от коровы, и гораздо позже произошел.

Между прочим, я Коленьку из писсуара доставал.

В свое время природа, шлепая ладошками по первоначальной глине и возведя из нее личико Коли Гривасова, всю старалась придать ему хоть какое-то выражение; так старалась, что совершенно забыла об овале.

Овалом лицо Коленьки в точности повторяло овал писсуара.

В уволнении Колюша аккуратненько напивался

Здесь под словом "аккуратненько" я понимаю такое состояние общекультурных ценностей, когда человек не проливает ни капли, после чего этот человек приходит в ротное помещение.

А я стою дневальным, и этот мерзавец Колюня, разумеется, по-является без пяти двенадцать, а я уже исчезал весь, мне же нужно о прибытии личного состава доложить.

— Ко-ле-нь-ка, — тянет эта сволочь, стоя на пороге, будучи в хлам, поскольку разговаривает он с самим собой, — почему же ты опять наливаешься? Зачем все это? К чему? В чем причина? Каковы обстоятельства? Как это можно объяснить? А объяснять придется! И прежде всего самому себе! Это вам не яйцами орешки колоть!

Потом он пошел к писсуарам, а я взялся за телефон, чтобы про-известить доклад. И тут из писсуарной раздается крик полуденного пекари.

Я вбегаю, чтоб узреть следующие виды: Коля стоит перед писсуаром на коленях, а голова у него в нем глубоко внутри.

И орет, скользкая сиволалка, потому что застрял.

Видимо, за водичкой они полезли.

Испить задумали.

Вот тут-то овал и пригодился: по уши влез и ушки назад не пустили.

Я его тяну, а он орет, конская золотуха.

Тогда я бросился и намылил ему уши хозяйственным мылом.

И пошла пена.

Я уже наклонился, чтобы понять — из Коли она поперла или все-таки от мыла?

От мыла, слава тебе Господи!

И тут меня как кипятком обдало: он же сейчас в пене захлебнется!

Клиторный бабай!

Корявка ишачья!

Вымя крокодила!

Что ж я наделал, он же сдохнет сейчас!

И я, в полном безумье, нахожу глазами, которые давно на затылке, что - нибудь жирное, например крем для обуви, и, подтянувшись к нему, не выпуская Колю, которого держу за шкирятник, начинаю мазать ему уши этой дрянью, а потом к-э-к дернул!

И Коля выдергивается с таким чавканьем, будто я его у африканского слона из черной жопы достал!

И мы с ним — я сверху, он под ногами — начинаем улыбаться, отводя свои дикие взоры от писсуара, и видим дежурного по училищу; он смотрит на нас не отрываясь.

— Товарищ капитан первого ранга... — выдавливаю я, и дальше у меня воздух кончается, потому что замечаю, что он все - все понимает.

— Когда домоете последнего, — говорит он мне после некоторой паузы, восстанавливающей приличие в позах, — доложите о наличии личного состава.

— И-и-е...есть! — восклицаю я в полном счастье, после чего мне ничего не остается, как сунуть Колю назад в писсуар.

Ах, Коля, Коля...

Коля после увольнения в запас все делал с серьезнейшим неторопливейшим видом, и лицо, которое мы чуть выше вскользь описали, к тому же располагало, благодаря чему и производил он впечатление ответственного человека, но потом вдруг — ах! Трах! И все превращалось в полную ерунду, потому что всплывало, всходило, выпучивалось глубинное природное озорство, и наутро он ничего не помнил, потому что, озорничая, не отложил в уме, потому что оплошал.

А все ему верили: "Как же! Такой человек, он нам обещал".

А Коля не мог обещать, потому что это слово, с самого сарфанного детства, неправильно в себе ощущал.

Это им казалось, что он им обещал, потому что ситуация и

обстоятельства к такому выводу подводили.

Подводили, но не всех.

Колю, например, не подводили.

А под его "обещал" уже где-то договоры заключили и ездили место осматривать...

— Ребята, — говорил нам Коля. — Давайте вместе продавать фальшивый жемчуг.

А я смотрел на него, вспоминал, как я его из писсуара доставал, и мне вдруг становилось жалко Колю.

Ведь не подлый же он человек.

Ну не дал ему Бог ума, ну разве ж это преступление?

Вот отслужил он двадцать пять лет на подводных лодках и вышел оттуда целокупным идиотом, но ведь он и раньше был не Лук-реций Кар?

Куда ж его теперь применить,

прилепить,

примандить,

пришмандорить,

прищепить,

прикупить,

прислонявить слегка.

А может, действительно пусть продает свой паршивый жемчуг?

А?

Ведь покупают же его какие-то безумцы? Значит, нужен он, пусть даже с таким акропетическим овалом (не жемчуг, конечно).

Но нам с Бегемотом этого не надо.

Он нам не нужен.

Коля наш.

А Бегемот мне вообще сказал:

— Не тревожь кретина.

И я не стал его тревожить.

Эх, драгоценный мой читатель, знаешь ли ты, как после всех этих воспоминаний хочется жить, дышать, поглощать альвеолами космическую прану, как хочется размножаться, буреподобно семяизвергаясь из семяводов, или хочется вдруг сломя голову побежать с косогора и на берегу уже распахнуть руки и ощутить упругость

этого вкусного мира.

Или хочется себе придумать эпитафию: "Он ушел, непрестанно оргазмируя!"

Или хочется написать письмо собственной жене, сидящей за пальцами в соседней комнате:

"Дорогая Дарья!

Сегодня на тебя будет совершенно сексуальное нападение!

Готова ли ты к нему?

Я вижу, что не готова, что недостаточно прочувствовала степень ответственности (точности, жачности, клячности).

Я тебе симпатизирую.

Я помогу тебе максимизировать степень отдачи.

Прежде всего настрой себя мысленно.

Будь строга в движениях и в дыханиях своих будь необычайно ритмична, чтобы, заводя разговоры о члене, все участники описываемых событий не говорили: мы теряем его.

Это важно.

Дарья

Дорогая

А потом так приятно приступить к процессу, все привлеченные к которому норовят все попробовать своими спелыми губами, уподобляясь молодым игуанодонам, чьи игры с юными веточками акаций всегда заканчивались поеданием последних, хотя сначала были и вздохи, и нежнейшее скрадывание, и топтание на месте.

А если дело касается груши, что то вянет, то снова наливается, то, как нам видится, самое подходящее для нее нахождение — это нахождение во рту у той, что более всех остальных нам дорога.

Незловбивая моя, простишь ли ты мне эти строки?"

Я еще раз про себя перечитал это письмо, в некоторых местах снабдил его многоточием, после чего испытал чувство полноты.

Полнота как чувство, задумчивый мой читатель, это такое состояние душевных движений, когда нигде не жмет или же не выпирает, как если б, например, у вас порвался носок в ботинке, то есть состоялась в нем дырка, через которую большой палец почувствовал близкую свободу, и никакой силы нет теперь с ним совладать, и при ходьбе теперь приходится все время о нем помнить.

Вот как я представляю себе чувство полноты.

Так что, возвращаясь к нему как к чувству, должен вам заявить,

что многие его, по всей видимости, лишены.

— Слушай! — сказал я Бегемоту, собираясь проверить это свое умозаключение. — Давно хотел тебя спросить: как у тебя с чувством полноты?

Тут я должен заметить, что не всегда у нас с Бегемотом сразу же наступает взаимопонимание, некоторое несовпадение мыслительных процессов все-таки налицо.

— Иди ты в жопу, — сказал мне Бегемот, и это не было случайностью. Это и было, как раз тем самым несовпадением, о котором я только что говорил.

После этого меня как правило, берет оторопь.

— Слушай, ты, — говорю я Бегемоту, — гвоздик с каблука босоножки маминой мандавошки! Меня берет оторопь, а это значит, что я расстроен, лишен жизненных ориентиров. Как же я теперь буду распутывать клубок чувственных, а значит, и нравственных ассоциаций?

Между нами говоря, оторопь — это положение, в котором военнослужащий может пребывать годами. Из нее меня выводит только стишок:

Птичка какает на ветке,
Дядя ходит срать в овин,
Честь имею вас поздравить
Со днем ваших именин!

Выйдя из оторопи, я немедленно набрасываюсь на Бегемота:

— И что это за направление, что за выражение такое — "иди в жопу"? Вот однажды жена известного, но душевно ломкого писателя послала своего мужа в жопу, и он пошел, а потом еще долго-долго из необъятной задницы жены писателя торчали тонкие ноги самого писателя. Его доставать, а он ни в какую.

Не лезет.

Не хочет.

А когда его наконец достали, он всем с горячностью рассказывал о необычайном чувстве тесноты и одновременно теплоты.

"Приют уединения", — говорил он и называл жопу "розочкой-звездочкой".

Спятил человек.

А полковник с кафедры общественных дисциплин? После пятидесяти лет совместной жизни пожелал уважения, пожелал, чтоб жена обращалась к нему на "вы" и "товарищ полковник", а она его послала в жопу, он схватил ружье и выстрелил в потолок.

Увезли по "скорой" в психушку, где он скончался, не выходя из транса, все твердил: "Вы — товарищ полковник! Вы — товарищ полковник!" — а жена с тех пор зажила хорошо: прозрела, порозовела, стала чистить пятки пемзой.

Вот если вы, мамыны надои, папин козодой, будете посылать меня куда попало, то я, казус беллини, скорее всего тоже что - ни будь выкину, — закончил я свою отповедь.

Надо сказать, что Бегемот выглядел смущенным, и я, оставив его на некоторое время в этом состоянии, принялся размышлять о том, что, в сущности, в послании "в жопу" для русского народа есть какая-то особая, недоступная пока для моего понимания изюминка, как раз и вызывающая это смущение.

Видимо, смущает интонация, поскольку интонационно это послание чрезвычайно богато, то есть каждый раз неожиданно и потому ново.

Вот готовимся мы к зачетной стрельбе: сидим на ПКЗ (несколько офицеров) в каюте и кидаемся в закрытую дверь дротиками — они только появились в продаже, маленькие такие, остренькие - преостренькие, с красными перышками. Мы на двери, прямо поверх политотдельского лозунга — "Ничто! Ни за что! Ни при каких обстоятельствах не может служить оправданием забубенному пьянству!" — расположили мишень и теперь бросаемся в нее дротиками и от возбуждения орем: "Десятка! Девятка!"

И врывается к нам старпом, привлеченный криками.

А старпом наш всегда врывается без стука туда, где, как ему кажется, специальная подготовка находится под угрозой уничтожения

Дверь с треском распаивается, и дротик, пущенный чьей-то разгулявшейся рукой, глубоко втыкается старпому в грудь.

Он пробивает бирюльку "За дальний поход" и увязает в толстом блокноте, который старпом всегда носит у сердца.

Все онемели, и старпом, чувствуя, что его только что убили, именно потому что дротик торчит у него из груди, а боли он в то же время совершенно не чувствует и на этом основании полагает,

что он уже умер, медленно поворачивается и, стараясь не повредить дротик, осторожненько выходит из каюты.

У него такое выражение, будто он выносит тазик с кобрами.

И тут ему попадается замполит, который совершенно не замечает того, какое теперь состояние у старпома, и начинает говорить:

— Николаич! Я тут только что подумал и решил, что перед ракетной стрельбой нужно развернуть соцсоревнование, организовывать по подразделениям прием индивидуальных обязательств под девизом: "Отличная стрельба — наш ответ на заботу..."

— Да-а-и-д-и-т-ы-в-ж-о-п-п-у! — говорит ему старпом, и глаза у него вылезают из орбит, потому что он не выдерживает такого отношения, когда он умер, а его смерть никого не интересует.

Что было после, не помню, потому что в такой ситуации, как это принято на флоте, каждый спасает только себя.

И я себя спас.

Это я помню.

Но вернемся к Бегемоту, который как раз вышел из смущения, что было видно по состоянию его ушей: из радикально красных они сделались нежно-розовыми, прозрачными на солнце, и солнце сквозь них то играло-играло, то на него набегала какая-то легкая незначительная тень.

— Слушай, Саня, — сказал мне Бегемот, — честно говоря, нам надо разбежаться. Твоя игривость меня уже задолбала. Что я тебе, мальчик, что ли?..

После чего Бегемот ушел.

Скорее всего, навсегда из моей жизни.

В его голосе слышалась горечь, а горечь — штука заразительная, и мне, разлюбозные зрители, стало плохо.

Мне было так плохо, что лучше б я налетел на столб, упал бы в люк, поскользнулся на трапе.

Лучше б меня прижало где-нибудь на погрузке чего-то железного или побило по голове.

А внутри уже обида расположилась со всеми своими пиявками.

И обжилась там...

Эх, Бегемот...

Я, конечно, не стал ему объяснять, что в той, прошлой жизни, меня трахали каждый день.

И очень умело это делали.

Словно не замечая того, что я все - таки человек.

Походя так — трах - трах.

А ты всегда как - то не готов к этому и сказать ничего не можешь, кроме всяких там "как же"... "вот"... "да я же"... "совсем не в том смысле...", и сам ты во всей этой ситуации, получается, вещь, и поэтому, когда я теперь говорю о чем - то или даже, может быть, издеваюсь, смысл совсем не в том и не там, то есть весь этот поток моих выражений не выражает тех выражений, а означает что - то элементарное, например: "плохо", "страшно", "стыдно".

Так что у меня это еще с тех времен, когда меня трахали.

Да все Бегемот понимает.

Он же тоже служил.

Просто каждый, я думаю, не выдерживает по - своему, и тогда человеку нужно спрятаться куда - то, замуроваться, замазать все щели.

Да - а... Бегемот...

А мы и не будем расстраиваться.

Вот еще!

Это нам несвойственно.

Лучше мы отправимся на вручение литературных премий.

Тем более что нас пригласили.

И там уже все приготовлено: и премии, и столы, и литература.

И еще мне там очень понравилось свидетельство победы в области прозы, поэзии и драматургии.

Оно напоминало член от танка: бронзовая колонка помещалась на массивном фундаменте - елде, а наверху у нее красовался литературный ноль, свитый из лавровых листьев, и ведущий, с выражением на лице "все мы любим литературу до появления слез", говорил о претендентах всякие гадости, которые скорее всего за неделю до этого были выдержаны им в чане сладких любезностей, а потом, перед самым представлением, вываляны в мишуре ненужных словес.

И он, как мне виделось, все время боялся, что это свойство его речи сейчас же обнаружится, и держал спину согнутой для побоев, но обошлось, не обнаружилось, потому что все ждали конца и, раздавшись, устремились к столам с едой.

"Дорогая!

Теперь будет так:

я вхожу в помещение,
расстегиваю ширинку и достаю,
а ты, опустившись на колени,
надсадно, истерически сосешь.

Потом я вытираю руки о твою голову
и улыбаюсь". (Я думаю, это сказано о литературе.)

Они ели, как жужелицы труп жука - геркулеса.

И их руки, глаза, рты мелькали, распадалась на отдельные детали и сочетались вновь, складывались вместе с едой в чудесное куролесье, чмокали и пускались вприсядку.

Они жрали все это так же, как и свою разлюбленную литературу, высасывая мозговые косточки, не забывая о корзиночках и тартиночках, совершенно не беспокоясь о беспрестанно падающих крошках, копошась и отрывая то, что не способны переварить.

Там было несколько особ высокого литературного рукоделья, периодически паразитировавших на свежесгнивших телах гениев и корифеев, которые — особы, конечно, — так же, как и все остальные, демонстрировали необычайную легкость перехода от потрясений литературного толка к потрясениям существа, употребляющего соленые брюшки семги.

Там были жены от литературы и дети от литературы.

Там были даже прадети, которые еще не дети, но, вполне, возможно, пописав, станут детьми в прошлом или в будущем.

Там были даже гады от литературы, а также недогады — черви и мокрицы.

И там был я.

И чего я там был — никто не знает.

Скорее всего, я был там из-за Бегемота — нужно ж было себя на время куда-то деть.

И все-таки, Бегемот — ублюдина.

Толстая скотина, крот брюхатый, черно-белый идиот, поскребыш удачи.

Обиделся он, видите ли, на то, что я сказал тридцать три страницы назад.

Ах, как вовремя он это сделал!

Ну и что, что я сказал?!

Мало ли о чем я вообще говорю.

Может, я не могу не говорить?

Может быть, если я не буду болтать, то я не смогу находиться с вами на одной планете.

Может, мне противно будет с вами находиться.

Может, вы меня тоже задолбали.

Может, вы все, абсолютно все — знакомые, полузнакомые, со всем незнакомые — уже давно проникли в меня, влипли, влезли, привязались, растащили меня по частям. Кому досталась моя голова, и он рад чрезвычайно; кому — сердце, а вот тот, рыжий, смотрите же, он это, он, — увел мой желудок, а этому досталась печень.

И вот уже я не существую.

Я не принадлежу себе.

У меня внутри ваши связи, шнуры, провода, и общаются мои части исключительно при вашем милом посредничестве: "Извините, пожалуйста, но не сможете ли вы передать, что мне на такое - то время понадобилась моя селезенка.."

Фу, сука...

Следует отвлечься

Проветрить, знаете ли, ум, восстановить равновесие души.

А для полноты восстановления душевного равновесия придется рассказать самому себе чего -нибудь, какую -нибудь историю из жизни знаменитости.

Например, такую: однажды жена (знаменитости) говорит ему: "Ты должен побрить мне промежность. Я там сама ничего не вижу".

А он ей отвечает: "А если не побрею? Представляешь, через какое - то время иду я, а рядом со мной катится волосатый шар, и шар мне все время говорит: побрей меня! Мою промежность! Ви -дишь, как разрослась! Невозможно же! Сколько говорить можно! Я говорю — я слышу!"

После этого нужно пропеть частушку:

Как на Курском на вокзале

Три мизды в узел связали,

Положили на весы,

Во все стороны усы.

И все! Равновесие восстановлено.

А чего я, собственно, переживаю насчет Бегемота?

Да пусть катится на все четыре.

Пусть уморит кого -нибудь, взорвет полмира.

Он же с инициативой, идиот, он же с выдумкой, он же с танцами.

Он же приплясывает, если изобретает вместе со своим Витень -кой какой -нибудь очередной дематериализатор.

А потом он помчится его демонстрировать, вот тут -то все и поплачут изумрудными слезами, а меня рядом не будет, чтоб соби -рать в коробочку эти слезки всего прогрессивного человечества.

Вот и отлично.

Дуралей, вот дуралей!

Он же без меня сейчас же выкрасит и продаст обычную ртуть под видом красной.

И ее повезут с риском обнаружения через три границы, бережно прижимая к себе, чтоб по дороге, не дай Бог, не взорвать.

Ему же уже делали предложение относительно изобретения сверхмощного взрывного устройства, и он пришел ко мне с глазами мамы Пушкина, полными от жадности слез:

— Саня.. это миллионы!!!

Арабские эмираты..

А потом была карманная лазерная пушка и еще одно милое изобретение — смажешь им на ночь входную дверь, и ровно через десять суток она взрывается.

Господи, сохрани придурка!

Он же сварит чего -нибудь у себя на кухне.

Тут уже получалась одна занятная штукавина: при приеме ее внутрь можно ненадолго изменить свою внешность — отрастить, например, себе чудовищные надбровные дуги.

А покушал другой отравы — и порядок, все восстанавливается. Составляйте потом словесные портреты.

Ехала рыдала,

падала икала...

Эх, Бегемотушка! И чего это ты со мной поссорился? Может быть, это страх? Знаешь, бывает иногда такой необъяснимый страх просыпаешься и боишься. Сам не знаешь чего.

Ты чего испугался, глупенький? Приснилось что -нибудь или жизнь придвинула вплотную к лицу свою малоприятную морду? Так ты ее по сусалам!

Ты куда кинулся от меня, губошлеп несчастный! А кто будет охранять вам спину, доделывать за вас, долизывать, домучивать?..

Та - ах, ладно, хватит! Бегемот Бегемотом, но скоро нужно будет что - то кушать.

Тут недавно Петька Гарькавый, лучшим выражением которого на всю жизнь останется "Вчера срал в туалете стрелами Робин Гуда", предложил заняться европоддонами.

А может быть, действительно, хватит относиться с презрением к отечественному сухостью (то есть к дереву, разумеется, я хотел сказать)?

И займусь я, к общей радости, этим малопонятым дерьмом, основным показателем которого, как мне кажется, является сучковатость, то бишь количество сучков на квадратном метре.

Или можно переправлять за рубеж сушеный яд несуществующих туркестанских кобр.

Кобры в серпентарии на границе империи от бескормицы в связи с недородом мышей давно сдохли, но яд сохранился, поскольку его заранее надоили.

Оттуда уже приезжали два орла с блеском наживы в глазах, источали от жадности зной.

Так что не пропадем, я думаю, и без вас, дорогой наш Бегемот..

Хотя, надо вам признаться, временами совершенно ничего не хочется делать, не хочется мыслить - чувствовать - говорить и сочинять верлибры; и тогда самое время отправиться на выставку современного искусства, где, уставясь в засунутые под стекло приклеенные вертикально стоптанные бабушкины шлепанцы, подумать о том, сколько все - таки наскоро сляпанной жизни проносится мимо тебя.

И как, видимо, хорошо, что ты до сих пор не сиротствуешь, не шьешь разноцветные балахоны, не надеваешь их то на себя, то на жестяной куб.

И как все - таки здорово, что ты не воешь собакой, не собираешь с полу воображаемый мусор и не кусаешь входящих у дверей.

А ведь ради разнообразия можно было и покуролесить: полупоглазить совой или поухать филином, побить головой в тимпан или покакать мелкой птахой.

Или можно покашлять под музыку, поухать, повздыхать, пообнимать разводы ржавчины на спивших стенах, попржиматься к ним беззащитной щекой, а потом спросить у публики детским голоском:

“Мама, это не больно, правда?” — и все будет принято, потому как искусство, пипись оно конем.

Да.. я тогда долго переживал, но потом как - то выбросил Бегемота из своей памяти.

Знаете, оказывается, можно все - таки выбросить человека из памяти.

Главное — не думать о нем.

Только тебя занозило, задергало, только ты снова начал с ним разговаривать, бормотать ему что - то о своих обидах, как тут же следует придумать что - нибудь веселое: например, как было бы хо - рошо, если бы тебя назначили принцем Монако, если, конечно, в Монако сохранились принцы.

Да - да, я почти забыл о Бегемоте, или, во всяком случае, мне так казалось до того момента, как мне позвонила его жена.

... Она мне что - то говорила...

Бегемота только что внесли домой какие - то люди.

Из всего я запомнил: что его внесли домой какие - то люди, он был весь в колотых ранах, но еще жив.

Знаете, я всегда считал себя нечувствительным человеком, а тут вдруг под рубашкой стало мокро от пота и душно, душно...

НУ

Совершенно чокнулся.. Отловил меня на палубе и говорит:

— Вы не любите наше государство.

А я ему немедленно в ответ, нервно, быстро, визгливо, чтоб не успел сообразить:

— Точно. Не люблю. Правда я не люблю не только наше, я не люблю любое государство, потому что оно — орудие подавления. Это пресс, который давит. И кто ж его будет любить, когда он так давит? Может быть жмых любит пресс, который давит?! Может это какой - то ненормальный жмых. Его давят, а он любит. Вы с таким явлением не встречались? Кстати, сколько жмых не дави, в нем все

равно остается немного масло. Для себя. И мне симпатична эта идея. Что им не все удастся выдать.

А зам мне с каким - то непомерным отчаяньем:

— Я хочу сказать, что вы не любите Отечество, нашу Отчизну!

А я ему:

— А что такое Отечество? И что такое Отчизна? Можете с ходу дать определение? Вот видите: не можете. Вы еще скажите, что я его обманываю. Отечество вместе с Отчизной, определение которым вы с ходу не можете дать. А я вам на это отвечу, что если бы я сделал ребенка в Эфиопии, то тогда, может быть, я бы и обманул свою Отчизну вместе с Отечеством. Но я сделал его здесь. И по поводу прироста народонаселения с моей стороны не наблюдается никакого лукавства. А по - другому мне никак не выразить к нему любовь и восхищение. А в тюрьме, как известно, и гиппопотамы...

— Хватит! — вскрикивает зам и пот у него выступает бисером на лбу бургистом.

— Ну, — думаю, — амба. Хорошо. Как бы с ним чего не вышло. Доказывай потом, что зам умер от того, что мы не сошлись в терминах.

— Антон Евсеич! — говорю ему очень мягко, потому что разговор этот проходит у нас в наше время, и чего нам с ним делить. Вот если бы мы говорили лет пятнадцать назад, тогда, конечно, упекли бы меня за милую душу и сердце беззлобное, а так... — Ну что вы в самом - то деле! Чего вы ни с того, ни с сего. Слова все это. Одни слова. А вы посмотрите какое вокруг солнце, небо, облака. Обратите на облака свое особое внимание. Какой у них сказочный нижний край. Ведь чистый перламутр. А воздух?! Вдохните. Вдохните этот воздух. Вдохните и вспомните цветы, листву, траву, лица людей, их улыбки...

— Хорошо, — сказал он как - то совсем обречено и направился в каюту.

А я уже и сказать ничего не мог. Ерунда какая - то. Только руками развел.

СЕМЬ СЛОВ

ЗАНЯТИЯ

Должен вам доложить, брюхоногие, что во вторник у нас в базе наблюдались занятия по специальности,

по случаю которых командующий — имя - наше - Паша — пригласил к себе командиров кораблей, чтобы лично подергать их за трепетные семягоды;

а зам командующего по механической части, внук походного велосипеда, собрал всех своих долбануток механиков, чтоб собственноручно задушить всякие вредные инициативы;

и командир 32 - ой вредоносной дивизии атомных ракетоносцев, рожденный в полутьме на ощупь, обязал четыре экипажа появиться в районе пирса № 7 на показательное учение по взрыву химической регенерации;

а на подводной лодке К - 213 как раз в эти минуты с помощью все той же регенерации делали большую приборку в боевой рубке,

для чего голыми неуклюжими матросскими руками были разломаны свежие пластины регенерации, накинаны в банку и залиты водой,

после чего банку оттащили в боевую рубку.

И вот уже командующий взялся за командирские семенники, юдольные,

флагманский мех — за зародыши инициативы,

а матрос взялся за тряпку,

которую через секунду - другую он обязательно окунет в кипящее месиво,

и в районе пирса № 7 построились в каре четыре экипажа: «Равняйся! Смирно!» —

а в середине этого каре был разложен гигантский костер, куда под пристальными взглядами командира дивизии и флаг -

манского химика швырялись пластины регенерации вперемешку со
всяческим мусором,

которые ядовито шипели и плавилась, да только никак не взры-
вались, тетю за титю,

отчего каре постепенно сжималось,

поскольку всем хотелось не пропустить сам взрыв,

и что только не лили, не бросали в костер, жареные фазаны и
святые угодники —

и турбинное масло, и ветошь отечественную промасленную, и
прочее, и прочее — а взрыва все нет и нет!

А без взрыва как объяснить, что регенерация штука чрезвычай-
но опасная и за ней нужен глаз да глаз?

Никак не объяснить.

И командир дивизии нервничает, всем понятно почему,

и обзывает флагшима по-всякому.

И тут матрос, недоношенный эмбрион кашалота - карлика,

возжелавший заделать приборку в боевой рубке,

окунает - таки руку, сжимавшую тряпку, по локоть в банку с яро-
стно булькающей регенерацией,

и тряпка, щеточка женская, африканская, она же мужская, немед-
ленно загорается,

а банка вылетает из рук оторопевшего матроса и летит вниз,

в центральный пост,

где она бухается оземь, остается стоять вертикально и начинает
пылать жутким пламенем;

а за ней слетает матрос,

который для предотвращения горения банки — ничего луч-
ше - то нет — садится на нее сверху жопкой,

пытаясь - таки потушить,

отчего у него сейчас же выгорает половина вышеназванного
места к тому самому моменту,

когда командующий — имя - наше - Паша — уже перещупал
почти все семенники юдольные,

а главный механик, дитя убогое трехколесное, настроил своих
механических уродов на службу дорогому Отечеству,

а на пирсе № 7 — «Равняйся! Смирно!» — все еще никак не
взрывается та злосчастная регенерация,

вокруг которой продолжает сжиматься кольцо алчущих взрыва.

И вот все увидели, что из подводной лодки К - 213, где сгорела уже половина вышеуказанной задницы, валит дым.

Командиры срываются с места, разбрасывая омертвелый эпи - дермис, и бегут туда,

возглавляемые командующим, только что щупавшим их семен - ники;

к ним присоединяются механики с задушенной инициативой, и пожарный катер, под командованием старшего лейтенанта Ковыль — знаменитого тем,

что он несусветный пьяница, мечтающий уволиться в запас, для чего он каждый вечер с пионерским горном и барабаном закатывает концерт под окнами командующего,

за что его непременно сажают в тюрьму, то есть в комендатуру,

но утром неизменно отпускают,

потому что пожарным катером командовать некому,

а он бегом к командующему

и встречает его у подъезда рапортом,

что, мол, по вашей милости отсидел всю эту ночь в застенке, ваше благородие, без всяческих замечаний —

и вот этот катер, под командованием столь замечательной лич - ности,

начинает выписывать по акватории загадочные окружности, за - вывая и подлаивая, поливая все из брандспойта,

а из лодки, продолжавшей дымить,

появляется процессия, бережно ведущая под руки моржа, раз - детого догола,

а ведут его в госпиталь воссоздавать искалеченные ягодицы,

а на пирсе № 7 все еще по инерции сжимается кольцо вокруг костра,

куда все еще летит регенерация и горючие материалы, а она не взрывается, хоть ты тресни.

И вот уже командиры и механики смешались на бегу в хрипя - щую и дышащую ужасом черную массу,

а впереди бежит командующий, белый, как конь командарма Чапаева,

совершенно запамятавав, что у него для передвижения имеется машина,

а навстречу им ведут морячка, половиножопого,
и старший лейтенант Ковыль, подбираясь к пожару и к собственной демобилизации,
поливает все это как попало,
причем чем ближе к очагу возгорания, тем необъяснимо тоньше становится струя.

— Еб-т! — удалось сказать командующему на бегу.

Видимо, это был сигнал, потому что регенерация в районе пирса № 7, которую к этому времени — «Равняйся! Смирно!» — отчаявшись, решили затушить водой, взорвалась с удивительной силой.

Ближайшим оторвало все, что только можно оторвать, остальных разметало.

По воздуху летели: командующий с командирами, у которых только что щупали семенники юдольные, весь этот ебанный букет механиков, настроенных на службу до рога Отечеству, и матрос с неотреставрированной задницей.

Единственный пожарный катер естественным образом затонул вместе с лейтенантом Ковылем, недожившим до собственной демобилизации.

Вылетели все стекла.

Потом рухнул пирс № 7.

ЭТРУСКИ, ТЕТЮ ВАШУ!

Не переставая ласкать взглядом будущие события, как говорил наш старпом, авторитетно заявляю: ничего с нами не может случиться и координально произойти.

И я, конечно же, имею в виду то очевидное состояние нашей боевитости, какимина эщ, выражаясь по-восточному, когда при правильном использовании человеческого организма на флоте ничего с ним не бывает и он только здоровеет на глазах ото всяких неожиданностей.

У нас в лодке давление снимали за час на сто мм ртутного столба, и то ничего ни с кем не случилось, хотя многие, сидящие в этот момент на горшке, уверяли, что дерьмо само как бы высовывается, выглядывает ненароком всем понятно откуда, а затем через ко-

роткий промежуток времени совершенно выскакивает мелким бесом всем известно почему.

А в каютах утверждали, что простынь в жопу засасывает, и, на мой взгляд, были совершенно не правы, потому что при снятии давления как раз с простынею - то все и должно было происходить наоборот.

По моим наблюдениям, ее из жопы как раз должно было выталкивать!

Для чего я все это говорю? Для того, чтобы лишний раз отметить: настоящих наших мамонтов хоть в лоб молотком бей, все равно не ослабеют.

У нас мичман Плахов — может, и не самый тот мамонт, о котором я только что распинался, а только волосатая детородная его часть — после автономки надрался, как раскрашенный поперечно ирокез, и, идя домой в три часа ночи, упал на дороге на спину и ручки многострадальные на груди своей сложил.

И его снегом занесло.

Запорошило.

Была роскошная метель, вот его и укрыло.

А утром комендант по той дороге шел.

И наткнулся он на странный сугроб в виде параллелепипеда с отверстием.

И через то отверстие шел пар, и шел он не то чтобы одной сплошной очень мощной струей, а такой тоненькой, дохленькой струечкой, которая сначала выходила, а потом вроде опадала и назад вяло втягивалась.

Чудеса, то есть, происходили у коменданта на глазах, и он наклонился к струе и зачем - то ее понюхал — нюх - нюх!

А мичман у нас был отличником БП и ПП, застрельщиком соревнований и все такое прочее.

А как пахнет застрельщик, если его самого, как мы теперь видим, самым отчаянным образом застрели и он всю ночь на дороге пролежал — я вам даже объяснить не могу.

Комендант сказал: «Блядь!» — и отрыл мичмана, а затем он кричал ему: «Мичман, встать!» — а как он встанет, овцематка в цвету, если прилип спиножопьем абсолютно совсем и его потом отделяли от дороги тремя ломами и лопатой?!

После чего его повезли.

Сначала в комендатуру, чтобы там дисциплинарно выносить, а потом в госпиталь, восстановить утраченное было здоровье, необходимое для того, чтобы потом его можно было снова дисциплинарно выносить.

ДВАДЦАТЬ МИНУТ

Я во втором отсеке перед дверью в первый. Открываю: левой рукой кремальеру вверх, правой на защелку, дверь на себя.

В открывшийся проем вхожу боком: одновременно вперед пошла голова, правая рука, нога, потом, оттолкнувшись, ныряю всем телом и задраиваю дверь, кремальеру вниз — я в первом.

Влево за щиты уходит узкий проход. Он ведет к шпилью. С его помощью можно даже под водой отдать якорь. Над головой — перемычка ВВД. Хочу прочитать, какие ЦГБ с нее продуваются.

Зачем мне все это — не знаю. На каждом клапане есть бирка с названием. Ничего не получается. У меня что-то со зрением. Не могу прочитать.

На палубе справа и слева лазы в аккумуляторную яму. Там батарея первого отсека. Над ней электрики катаются, лежа на специальной тележке.

Я что-то ищу. Никак не вспомнить что.

Три шага по проходу.

Справа газоанализатор — стрелка падает. Это кислородный газоанализатор, и раз стрелка падает, значит, работают компрессоры — снимается давление воздуха.

При работе воздушных клапанов стравливается воздух, давление в отсеках возрастает, и раз в сутки его приходится снимать.

За час — сто миллиметров ртутного столба.

Газоанализатор таких перепадов не выдерживает. Вот и врет. Тот, кто смотрит на него в эти минуты, может подумать, что в отсеках исчезает кислород.

Как в фантастическом фильме.

Хотя к подобным фокусам все уже давно привыкли.

Но если снимается давление, почему закрыты переборочные двери?

Открытые переборочные захлопки с тягой компрессоров обычно не справляются из-за чего отсеки наддуваются и поэтому открывают переборочные двери.

Их ставят на крюки.

Мне что - то здесь надо.

А может быть, и не здесь.

Странно.

Не могу вспомнить.

Справа дверь в выгородку кондиционирования. Там отсечный вентилятор, кондиционер, УРМ — поглотитель углекислоты, выделенной при дыхании, компрессор и прочие вентиляторы.

Над головой лампочка.

Она в защитном кожухе и колпаке.

Однажды колпака не было и разорвало трубопровод гидравлики.

Струя ударила в лампочку, и получилось, как в цилиндре автомобильного двигателя, — объемное возгорание.

В отсеке погибли все.

Возгорание мгновенно уничтожило весь кислород.

У погибших спеклись лица.

Из второго в первый пошла аварийная партия.

Только открыли дверь, и языки пламени вылизали второй.

Впереди лаз в трюм. Там помпа и забортные кингстоны.

Слева дверь гальюна и колонка цистерны пресной воды.

Над головой люк на торпедную палубу.

Можно сунуть в него голову и поздороваться с вахтенным. Вход сюда запрещен, потому что торпеды.

Поворачиваю назад. То, что мне надо, находится не здесь.

Во втором сразу у входа умывальник. Я смотрю в зеркало. Лицо мое на глазах стареет: сморщивается, отвисают щеки, глаза выцветают и наполняются влагой.

Не может быть.

Тру глаза кулаками — все пропадает, померещилось. Здесь такое бывает.

Слева в узком проходе каюта старпома, справа — живут командиры дивизионов.

Дверь отодвигается с лязгом — в каюте прохладно и никого.

Надо вернуться назад в основной проход. Там каюта помощ-

ника, потом трап в кают - компанию, за трапом — пост электрика. Здесь управляют вентиляторами.

Они гоняют воздух аккумуляторной ямы через печи дожигания. Сжигают водород.

Он выделяется постоянно, особенно при зарядке батарей. Если его не сжигать, может скопиться и рвануть — палуба встанет на попа. Над постом плакат: «В помещении АБ зажженными спичками ничего не проверять!»

Это для идиотов.

По трапу вверх вход в буфетную, за спиной — каюта командира. «Вызывали, товарищ командир? Прошу разрешения».

Прямо — вход в кают - компанию: один стол посередине — это командирский, два у правого борта — офицерские.

В кают - компанию выходят две каюты: каюта всякой мелочи — командира отсека, минера и прочее — и каюта зама.

Ни души.

Не то чтобы жутковато, но хочется в третий.

В третьем попадаю в вой. Открыта дверь выгородки преобразователей. Они воют так, что больно ушам. Я прикрываю дверь.

Рядом с дверью — носовая перемычка ВВД — воздуха высокого давления.

В третьем две перемычки. Вторая у кормовой переборки. Там есть клапан подачи воздуха в отсек. Он нужен, чтоб создать противо-давление.

Это если прорвется забортная вода.

Медики говорят, что если за минуту давление в отсеке вырастет до двадцати атмосфер, спасать там будет некого.

Иногда при пожарах у нас влопыхах вместо огнегасителя подают сжатый воздух в отсек.

После чего польхает, как в мартене.

Ни с того ни с сего становится страшно.

Страх воспринимается как холодный ком в желудке.

Он там шевелится.

Хочется наружу.

Наверное, там хорошо.

Я уже девяносто суток не знаю, как там.

Небошь и солнце есть, и небо.

Кто - то внутри меня начинает считать: «Осталось двадцать минут».

Быстрой в центральный.

Он прямо по коридору и по трапу вверх.

Достаточно высунуть с трапа голову, чтоб охватить взглядом все помещение: в центре место командира, слева от него — пульт вахтенного офицера и механика, перед ними боцман на рулях, за их спиной вахтенный трюмный, слева по борту вахтенный БИП — боевого информационного поста, за его спиной радиометрист и пульт ракетного оружия. В центральном никто не поднял головы. «БИП, акустики, горизонт чист!» — это из рубки акустиков, она с трапа прямо. Бесшумно по поручням вниз. Два шага вперед, поворот, вниз по трапу. Рубка гирокомпасов. Вправо три шага, поворот, рубка вычислителей, четыре шага, люк в трюм.

В трюме нет вахтенного.

Может, он у насосов гидравлики?

Хотя зачем мне вахтенный? Просто как-то не по себе от того, что тебя или не замечают, или ты не находишь людей на привычных местах.

И все время кажется, что за тобой наблюдают. Ты замечаешь слежку на границе зрения. Резкий поворот головы — и ничего не обнаружено.

«Осталось семнадцать минут!»

Скорей из трюма.

Становлюсь на нижнюю ступеньку, руки пошли вверх, все тело рывком на себя, левую ногу за комингс люка и вылетаешь из трюма. По проходу бегом. Быстрой, в четвертый.

Справа чувствую чей-то шепот и даже не шепот — дыхание, резко головой вправо — никого. Чертовщина.

В четвертый только что не ныряю. Головой чуть не угодил в ракетную шахту. Трап короткий. Запах камбуза. Черт! Этих олухов никак не научить закрывать двери.

Все - то им жарко.

В четвертом шахты, каюты, шахты. Есть лаз наверх, на приборную палубу, но туда не пустят. Управление ракетным оружием. Нам там делать нечего.

«Пятнадцать минут».

Нырок в пятый. Снова шахты - каюты. Четвертый и пятый отсеки ракетные и жилые.

Если разгерметизируется ракета, то шахта не всегда может спасти.

Горючее и окислитель токсичны. Достаточно одного вдоха, и лицо стечет с черепа, как желе.

«Четырнадцать минут».

Прыжком до поручня, по трапу вниз. Зачем мне трюм? Назад! Поворот, через ступеньку наверх. Спокойно. Там еще один трап, и по палубе бегом в корму.

Шестой даже пахнет по-другому. Нет запаха сладкой мертвечины.

А в жилых отсеках он есть.

Это тянет из цистерн с грязной водой.

При снятии давления регулярно вышибает гидрозатворы и фильтры не справляются.

В шестом прямо за забором из трубопроводов пост наблюдения за реакторным отсеком. Вахтенного нет. Наверное, осматривает седьмой.

Люк вниз. Под трапом дверь в выгородку. Там кислородная установка и три компрессора. Перед дверью дыра люка. Там внизу дизель и дизель-генератор, и еще что-то — никак не могу вспомнить.

Побочным продуктом получения кислорода является водород. Он удаляется за борт специальными компрессорами. Если система негерметична, то водород поступает в отсек. Здесь его сжигают в печах.

Если водорода много и печи не справляются, по отсеку будут летать голубые огоньки — маленькие взрывы этого замечательного газа.

«Двенадцать минут».

Немедленно в седьмой.

Интересно, кто нам считает и что означает весь этот счет?

Кто бы не считал, я его боюсь и счета его боюсь.

Лучше всего я чувствую себя на бегу.

Бегу и ищу.

Сам пока не знаю что.

Мне кажется я знал, но забыл, и теперь никак не вспомнить.

В седьмой можно попасть только через тамбур-шлюз.

Он должен быть всегда закрыт, а тут — настезь. Вахтенные — черт бы их побрал.

Если в реакторном радиоактивность, то выходят через тамбур.

Сначала из коридора реакторного ступают в него, дверь задраивается, и после небольшого наддува шестого — миллиметров на пять — дверь приоткрывается и проскальзываешь, обдуваемый воздухом.

Нет. Не так. Так выходят из любого другого отсека при пожаре, чтоб газы не прорвались в соседний отсек, а в тамбур-шлюзе реакторного имеется система очистки: вентиляторы гоняют воздух через фильтры.

В реакторном палуба из нержавеющей стали и воздух свежайший.

Это из-за ионизации. Гамма-излучение и нейтроны делают свое дело.

Здесь полно вентиляторов, кондиционеров, воздушных клапанов — все стены увешаны. Когда клапаны переключаются, возникает воздушный удар — будто рвануло что-то.

Нужно найти вахтенного.

Может, он в рядом с насосами?

Это внизу. Прямо десять шагов и люк.

Когда спускаюсь, чувствую то жар, то в затылок холодная струя — такая здесь атмосфера. Нет никого.

Может, он на соседнем борту.

«Десять минут».

Быстрее. По трапу рывком и в тамбур между реакторными выгородками на соседний борт.

В каждой выгородке по реактору.

Когда идем на семидесяти процентах мощности, лучше внутрь не заходить. Прострелы в биологической защите такие, что для промежуточных нейтронов на радиометре не хватает шкалы. Подчиненные не идут на замеры. Вешаешь приборы на себя и.. бравада, конечно, все это не от великого ума.

Дверь в реакторную выгородку нужно открыть. Там поддерживается вакуум, и поэтому, чтоб войти, его снимают.

Как-то на одном борту устраняли парение и дверь была закрыта.

Парение усиливалось с каждой минутой, давление возросло, и дверь потом не открылась — сварились заживо. Вся аварийная партия.

Где же вахтенный?

«Восемь минут».

Он в восьмом. Наверняка болтает с коллегой. Сейчас мы его

достанем.

Слушайте, а может, я проверяющий и моя задача в том, чтоб отловить по кораблю всех вахтенных? Бред какой - то. Полная ерунда.

«Семь».

К кормовой переборке, дверь на себя. Она идет с трудом, сквозь щели свистит воздух — восьмой отсек наддулся. Нужно сказать центральному, чтоб сравняли давление.

Однажды наддули восьмой, чтоб устранить течь, а потом некоторые умники решили сравнять давление.

Открытием переборочной двери, конечно.

Дверь сорвало, и двоих размазало по переборке.

Летели по воздуху метров десять прежде чем их завернуло в ветошь.

В восьмом жарко. Градусов пятьдесят, не меньше. На верхней палубе — главные электрораспределители. Они тянутся с носа в корму. Через тамбур - шлюз можно попасть на среднюю палубу. Там турбина, главный распределительный вал, генератор и трубы, трубы, все это давит, преследует, гонит вперед, вниз, в трюм, в конденсатный колодец. Если в отсек пойдет пар, спастись нужно ныряя в этот вонючий колодец.

«Пять».

Успею. Девятый надо пролететь. Он точная копия восьмого.

«Четыре».

Бегом между щитами и дверь в десятый на себя, и...
и вахтенный десятого идет навстречу.

Наконец - то хоть один человек. А я уж думал..

Я говорю ему что - то, говорю, что - то очень важное.

Он отвечает, и в голосе его нет беспокойства. Значит, ничего не случилось?

«Одна минута».

Господи!

...

Все.

Я проснулся

Оказывается, я спал.

Я спал ровно двадцать минут...

ДОПОЛНЕНИЕ КО ВСЕМУ СКАЗАННОМУ О ВОЕННОЙ ФАМИЛИИ

Наша фамилия цепляется за взор.

Как тавро у скотины.

Хотя, конечно, выражение «как у скотины», я думаю, не совсем удачное и требует всяческого смягчения.

Наверное, лучше сказать: «как у животного».

Да, так, мне кажется, лучше.

Ну так вот, чего там выкрутасничать — ни одной человеческой фамилии.

Где все эти Сумароковы, Левины, Некрасовы, Тургеневы, Карамзины? И не то, чтобы их нет совершенно, просто, я думаю, слабо выражены.

Гораздо больше Косоротовых, Изверговых, Лютовых, Тупорызовых, Губошлеповых, а также этих, оканчивающихся на «о», — Зубро и Неожидайло.

Или Козлов.

Ну что с ним поделать.

Казалось бы — Козлов и Козлов, и слава Богу. И папа у него Козлов, и мама, и все это еще можно как-то выдержать, но когда сам ты Козлов и командир у тебя Козлов...

А в отделе кадров сидят, конечно, законченные гады, и не только потому, что, сидя в своем кабинете на анальном отверстии ровно, они умудряются получить ордена «За службу Родине» и «За боевые заслуги» безо всякого стеснения, они еще людей на экипаже коллекционируют по такому принципу, что если ты Орлов или Зябликов, то тебя в экипаж Ястребова, а если Баранов, то пожалуйте в компанию к Волкову.

Но особой любовью у этих ненадежных гондонов все-таки пользуется фамилия Козлов.

Всех Козловых собирают на одном экипаже. А командир этого экипажа, само собой разумеется, носит ту же фамилию и при очередном назначении к нему лейтенанта говорит: «Ну все! Это им так не пройдет!» — и спешит передать свое возмущение командиру дивизии.

— Товарищ комдив! — врывается он к начальству, которое всей

этой окружающей нас жизнью давно уже лишено вдумчивого человеческого обличья и носит фамилию Тигров. — Я отказываюсь терпеть от отдела кадров все эти издевательства. Опять! Опять лейтенант Козлов!

— Антон Саныч! — вздыхает начальство, утомленное собственным непрекращающимся трудоголизмом, то есть тем, что по триста дней в году приходится в море пропадать. — Ну вы же просили командира электронно-вычислительной группы. Вот вам и дали. Я уже разбирался с этим вопросом. Прошли те времена, когда мы что-то требовали. Прошли, Антон Саныч, безвозвратно. Поймите вы, наконец, людей нет. На дивизию прибыли два лейтенанта указанной специальности — Козлов и Сусликов. Ну что, хотите Сусликова?

Оторопевший командир говорит: «Нет!».

— Ну, слава тебе Господи, — устало вздыхает комдив, а когда его каюта пустеет, он еще какое-то время сидит совершенно безразличный ко всему, а потом вдруг в глазах его появляется дурилка, он произносит вполголоса: «Ну-ка, где эта орденосная сука!» — и вызывает к себе начальника отдела кадров по фамилии Пидайло.

СЕМЬ СЛОВ

«Контр-адмирал Дмитрий Федорович Скворода был необычайно умен», — так можно было начать и этим можно было бы и ограничиться, и это был бы самый короткий рассказ, состоящий из семи слов, и в нем все было бы в полном достатке: и ум, и суть, и такт — и тогда абсолютно излишним выглядело бы добавление, сделанное непосредственным военачальником адмирала Сквороды, полным адмиралом Леонидом Антонычем Головной в окружении таких же адмиралов: «Попробовал бы этот мудака быть идиотом!» — которое относилось, видимо, и не к личности Сквороды в целом, но касалось, скорее, вопросов стратегических, реже тактических, технологических, композиционных по существу

или же даже духовных,
и уж совсем невозможно было бы приткнуться куда - либо мысли некоторых его, Сквороды, подчиненных о том, что пошли в свое время зачем - то совсем не туда, куда следовало бы переместиться под руководством вышеупомянутого козла, и там он придумал нечто такое,

ТАКОЕ,

что еле встлыли с перепорченными лицами, с дифферентом на корму, погнув перископ, потеряв все аварийно - спасательные буи, затопив шахту навигационного прибора «Самум»,

который по приходу срочно выгрузили, чтоб хоть как - то со - хранить, а то ни туда ни сюда,

да повезли его сдавать,

а там не принимают, потому что никто ни с кем не договаривался,

и тогда, в сердцах, бросили его у входа, потому что временем свободным совершенно не обладали,

и он простоял там целый год, и множество раз замерзал и оттаивал, замерзал и оттаивал,

плавно переходя из одного плачевного состояния в другое, куда более плачевное,

описать которое здесь не представляется возможным,

и вот уже кто - то заговорил о воровстве, да так споро и горячо, что никак не унять, и рукой все машет и машет, и все о них, о консервах, а особенно о севрюге в томатном соусе и о балычке со слезами жира на тонких и нежных ломтиках, и кто - то крикнул «Без генералов у нас не воруют!» — и пошло, поехало, побежало, полетело кувырком, как это и водится в нашей милой стороне.

А ведь на все это хватило бы одной только фразы: «Дмитрий Федорович Скворода, контр - адмирал между прочим, был необычайно умен».

Я НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ...

мы так любим собственное начальство.

Что - то в этом есть такое, этакое, мохнатое, непростое, неповерхностное.

Что - то от глубины, когда все были холопами.

Что - то оттуда, чистое, как роса или слеза гиппопотама.

Вот смотришь иногда на наше лицо — оно еще потеет под фуражкой, — принадлежащее герою, а он глядит на начальство так, что все, казалось бы, самое невероятное готов для него совершить, изготовить.

Сначала, правда — нельзя не сказать, — он производит впечатление человека с чувствами, но потом становится ясно, что что только наше несчастное начальство ни придумает, он все для него сотворит и исполнит, даже самое неприглядное, смердящее втуне.

Даже не знаю, за что при описании этого явления братья и как все соблюсти, чтоб, с одной стороны, был несомненный герой, а с другой — чтоб поменьше оно напоминало то самое положение, когда начинает казаться, что что ни лизни — все впрок.

Так что думайте сами. Вот вам невеселая история про Гришу Горничного, командира катера, который вез на своем быстроходном, летучем корыте сухопутного маршала и от осознания всего, и напряжения даже на ветру блестел от пота, как арабский бриллиант, клянусь тесным тем местом.

И когда они (я не только катер имею в виду) на всех порах развернулись красиво, чтобы к пирсу подойти — а катер ведь бежит по воде, как галька, брошенная умелой рукой в несомненную гладь, — то увидели на пирсе матроса.

Тот сидел и удил рыбку.

А это же нельзя так сидеть и удить. Это же несомненное оскорбление, может быть, пирсу или что еще хуже: несоответствие, может быть, всякое!

Потому и сказал маршал Гришеньке:

— А ты толкни пирс. Пусть морячок в воду упадет.

А чем начальство невероятней, тем очевидней к нему любовь и понимание.

Гриша даже не думал ни о чем промежуточном. Он от чувств к тому глупому маршалу задохнулся и сейчас же направил катер носом в пирс. А уж как они втемяшились — это ж надо было посмотреть.

Катер - то в те времена, кургузые, был фанерный для легкости прохождения минных полей, мать твою рать, и как он вперился в пирс — это ж просто божье везение, что он сразу не захлебнулся,

не затонул, потому что от удара нос вовнутрь у него провалился.

Маршалу некогда было, он ушел, а катер потом висел на лебедке — благо что рядом была, — чтоб под воду совсем не уйти.

Самые дотошные поинтересуются упал, ли моряк от толчка. Да вы что, мармеладные, — ответим мы им.

Он даже не заметил, что его сбрасывали, поскольку пирс даже не шевельнулся. Смотал удочки и все такое.

ДОКТОР УХО

— Доктор Ухо...

— А что тут удивительного? — выдавил из себя старпом. На подведении итогов обсуждалась фамилия нового корабельного врача, и старпом не упустил возможности высказаться по этому поводу. — Самая медицинская фамилия. Хорошо еще, что не доктор Скелет, Позвоночник или Желудок Или вот. Доктор Печень. А? Как вам, например, доктор Печень? Или прозектор Кишечник, дерматолог Клоака... А еще может быть врач Холера... О, Господи...

Тем и закончилось обсуждение, а на следующий день медик Ухо от переживаний по случаю того, что его назначили не в госпиталь, а сразу на вонючее железо, на улице напился и упал с грохотом навзничь.

Его дотащили до корабля и бросили в амбулатории. Он пришел в себя и от страха перед случившимся съел пятнадцать таблеток, от которых он проснулся только через две недели.

— Ухо! — орал старпом, стоя над усопшим гиппократом. — Доктор Ухо! А так - же Скелет! Позвоночник! Желудок! Кишечник и Клоака! Что вы себе позволяете, врач Холера!.

А Я ВАМ ГОВОРЮ,

что флот наш не победить!

Не придумали еще такого средства. У нас может быть все: корабли гибнут, дохнут, взрываются, горят, тонут, у них отрывает винты, они сталкиваются, и пробоина выворачивает им внутренности, у них лопаются трубопроводы и гидравлика через незначительный

свищ под давлением в сто атмосфер превращается в факел, в туман, и в нем все время кто - то бегают и орет, вроде от страха и боли, а на самом деле от нетерпения, от желания помочь, от поиска необходимого решения, от жизни, от силы.

Видели бы вы, как они тонут, эти наши корабли! Они тонут, а ты, слава Богу, в стороне, а не там, в кипящей воде, в мешанине, куда летят всякие обломки и разное такое, и что - то все время валится на голову, неукоснительно бомбит.

Тогда ты застываешь, если ты все еще в стороне, при наблюдении за столь величественной картиной, и она овладевает тобой целиком, а заодно и твоим воображением, которое рисует черте что, но все это потом — все эти игры воображения, — а пока ты не можешь отвести глаз, ты толчешься где - то рядом, вздрагиваешь тогда, когда вздрагивает и корабль, ты наклоняешься вместе с ним, становишься на попа, погружаешься медленно, а потом переламываешься пополам и падаешь, падаешь и внутри у тебя болит каждая жабра, печенка или же селезенка .

Знаете, ведь у нас в отсеке все рядом: и то, что должно взорваться, и то, от чего оно взрывается, а потом что - то пластмассовое выгорает совершенно окончательно совсем, и в отсек пошла, пошла вода — сперва пошла, а затем и поперла.

А ты перед всем происходящим такой совершенно незначительный, абсолютно несказанно маленький и невыразительный, и тебе предписано ходить, охраняя все это безобразие, но так, чтоб чего -нибудь не задеть, не коснуться, не дотронуться, не облокотиться, не опереться, а иначе — взрыв и убиение через обгорание и утопление.

И так у нас существуют огромными периодами, можно сказать даже годами. И с каждым годом оно — это самое — все более и более готово к воспламенению и погребению. А ты, как какой - то, ей богу, дельфин, помещенный в тесный аквариум, должен уметь на глазах, приобретая прозорливость и все большую и большую гибкость и проворство, чтоб обходить все эти смертоносные преграды и препятствия.

И при этом ты брошен — о тебе не думает никто. Даже не вспоминает.

Ты покинут — но все как - то веришь, что не совсем.

Ты предан — но все еще любишь своего предателя.

Опасность — вот от чего работает твой ум. Ты с ней один на один. Десятилетиями. Она нужна тебе. Необходима. Чтобы тренировать ту самую изворотливость, без которой ты уже не можешь обойтись.

Ты, как кошка, готов в любую секунду упасть на спину и выставить вперед свои цепкие когти.

Это потому, что ты моряк, бармалей тебя забодай.

И именно поэтому с тобой ничего не может случиться.

МОЙ “МИНСК”

Я был зачат по будильнику.

Точнее, по тому мерзкому звуку, который из него исходил. По нему треснули, он замолчал, движения продолжили и я был зачат, и с тех пор не люблю все металлическое.

Исключение составляет большой противолодочный корабль «Минск», который люблю.

Не так давно его продали корейцам для организации плавучего борделя.

А я до сих пор во сне по нему хожу и слышу голос нашего политолога, капитана третьего ранга Непродыхайло Виктора Анисимовича, который любил выйти на верхнюю палубу, когда солнце, штиль и бирюзовые небеса, вздохнуть со значением и сказать: «Ну и погода! Усрать можно». А потом он обращал свои взоры на меня и говорил:

— Усатэнко, молоко матери! Почему не идем на партийное собрание?

— Не член партии, товарищ капитан третьего ранга!

— Ну и что? Ты же комсомолец!

— Уже нет. Выбыл по возрасту.

— Так! Шестнадцать торпед с ядерным боезапасом без партийного влияния. Как же это?! Усатэнко! Ведь если что случится, мы же тебя наказать не сможем! Как же на тебя надавить партийным рычагом?

После чего он спускался в недра корабля, где страдал.

А мы таскали на корабль баб. Потому что уйти на четырнадцать месяцев и не оттрахать половину города - героя Севастополя —

это, я вам скажу, непростительное хамство. Но и тут партия была начеку. Открывается дверь каюты, а за ней совершается могучий коитус.

— Чем занимаемся?

— Да вот... и...бемся, товарищ капитан третьего ранга.

— Заканчивайте, товарищи. Заканчивайте и освобождайте помещение.

А мне, тайному организатору всего сего безобразия, он говорил:

— На корабле бабы.

— Да что вы, Виктор Анисимович!

— Да, да, и не уговаривайте меня. Я же не слепой. Я все знаю. Я не теоретик партийно - политической работы, я практик. Вот, пожалуйста, — подходит к каюте и стучит в нее нашим условным стуком.

Из - за двери:

— Голос!

И зам очень тонко, чтоб не сразу признали:

— Танк блоху не давит!

Открывается дверь, а за ней две голые задницы — одна прилипла к другой, причем нижняя принадлежит прекрасному полу.

Вот вам пожалуйста! — говорит наш Анисимович, аккуратно притворяя дверь.

— Какие вам еще нужны доказательства? Разве что постучать еще куда -нибудь? — стучит.

Оттуда:

— Сколько вас?

— Только раз!

— Вы нам знаки подадите?

— Слушайте, ежели хотите.

— Сымитируйте - ка нам старпома.

— Вот вам хер на полвагона.

После чего дверь открывается. За ней та же голожопая картина. И так мы с ним ходим довольно долго.

Это я, как было отмечено выше, доставил на корабль весь этот злопахучий кордебалет, который мгновенно рассосался по каютам. Когда проходим мимо моей двери, она открывается и из за нее высовываются сразу две очаровательные мордашки.

— Сережа, ты еще долго?

— Сейчас, — говорю им и поворачиваюсь к замполиту, — Виктор Анисимович, так я пошел? — после чего в ту же секунду исчезаю за дверью, пока он не очнулся.

Эх, Виктор Анисимович, где вы теперь и кто слушает вашу политинформацию:

— Эх - фиопия, можно сказать, с Сомали горшки - то между собой побили? Побили. Ну, а мы, как вы думаете, на чьей стороне? Арифметика проста, товарищи. В Эх - фиопии сколько населения? Правильно — тринадцать мильенов. А в Сомали? Только три. Так что ясно должно быть, на чьей мы стороне. Мы всегда на стороне демократического большинства.

Он любил самолично объявить по корабельной трансляции художественный фильм. Зайдет в рубку, покажет дежурному знаком — мол, ну - ка давай, и тот ему включит радиовещание :

— ... и будет демонстрироваться фильм «Двадцать шестого не стрелять!»...

А в этот момент дежурный как раз решает проверить оружие, благо что пересменка, передергивает затвор, совершенно позабыв выдернуть магазин. Спуск — выстрел и всеобщее онемение, потом возня и голос:

— Уже застрелили...

Словом, хороший был корабль. Сколько раз он горел... Он горел, а мы его тушили.

А сколько у нас летунов погибло? Только поговорили, он сел в свой самолетосамокат, разгоняется, срывается с палубы и, так и не набрав высоту, падает в море.

Погружающийся самолет еще виден сквозь толщу воды, а мы на полном ходу на него наваливаемся. Так что не люблю я ничего металлического.

Потом вдовам трудно доказать во всяких там инстанциях, что муж погиб, а не пропал без вести, потому как тела - то не нашли.

А нет тела — пенсии нет. Не оформить по нашим законам пенсии без тела, чтоб их зачали по будильнику.

Так и будет числиться «без вести».

ГЛУПОСТЬ

Ах, как прекрасна полярная ночь где - нибудь там, на 69 - й параллели, когда мороз добавляет в воздух свои истолченные бриллианты, а на небе самый сумасшедший художник — природа — вдруг поведет - поведет невесомой своей кистью, чуть коснувшись небесного края и уже отринет, отпрянет, потому как чудесные краски сами взметнутся, образуя удивительные вихри, меняющие то скорости, то направление — как это и случается с дуновеньями — и цвета.

А ты стоишь, как осел, запрокинув башку, лишенный начисто собственного тела, то есть веса и дыхания, и думаешь о том, что такое красота, и о том, как она холодна, безразлична к твоей незначительной жизни; и в душе возникает щемящее чувство всеми покинутого, в котором никогда - никогда не разберешься, а потом возникает еще одно чувство — на этот раз радости от того, что живешь, наверное, козлиная ты этакая, а потом и задора — а как же еще — хочется прыгать, орать, делать всякие глупости.

Так стоял Сова, и смотрел он в небо, а потом он ощутил в себе вышеупомянутую радость и вышеупомянутое желание пошалить, оглянулся вокруг и увидел там, вдалеке, на дороге, собственную жену.

Она шла домой с сетками.

И Сова немедленно побежал.

Не к жене, конечно.

Он побежал домой, чтоб успеть раньше жены, чтоб успеть устроить ей незначительную веселую глупость, без которой так скучно - тоскливо жить, когда вокруг такая бесчувственная, невозможная красота.

Не зажигая свет, он в шинели вошел в ванну и спрятался там просто за пять минут до прихода жены.

И она вошла. Сперва в дверь, потом в ванну.

А Сова еще в темноте шагнул ей навстречу и сказал: «Ав!»

Она с ним две недели не разговаривала.

МЫ С СЕРЕГОЙ

— Абсурд — это высшее проявление математики. Собственно,

абсурд — это и есть математика со всеми своими проявлениями. Вернее, так: логическая формула может быть описана с помощью уравнения, в котором цифры заменены словами, которые, в свою очередь, очень здорово описываются этими цифрами, которые — на этот раз слова — из-за этих цифр в падежных окончаниях не всегда связаны между собой. Это и есть абсурд. Понятно?

Это Серега. Он у нас философ. Люблю я слушать Серегу. Пять минут — и он что-нибудь да изречет.

Например:

— России не повезло. Она расположена поперек Меридианов, конечно. А как можно управлять страной, расположенной поперек, когда после Урала все ложатся спать? Ты хочешь ими управлять, а они спят!

А вот еще:

— Никто никогда не соотносил размеры страны и размеры человека. А ведь все имеет значение. Возьмем Голландию и Россию. Если соотнести человека в Голландии и России к размерам страны, становится ясно во сколько раз у нас человек ценится меньше, чем в Голландии.

Знаете, мне иногда кажется, что мы с Серегой древние греки. Он — учитель, я — ученик. И видится мне, что ходим мы по чудесному саду в сандалиях. Он впереди, я сзади. Он на ходу поворачивается ко мне и говорит, а я записываю все это на навощенной дощечке остро отточенной палочкой.

К примеру такое:

— Концепт — это множественность, хотя не всякая множественность, тут полезно отметить, — концептуальна.

А я — тра - та - та — записал.

Или:

— В сердцевине каждой монады, видите ли, находятся эти самые сингулярности.

А вокруг цветы и всевозможные фрукты, разбросанные щедрой рукой того самого дарителя, скрытого от нас навсегда; того самого, кто позволяет и допускает, и наш лепет, и все эти потуги относительно философии мимолетнейшей из наук, каждое утверждение которой — Боже ж ты мой! — не более чем бабочка - турчанка, назначенная позировать. А все потому, что ему — тому дарителю — просто очень - очень хорошо, смешно и светло на душе.

Как подумаешь об этом, так непременно улыбнешься
— Ты чего? — спросит тогда Серега, а я скажу ему:
— Да просто так...

* * *

ИТАК, КОСТИК

— У меня прыщики на залупе.

Костик. Если он заговорил о своей... э - эм... залупе, то лучше его все - таки выслушать.

— Понимаешь, раньше их никогда не было. А залупа...

По моим наблюдениям, у Костика это самое чувствительное место. У некоторых имеются чувствительные губы, а у Костика...

— ... и она болит. Вернее, чешется. Точнее, я думаю, свербит.

Сейчас он опишет нам все свои состояния.

— ... и вот еще: она ноет.

Мне кажется, самое время изложить «причины кончины», как говорил наш старпом. «Какие у вашей кончины, — говорил он, имея в виду конец, если хотите, или член, проще говоря, — были причины?...»

— Я лечился вместе с женой...

Ах, вот оно что.

— ... от возможного заражения ее микрофлорой...

Печально, и все - таки.

— У женщин она не заразная, но...

Мы узнаем много нового.

— ... но вот в чем проблема...

Ну?

— Она становится агрессивной во время месячных или климактеральных явлений. И в принципе, ничего страшного, но эти почесывания..

Да

— ... стоишь и чешешься, чешешься..

Да

— И самое интересное, никогда раньше не чесалось. Врачи заставили меня съесть антибиотики, и я их жрал, как гиена конину, а

меня тошнило, как последнюю блядь.

Ну, это, может быть, слишком.

— Да, да, как последнюю блядь.

Видимо, навязчивый образ.

— Пойду опять в медчасть. Если врач ничего не придумает, воткну ему все его тюбики в жопу. У меня же ничего не было. Но меня заставили. Говорят, если жена лечится, то вам обязательно надо принять курс. Принял, сука, курс и теперь вот чешусь. Хорошо еще, что член не отвалился.

Да, я полагаю.

— А что ты думаешь? Я иногда заглядываю в трусы с надеждой, поскольку кажется, что там что-то физически отделяется. Думаю, не может быть, чтоб отвалился. Так однажды физически ощутил, что даже перестал чесаться. Пойду, посмотрю, что он скажет. (Врач, наверное.)

— Слушай, хорошо, что ты меня выслушал с пониманием. А то нашим только скажи, они тут же ржать начнут, и никакого толку. Схожу, и если только доктор ничего не придумает...

Костик уходит.

Мне кажется, доктор что-нибудь придумает.

А то ведь он ему точно воткнет.

Все тюбики в жопу.

Это у нас запросто.

ЮРА

— Как ты думаешь, я — интересный мужчина?

Видите ли, Юра у нас зануда.

— Она мне сказала, что я — интересный мужчина. И я теперь не знаю. Надо с кем-то посоветоваться..

Мы с ним стоим на построении, и мне от него, видимо, не от-вертеться.

— А ты как считаешь?

— Что?

— Я — интересный мужчина?

Длительное молчание по стойке "мирно" может означать только одно.

— Нет, ты не увиливай. Если я — неинтересный мужчина, ты так и скажи.

— Ой, бля..

— Что?

— Юра. Сейчас восемь утра. Подъем флага, можно сказать, нашей Родины..

— Значит, по - твоему, я — неинтересный мужчина..

— Юра..

— Нет, конечно, некоторым совершенно насрать на то, что говорят их друзьям женщины, потому что им - то женщины говорят совсем другое, а может, вообще не говорят, а делают то, что и следовало доказать. А когда у человека проблемы и он к ним обращается то можно обращаться с ним как с последней ... или можно вот так по - хамски надуться, как индюк..

— Юра..

— Ну, ты что, не можешь сказать интересный я мужчина или нет?

— Я могу, конечно, сказать..

— Ну?..

— Но сквозь зубы.

— Почему?

— Потому что ты, сука, стоишь во второй шеренге, а я — в первой. На тебя вчера смотрела женщина, а на меня сейчас смотрит старпом..

— Ну ладно, хорошо... Я, конечно, не могу требовать от друга ничего такого, но сказать - то он может...

— Что?

— Я же говорю.. Она мне сказала.. И я теперь не знаю... Ты мне должен посоветовать... Как это расценивать.. Это как предложение?.. Как ты считаешь?..

— Что?

— Да, еб - т... ты мне можешь ответить на простой вопрос? Я же ничего сверхъестественного не спрашиваю! Я всего лишь желаю узнать, интересный я мужчина или нет!

— Да! Да!.. розы в стволе, три морковки внутрь Вовке, пончики сверху — девочки снизу! Ты — интересный мужчина! И будь я ба - бой, ты бы у меня так просто не отвертелся. Я бы взял тебя за уши и так бы тебя оттрахал! Так бы оттрахал, что ты бы у меня плакал и

просил еще.

После непродолжительного молчания

— Ты что обиделся?

— Нет...

ОПЯТЬ КОСТИК

— ... Оказывается после всех этих антибиотиков, что я нагло -
тался, у меня микрофлора на залупе уничтожена вся!

Не понял.

— Видишь ли, она живет на тебе не только там, но и всюду, и
не дает размножаться чужеродной микрофлоре.

А - а..

— И ты находишься с ней в мирном сосуществовании.

Ясно. Это он о прыщах. Трудно, знаете ли, от того многообра -
зия, что нас всех здесь окружает, сразу же перейти к чьим - то поче -
сываниям.

— А если микрофлора убита...

Потрясающе...

— ... то ее место занимает чужеродная!..

Не знаю, что и сказать.

— ... Она - то и чешется!..

Открытие. Я считаю, что это открытие.

— И если вчера у тебя чесалась залупа...

Мда.

— ... то завтра будет чесаться все остальное.

Интересно, к чему бы мне все это применить.

— Он мне говорит, что нужно лечить всех моих женщин.

Речь, скорее всего, идет о внутреннем голосе.

— Да нет же! Это мне врач сказал. Ты что, совсем ничего не
помнишь? Я пришел к нему, как ты понимаешь, с тем, чтоб воткнуть
ему все его тобики в жопу, а он мне все объяснил.

Мы удивлены и ошарашены.

— И теперь нужно лечить всех.

Я думаю, да.

— Но я не знаю с кем я был в период, предшествующий появ -
ления прыщей на залупе: то ли с одной, то ли с другой, не говоря

уже о том, что я был с собственной женой, которая была то ли со мной, то ли еще с кем - то, и, вполне возможно, что у него теперь те же проблемы... с залупой...

По - моему, несколько запутанно.

— ... и если я начну их лечить тем дерьмом, которым сам наглотался, то может и они все, включая и того гипотетического орла, о котором я могу только предполагать, начнут чесаться как шелудивые собаки, и тогда мне вообще хана.

Я думаю, да. Тут - то тебе залупу - то и оторвут.

ОПЯТЬ ЮРА

— У нас была еще одна встреча.

Если во время разговора Юру не тревожить навоящими вопросами, то, может быть, все еще обойдется.

— Ты не представляешь, как я волновался.

Ну почему же.

— Когда после полугодового воздержания стоишь рядом с женщиной, от нее исходят всяческие флюиды...

Это точно.

— ... и ты, вроде бы, видишь свет. У нее...

Ясно где.

— ... светится лицо...

Как мы ошибались.

— ... или тебе только кажется, но тебе хочется до нее дотронуться. Понимаешь, для тебя это важно.

От этого можно преждевременно кончить.

— Ты думаешь?

— Уверен.

— Ах, вот оно, значит, почему! В прошлый раз со мной случилось то же самое.

По - моему, я выпустил тему из бутылки.

— Я всегда так волнуюсь во время сношения!..

Что никакого тебе отрешения...

— ... потому что сношение...

Сейчас у Юры пойдут половые слюни, и небольшой кусок поведствования можно будет безболезненно исключить.

— ... она мне сказала «милый». Такое забытое слово. Как ты считаешь, оно меня к чему -нибудь обязывает?

Знак вопроса.

— Мне кажется, что в интимном отношении я ее устраиваю. Как ты считаешь?

Знак вопроса.

— Думаешь, что женщина просто так будет говорить кому попало «милый»?

— Блин... Юра, ну как я могу сказать, устраиваешь ты бабу или нет, если я никогда не видел, как ты это делаешь, и еще я никогда не был с тобой той самой бабой?!

— Ты, по - моему, не понимаешь.

Сейчас он мне еще раз все объяснит.

И ОПЯТЬ КОСТИК

— Все! У меня «молочница».

— Что?

— Ну, эта штука на конце.

— Которая?

— Господи! Да прыщи же!

— А - а...

— Она называется «молочница».

Да! Все - таки нужно снять пенсне и протереть линзы. Мои приятели меня в гроб вгонят.

— Там не хватает молочнокислых бактерий!

— Где?

— Да на конце же! Поэтому такое название.

— И что теперь?

— Нужно восполнять.

Огромный плакат: «Непосредственно перед использованием окуни свой член в какао!»

— Почему в какао?

— Оно с молоком.

— Да нет же! Хотя, между прочим, женщинам для восстановления микрофлоры рекомендуются тампоны, выдержанные в просток-

ваше.

Вот, блядь, балбес!

— То есть, сначала надо неукоснительно истребить грибки, а потом уже поселять бактерий!

Ну да! Причем каждую бактерию в отдельности: Ба - альшим пинцетом. Нет, все же нашим медикам надо яйца оборвать. Ведь что с человеком сделали. Умом повредили. Теперь каждой бабе перед совокуплением он расскажет о вреде грибков и о пользе кефира.

И ОПЯТЬ ЮРА

— Как ты считаешь, если женщина стонет, это начало оргазма или же его конец?

Скорбное долгое «а - а - а...»

— То есть, если она сначала стонет, а потом кричит, он уже наступил?

— Кто?

— Да оргазм же!

— Конечно! Конечно! Он наступил! Она наступил! Они наступил!

— Чего ты орешь?

— А чего ты меня спрашиваешь об этом каждый раз на подъеме флага?!

СНОВА КОСТИК

— Все! Я пришел к ним, а они мне опять говорят: «Обнажите головку», — и я сейчас же обнажил. Я теперь ради дела перед кем хочешь обнажу свою головку. Никакой половой разницы. Совершенно все равно. А они столпились вокруг нее, поворочали с боку на бок и говорят: «Молочница!» — три мудака и одна блядь, санитарка. Как будто до этого они мне не говорили то же самое! Причем санитарка, как и в прошлый раз, похоже, понимает больше всех этих придурков в совокупности!

СНОВА ЮРА

- Слушай... Как ты считаешь?.. Тут такой непростой вопрос...
- Что?!
- Мне надо с тобой посоветоваться.
- Что?!
- Посоветоваться.
- Опять?
- Ну да.
- Насчет чего?
- Да вот...
- Насчет флюидов?! Онанирования? Микропрыщей?! Д - а и - д - и - т - е - в - ы - о - б - а - н - а - х - е - р! Со своими членами, бабами, оргазмами и залупами! НА ХЕР! Задолбали! Все! Знать ничего не желаю!

ГОЛОС ПОСТОРОННЕГО НАБЛЮДАТЕЛЯ. И пошли они оба на хер...

ХОР: Все вдруг на хер! Все вдруг на хер! На хер! На хер!

ПОСЛЕСЛОВИЕ:

Все изложенное выше является оперой.

Голоса: Костик — тенор,

автор (собеседник Костика и Юры) — баритон,

Юра — контральто (партия исполняется женщиной),

посторонний наблюдатель — меццо - сопрано.

Хор — пастухи и пастушки, стоящие как попало.

ПАСТОРАЛЬ

— Что это такое? Что это? Что? — орал и орал в трубку командир учебного отряда в городе Р., того самого отряда, что располагается на островке при входе в залив и где — головой вперед — готовится наше молодое пополнение для нашего любимого военно-морского флота.

И действительно, что это такое?! Что?

Это я не относительно того, что молодое пополнение готовится головой вперед. Я и сам не понимаю, что это — «головой вперед» — натурально означает и чем подобная подготовка отличается от любой другой. Может быть, там сначала суют голову, а потом уже, подумав, и все остальное? Вот, например, во многие места у нас нужно лезть головой вперед. Так может, и здесь наблюдается нечто подобное?

У нас все может быть, но сейчас не об этом.

Сейчас о другом.

Сейчас о том, что хочет спросить командир того учебного отряда, что при входе в залив, у командира отряда подводных диверсантов, что разместился на другом островке.

То, что их удалили на этот остров, — это куда как хорошо и правильно, и вообще, я не знаю, существуют же какие-то пределы поведения! А то невозможно ступить по земле русской, чтоб не наткнуться на какого-нибудь диверсанта, а это такие, я вам скажу, сволочи и все, наверное, прочее.

Мало того, что они у себя на острове нападают друг на друга и все ходят потом с перекошенными рожами. Так они повадились переплывать залив и нападать в ночное время на территорию учебного заведения, (командир которого теперь звонит их командиру по телефону возмущенно), где они снимают дневальных, которых складывают потом в мешок и переправляют к себе на остров.

А дневальные, не говоря о том, что они в завершение всего этого мероприятия срут три дня не переставая, они еще и заиками могут остаться.

— А что же они у вас так плохо физически подготовлены? — только и слышно от командира этих циклопических уродов. — Что ж они так виртуозно срут даже при помещении в мешок?

— Они ... при чем здесь... Все! Я еду к командующему! Потому

что ваши негодяи вдобавок ко всему вчера утащили сейф из учебного отдела!

— Да нужен нам ваш сейф из учебного отдела. Храните там всякое дерьмо относительно своего говенного учебного процесса. «Совершенно секретно. Обучение головой вперед» Тоже мне открытие. Мы и вскрыли его очень аккуратно. У нас тут есть специализация. Даже дверь не повредили. Сегодня же ночью назад притащим. Даже не заметите.

— А - к... А - к... — пытается что - то сказать командир. — Завтра. — говорит оно наконец. — Завтра в восемь утра я поеду к командиру!

— На катере поедите? — вежливо у него поинтересовались.

— Да! Да! На катере! На катере!

— Хорошо.

Утром у катера отсутствовали винты.

Постскриптум:

— Дебилный рассказ, — сказала моя жена, — я лично ничего не понимаю.

МИРООЩУЩЕНИЕ

— Водоплясов! Ты знаешь какая у тебя фамилия? Водо - плясов! То есть, «пляшущий по воде», понимаешь? То есть, легкий, воздушный. А ты что пишешь мне здесь ежедневно? Слово «шинель» через две буквы «е»? Ты чего, Водоплясов!

Я через полуоткрытую дверь каюты слышу, как начштаба отчитывает молодого писаря.

— Слушай меня, Водоплясов! В русском языке есть слова. Их там много. Среди них попадают глаголы и существительные. А есть прилагательные, понимаешь? А? И есть наречия, числительные, местоимения. Они существуют отдельно. Это ясно! Хорошо. Уже хорошо. Уже безнадежно, Водоплясов. А когда их, эти самые слова, составляют вместе, получаются предложения, где есть сказуемые, подлежащие и прочая светотень. И все это русский язык. Это наш с тобой язык. У нас великий язык, Водоплясов! В нем переставь места - ми сказуемое и подлежащие и появится интонация. Вот смотри:

«Наша Маша горько плачет» и «Плачет Маша горько... наша». А? Это же поэзия, сиськи на плетень! Былины, мамина норка! А есть предложение в одно только слово. Смотри: «Вечереет. Моросит. Потемнело». Одно слово, а сколько в нем всякой великой ерунды! Ты чувствуешь? Да ни хрена ты не чувствуешь! У тебя ведь член можно сломать, пока до конца абзаца доберешься! Где тебя научили так писать?! Кто тебя научил?! Покажи мне его и я его убью! Зверски зарежу! Я его расковыряю. Я отомщу за тебя, Водоплясов! За твое неполноценное среднее образование. Когда я читаю все, что ты тут навалал, я же чешусь весь в нескромных местах многократно!.

Я отохожу от двери. Я думаю о Водоплясове и начальнике штаба, и о том, что они, в сущности, очень подходят друг другу. Мало того, пожалуй друг без друга они уже не могут существовать, потому что не могут обойтись без этих обоюдных встряхиваний, и еще я думаю о том, как все в этом мире устроено таким замечательным образом. Как в калейдоскопе — чуть тронул картинку, и она сбивается только на какое-то неуловимое мгновение и только затем, чтоб опять сложиться в чудесный орнамент. В этом месте я вздыхаю — ах! А утром опять полуткрытая дверь в каюту начальника штаба и из-за нее:

— Водоплясов! Ну - ка, иди, сука, опять сюда!..

И все, видите ли, с самого начала.

НЕ СЛУЧАЛОСЬ ЛИ ВАМ

Не случилось ли вам будучи капитаном первого ранга попадать в глубинку России, где жители при встрече останавливаются, поднимают ладонь ко лбу и вглядываются в тебя, как в горизонт, где девушки смущаются, молодухи улыбаются, а козы провожают удивленными взорами?

А мне случилось.

Только нас было целых три капитана первого ранга, и что мы делали в этом сердце России я не очень отчетливо помню.

Припоминается стол и то, что мы за ним сидим, и Дима Пыньев, начальник штаба теперь уже неважно какого, с рюмкой в руке держит речь.

Он говорит: «Родина... (далее не помню)... честь имею... (со-

вершенно как - то ничего)... плоть от плоти... (ну надо ж такому...)... все, как один.. (аладдин, по - моему)... «

А потом внезапно наступает ночь, и мы уже бредем по улице — это явно село, но вот вдали показался трамвай, и нам вдруг становится ясно, что это последний на сегодня в этой жизни трамвай и до остановки нужно бежать, чтоб успеть, и мы было даже побежали, но Дима Пыньев, начальник непонятого штаба, вдруг говорит: «Мы же капитаны первого ранга! А капитаны первого ранга не бегают за трамваем! Капитаны первого ранга идут до трамвая строевым шагом!» — после чего он переходит на строевой и идет к остановке, а мы — чуть было не растерзались — так нам захотелось успеть, но как тут успеешь, когда этот раненный в голову с детства идет строевым...

И, вы знаете, мы все - таки успели.

Может быть потому, что это был последний трамвай и, собственно говоря, почему бы ему не подождать трех капитанов первого ранга, два из которых пытаются до него доскакать на подгибающихся, нетрезвых ногах, а один идет строевым шагом, а может быть, трамвай был потрясен тем, что увидел ночью такую удивительную кавалькаду, или он пожалел Диму Пыньева, начальника непонятого штаба идущего строевым посреди села.

ОН И ОНА

Дрянь!

Боже ж ты мой, какая мерзость!

Она живет у меня на боевом посту. Только я зазеваюсь — а она уже поползла на брюхе к помойному ведру. Ползет, а сама смотрит мне в глаза, скотина! Я как - то задремал и вдруг — как током — поднимаю голову, а она смотрит. Меня всего передернуло. Мерзость. И никак ее не прихлопнуть. Я и так, и этак — никак. В ловушку не идет. В петлю тоже. Будто знает все. И еще: чувствую, кто - то рядом есть, обернулся — уже юркнула. Только хвост мелькнул. Как же ее укокошить?

Я называю его — мой Большеног. Он такой непомерно огромный и ужасно бестолковый. Увидит меня — затопает ногами,

закричит. Он очень нервничает, когда меня видит.

Но я и так стараюсь его не беспокоить. Часами высидиваю в укромном уголке только бы его не спугнуть. А то устроит такой тарарам.

Я даже в наше хранилище пробираюсь ползком. Полегоньку.

И все же, мне кажется, я хорошо его изучила. Когда он засыпает в кресле, я спускаюсь по тесемкам его папок вниз. Они удивительно невкусные — эти папки с тесемками, и годятся только на то, чтоб я по ним спускалась.

Мне очень хочется до него дотронуться. Хочется его обнюхать, потому что при таком тесном существовании эти детали необычайно важны.

Мы совершенно одни, если не считать того, что временами он куда-то исчезает и его место занимают другие. Но тогда я не выхожу. Хватит с меня и одного Большенога. Это очень утомительно кого-либо так изучать. Надо когда-то отдыхать.

Мне кажется, она меня нюхала! Да-да-да! Что-то такое было. Дуновение. Шерстинка по лицу. Паутинка. Если это так, я с ума сойду.

Его запах осязаем. Он ощутим на значительном расстоянии, и по нему можно даже судить о его настроении: резкий, мускусный аромат говорит о волнении; невыразительный, с горчинкой в самой середине вдоха — о успокоении; слабый, сладковатый — о сне.

И все-таки я понюхала его с близкого расстояния. Не то чтобы в этом была жгучая необходимость, но, знаете, может, вблизи все выглядит совсем по-иному. Разочарования не последовало. Запах не самый приятный, но выдержать можно.

Я могу часами смотреть на его лицо. В нем надо поймать выражение потерянности, когда взор ко всему безразличен, когда все опостылело. Это значит, что он скоро уснет и тогда можно будет проскользнуть.

Иногда меня так и подмывает его испугать, но я себя сдерживаю. Зачем все это. Крошек теперь и так много, и все эти походы к ведру давно уже чистое наслаждение.

Мне показалось, что где-то пахнет. Говорят, они метят мочой те места, где ходят. Не хватало только, чтоб у меня здесь все про-

воняло этой тварью. Я даже нюхал ее тропу, но, по - моему, ничего..

Я застала его за странным занятием. Он опустился на четвереньки и шумно втягивал носом воздух. Мне всегда казалось, что большеноги лишены обоняния, и я была приятно удивлена тем, что это не так. Хотя, наверное, большая часть самых воспитительных запахов ему наверняка недоступна.

Она ко мне прикасалась! А я весь съезжился и стал маленьким, а она большой. Улыбнулась и говорит: «Не бойся меня». Это был сон. Я спал. Ужас. Проснулся в испарине. Нужно наладить мышеловку. А то всякий раз пружина спущена, приманки нет.

Он ставит на тропе эту недоразвитую дощечку с железкой. В ней ощущается напряжение, и я его чувствую. Когда я была совсем маленькой, Узкорыл научил меня ею пользоваться. Нужно ухватиться зубами за самый краешек и хорошенько встряхнуть. Произойдет удар, напряжение спадет, и можно будет забрать свой приз.

Говорят, они переносят массу болезней. Как подумаю об этом, так и чешусь.

Наш Большеног совершенный чистюля. Он ухаживает за своей шкурой, постоянно поскребывается. На тропе я опять обнаружила металлическую окантовочку. Она прикручена к стойке. Неприятная штука. Ее нужно миновать осторожно. Иначе можно попасться. За - тянет на шее или на поясе.

Не идет в петлю, представляете? Жутко умная дрянь. Если на ее пути появится что - то непривычное, может три дня туда носа не казать. Но я же с ума сойду. Мне ее надо прихлопнуть. Может, попробовать отравленную еду или натолочь стекла?..

Я все больше и больше к нему привыкаю. Я уже знаю, как он ходит, сидит, дремлет, держит спину. Из - за своих непомерных размеров они, конечно, опасные, но ужасно привлекательные гиганты, и если природа создала их, значит это было зачем - то надо. Может быть, даже за тем, чтоб кормить и содержать наше племя. Он все

время издает странные звуки. Нет, конечно же, те звуки, что свойственны им издревле, меня не так удивляют, как те, что он производит ломая что - то. Он все время что - то ломает. Это так неприятно.

Весь день дробил стекло. Нашел бутылку и... интересно, будет есть или нет?

Он предложил мне странную еду. В ней ощущалось то, что нераздробленным вставляется в окна. Опасаюсь за его ум.

Не жрет, скотина, не жрет!..

По - видимому все обошлось и это было лишь временное помутнение рассудка. Все, что растолок, он выбросил. Теперь сидит и думает. Меланхолия столь непривычная гостья для этих мест, что наблюдение за ней, случайной, редкостное развлечение.

Понял, как я ее убью. Ее нужно приручить. А лучше прикормить, чтоб подпустила к себе поближе. Подпускает — я беру молоток и...

Сегодня праздник. Большеног сделал навстречу значительный шаг. Он понял, наконец, что мы — соседи и зависим друг от друга. Он предложил мне еду. Не те остатки, которые я, выполняя некую высшую волю, за ним все время подбираю, но что - то новое, им самим изготовленное. С воспитательным запахом. Но я не могу так сразу при нем есть. Еда — в ней так много интимных движений. И потом, все это так непривычно. Не лучше ли подождать два дня?

Не ест пирожок. Я утащил с камбуза пирожок специально для ее приручения, а она не ест.

Я не стала есть эту пищу сразу. Возьму ее только завтра. Невежливо сразу все хватать. Ведь это подарок. Нужно выдержать хороший тон. И потом, ее нужно проверить. Большеног — мастер всяческих розыгрышей.

Есть! Она его утащила. В следующий раз нужно положить еду ближе.

Я отнесла ее нашим. Я считаю, что это необычная пища, а если случается нечто подобное, лучше посоветоваться со своими. Ее отдали выводку Голобрюхой. У нее их все равно родилось больше, чем обычно. Небольшая потеря никому не повредит.

Положил приманку поближе. Интересно, покажется она или утащит ее втихаря!

Потомство Голобрюхой не пострадало. Теперь можно пробовать не обращаясь к собранию. И все - таки нужно быть настороже. Большеног — чужак и может выкинуть любой фокус.

Ага! Показалась из своего угла. Сначала высунулась мордочка и глаза - бусинки уставились на меня. Мне показалось, что она что - то заподозрила. Мне вдруг стало нехорошо от мысли, что я поступаю нечестно. Все - таки лучше было ее прихлопнуть в открытую. Война так война, а приманивать... но ведь по - другому от нее не избавиться - ся..

Кажется, я скоро уверю в искренности Большенога. Во всяком случае пока он не делает ни малейшего усилия к тому, чтобы мне повредить. Я осторожно куснула еду.. если почувствую горечь под языком... но нет... пока все хорошо.. и все же лучше отдать ее Голобрюхой.

Взяла! Ах ты моя птичка, ласточка, мышка! И не подозреваешь, небось, какой я гадкий и вероломный. Скоро, скоро мы возьмем в руки что тяжеленькое и...

И все - таки Большеног странное создание. Никаких особенных достоинств в нем не обнаружено, и все же он делится пищей. Это необычно. Это может быть началом отношений. Это может вскружить голову. Есть некоторое обволакивающее чувство благодарности, предшествующее безграничному доверию, проистекающее из природного благородства и чистоты души. И я начинаю его испытывать к Большеногу.

Теперь он сидит мирно, и у меня все меньше повода для беспокойств.

Сегодня она показала себя целиком. У меня руки чешутся, как мне хорошо. Но я должен быть паинькой. Реакция у нее мгновенная. Почует подвох — все насмарку.

Все время хочется быть с ним рядом. Не знаю, испытывал ли кто-либо из наших подобные чувства к большеногам. От него исходит ощущение уверенности. Все так надежно. Тепло. Я всего лишь в нескольких сантиметрах от его ноги, и мне так хорошо. Хочется оставить на нем свою метку, чтобы все знали — это мой Большеног. Интересно, чем же он угостит меня в следующий раз?

Сегодня я уже мог ее прихлопнуть, но что-то остановило меня. Нерешительность какая-то. Рука словно окаменела или я испугался, что не попаду. Черт его знает. Хотя я столько тренировался.

Порывистые движения теперь сменились у меня движениями нежными. Я — само совершенство. Я — само изящество, грация. Знаете, мне хочется ему нравиться. При этом стоит заметить, что себе самой я уже нравлюсь давным-давно.

Я дотронулся до нее. Протянул руку и она подставила свой бочок. Шерстка такая мягкая-мягкая, и лапки как игрушечные. Надо же. Все это ради тренировки, конечно. Не хочется промазать, а потом снова все затевать. Хочется, чтоб наверняка.

Он тронул меня. Для него это движение, видимо, было совершенно необходимым. Для меня... стыдно сказать, но по всему телу пробежала дрожь, будто я ждала этого прикосновения и в то же время, очень его боялась. У меня такое чувство, что мы оба только что прошли через чрезвычайно важное испытание, сущность которого нами пока что не понята... Скоро мне понадобится куда больше еды. Следует делать запасы.

Она что-то почуяла. Хватает еду и бегом к себе. Я ведь ее трогал. Видно, что-то не так и она мне больше не доверяет. Не подпускает.

Скорее всего, для Большенога очень важно наше соприкоса-

ние. Он все чаще старается его повторить. А мне страшно некогда. Для Большенога у меня скоро будет сюрприз. Да и для всего мира тоже. Я буду занята несколько дней. Потом расскажу чем. Не скучай, Большеног, я о тебе не забыла.

Она не появляется уже трое суток. Может, ушла?

Ее нет неделю. Не знаю, что и думать. Я отодвинул в ее углу все ящички. Я сделал такую приборку, какую никогда не делал. Я залезал тряпкой в щели, ковырял там проволокой — все напрасно. Ничего не нашел.

Десять дней я без нее, и я не знаю, что теперь будет. Меня спросили что со мной, и я сказал что крыса пропала. «Так радуйся!» — сказали мне. «Я и радуюсь», — сказал я.

Сегодня исчез сыр. Он лежал три дня, а сегодня в обед пропал. Я думал может выкинул кто. Он лежал в нашем с ней месте, но, может, кто-то из сменщиков делал приборку и выкинул. Опросил всех. Никто не трогал. А вдруг это не она? Нужно сбегать на камбуз. Она любит пирожки с мясом.

Все! Показалась! Ха-ха! Да, мадам, давненько мы вас не на блюдали. И где это вы так шлялись, а? Неужели нельзя было заглянуть на мгновенье к папочке? Я гладил ее по спине и по ушам. Как кошку. Она ужасно проголодалась — это ясно, но стояла, как вкопанная, не шелохнувшись. Потом задумчиво так повернулась и ушла. Через мгновение вернулась, а за ней... Бог ты мой!.. ползли два крыска...

Мы все полезли на Большенога. Мы терлись о него, взбирались по штанам, норовили подлезть под руку. Мы ласкались. Мы соскучили. Это был наш Большеног. Большеног и мои дети. Они играли с ним, а он с ними.

Черт знает что... черт... кому расскажешь... Черт знает... черт, черт... Пойду на камбуз воровать пирожки. У нас прибавление.

ЗАХВАТ

Мы догнали его через сутки. Он засел за камнями. За ним от-весная сопка, и деться ему некуда. У него автомат и два подсумка патронов. С таким грузом идти нелегко. Хорошо, что мы в ватниках и взяли с собой шапки. Это я приказал. Ночью холодно. Ватник, старые офицерские ботинки на микропоре, которые не скользят на скалах, шерстяные носки, смена белья, паек, патроны, шапка. Можно выбрать место посуше, опуститься в мох, поднять воротник, уткнуться лицом в колени и вздремнуть. Обязательно укрыть лицо и шею. Иначе комарье сожрет. Он положил восемь человек — половину караула. Потом взял два полных подсумка и ушел.

Он шел на запад. Может, он и хотел перейти границу — черт его знает — но по мне так он шел, как зверь, — по чутью, а оно говорило — иди на запад.

Это все из-за солнца. Прекрасно его понимаю. В его состоянии хорошо идти на солнце, потому что оно вселяет надежду. С солнцем кажется, что все у тебя получится. В двенадцать ночи оно висит над горизонтом. В той стороне и есть запад. Потом оно медленно по кругу движется на восток. Север. Лето. Солнце не заходит.

Скорее всего, он положил их из-за издевательств Годковщины. Почти все расстрелянные в упор — годки, им осталось дотянуть до ноября. Своих, я думаю, он случайно зацепил. Восемь человек: шесть годков и двое молодых. В последний момент, видно, автомат в руках пляснул. Я видел то место — их разметало по стенам. Автомат — хорошее оружие. Целиться совершенно необязательно. Надо просто направить ствол в ту сторону. И он выкосит все. Воду мы не взяли. Какой смысл — полно луж. На ходу зачерпнул и напился. Идем только по хоженным тропам. Здесь много мин. Еще с войны. Они давно вросли в мох. Торчит только какая-нибудь незначительная деталь. Он, похоже, знает об этом. Ни разу не оплошал. Собственно, ему и оплошать нужно было всего один раз. Он нужен мне живьем. Не верю я в то, что он за границу шел. Это годки довели, суки. А теперь мы его обложили. Я его учуял сразу. Загодя расставил людей, а сам с Осадчим вперед. Я знал, что будет очередь. Успел дать Осадчему по шее, чтоб кувыркнулся под струю. Еще бы чуть и оцарал.

Пашка Осадчий — годок и старшина первой статьи. Я слышал,

как он говорил ребятам: «Лично пристрелю гада». Я те пристрелю. Возьмем, когда у него арсенал подрастратится. Я уже назначил считающих его патроны. У него их где-то триста. Пока лупит, дубина, короткими очередями. Он в карауле выпустил целый рожок. Кучно получилось. Все в цель. На это у него ушло шесть секунд. Только сейчас понял выражение «в шесть секунд». Именно столько уходит на то, чтобы вылетел весь магазин.

Тихо. Ребята на позиции. Осадчий дал Петренко по шее, чтоб не высовывался. Это он за меня. Я дал ему, а он — Петренко, зародыш.

Парень в кольце. Осадчий со мной, Корнилов на связи, потому что ползает, как гадюка.

— Сколько?

— Пока пятьдесят семь.

Считаем его патроны. А вот еще. Сейчас поменяет рожок. Конечно, можно было бы сейчас броситься, но для броска маловато времени. Я приказал всем молчать. Он не знает, сколько нас. Ребята кидают в него палками, чтоб держать в тонусе. Скоро все истратит, дурачок.

— Можно отвечать одиночными, но только вверх.

Он от страха сейчас высадит весь подсумок. Так и есть, лупит, как оглашенный. Когда начнет стрелять одиночными, надо быть настороже. Одиночные означают, что человек успокоился и стал соображать.

— Сколько?

— Восемьдесят восемь.

Кончается третий рожок. Осталось семь по тридцать в каждом. Интересно, когда люди впервые стали стрелять друг в друга? Скорее всего стрелами и в неолите.

— Каждому две очереди по сигналу, по пять патронов в каждой.

Пусть знает, что нас много. Сейчас он обалдеет от огня..

Так..

Теперь можно ударить по вершине скалы, чтоб его посыпало камушком.

— Осадчий!

— Я!

— Две очереди по вершине. Смотри только, чтоб не задела.

Заденете — всем башку отвинчу.

Возьму его чистеньким. Может еще отвертится от вышки, бал-бесина. Бывают чудеса. Скажет что издевались, и получит свои пятнадцать.

— Осадчий!

— Здесь!

— Дай рыжему по шее. У него опять зад торчит.

Как же ты так попался, глупенький? Небось и мать есть.

— Сколько там у него?

— Пятый кончается.

Ну вот. Скоро возьмем. Кстати, пора бы сказать ему что -нибудь для очистки совести. Громко и коротко.

— Эй, за камнем, Тепляков! Слушай меня внимательно! Ты окружен! Прорваться не получится! Из этих скал мы тебя выкурим! Прекрати стрельбу и выходи без автомата. Я — капитан-лейтенант Сысоев, гарантирую жизнь и суд!

Очередь.

Дурачок

Мы с собой ветоши приволокли. Ветер в его сторону. И бензин у меня есть. Обмотаем тряпочки вокруг сухих палочек — под сопкой их навалом — запалим, подождем пока завоняет и забросаем. Выкурим в пять минут, как лиса.

— Прекратить огонь! Тепляков! Ты здесь еще никого не задел! Патронов у тебя мало! Выходи!

Очередь.

— Сколько у него там?

— Еще четыре магазина.

— Людей ползком за ветками. Ветошь у меня в рюкзаке.

Начал бить одиночными. Значит, успокоился. Через несколько минут здесь все будет в дыму. Если хоть что -то понимает, приникнет к земле — там дым меньше глаза ест. И нам останется один бросок. Пойду я, Осадчий, Корнилов. Остальные устроят тарарам. А вот и дым повалил. Приготовились... пошли... Раз - два - три... воздух в легкие, полную грудь, затаить дыхание, очки от дыма и наносник на нос. Вперед!

Мы вылетели из укрытия. Стоит сплошной автоматный гвалк — ребята стараются. Передвигаться надо прыжками. Из стороны в

сторону. Из стороны в сторону. Обожгло бок. Потом два удара в плечо.

Прежде чем потерять сознание, подумал, что стоило бы предупредить Осадчего, что парень нужен живьем.

— Осадчий!.. Оса...

Плохо. Ребята несут меня бегом. Быстро, но не тряско. Плохо дело... На чем они меня тащат? А - а... вещмешки связали... Ну да... ну да..

Потом Осадчий скажет мне, что Тепляков застрелился. Я сделаю вид, что поверил...

СЕМЬДЕСЯТ ДВА МЕТРА

ИСТОРИЯ

Эй, приятель, как мне хочется иногда, чтоб ты был большим и счастливым. И не то чтобы просто большим, а и совершенно, не-возможно огромным, размером с Юпитер или Сатурн, тогда б ты мог почувствовать кривизну окружающего пространства и всякие там глупости относительно времени как категории, и тогда ты мог бы подержать в ладонях нашу Землю, удивившись заодно ее незначительной, для небесного тела, величине и хрупкости во всяческих проявлениях.

Ах! Ах! Ах!

Ты бы был тогда свободным человеком. Боже ж ты мой! Абсолютно, совершенно свободным, постигающим законы, может быть даже гармонии.

И никто бы тебя ни к чему не принуждал — ни люди, ни обстоятельства. И ты бы плыл и плыл к далеким звездам, совершенно не пугаясь разлетающейся Вселенной, и ты смеялся бы, подставляя метеоритам то одну, то другую щеку.

Конечно, можно быть и большим — конечно можно, чего бы не быть, — но я тут должен заметить, что все чаще и чаще ты, приятель, становишься маленьким, мелким в некоем роде, превращаешься в каплю и падаешь в лужу, чтобы жить там жизнью инфузорий, и из этой лохани никакими силами мне тебя не достать.

А там ведь страшно, среди гидр и фазалий. Там ведь ползают с открытыми ртами и сосут дерматин, упавший сюда на прошлой неделе.

Там подкарауливают, выслеживают, подсиживают, подстерегают друг друга, там нападают, ставят к стенке, отбирают последнее.

Ненавижу я все это до хрипоты, до кашля, колотья и боли за грудиной. Почти так же я ненавижу противогаз и то, что в нем надо бежать двадцать четыре километра, и пот, стекающий по щекам, и то, как он собирается залить ноздри, глаза, и то, что надо, добжевав,

сейчас же сменить фильтрующий противогаз на изолирующий и броситься с лопатой на кучу песка и перебрасывать ее в течении часа, извиваясь всем телом, отпихивая локтями раскаляющийся регенеративный патрон на кожаный ремень — только так и можно избежать ожогов на животе.

Все это бредни, конечно, рассказы умалишенного, сладкие - сладкие частности. Там, наверху, на поверхности, когда - то случались подобные частности, и теперь оказывается, что все они были сладкие. Так что не обращай на меня внимания, приятель, это я так..

... а на первом уроке в первом классе мы учились вставать и закрывать парту. После этого урока мы сейчас же перезнакомились и немедленно переженились. Жен распределили мгновенно.

Я не успел заявить о своих притязаниях, и мне отошла очень маленькая и очень красивая девочка - татарочка с огромным белым бангом.

А я хотел жениться на Миле Квоковой, которая досталась Андрию, с которым мы тут же подрались.

Потом я дрался за Таню Погорелову и еще за кого - то.

А потом мне заявили, что если уж жен распределили, то и нечего тут, и я смирился.

А девочка - татарочка всегда дождалась меня после урока и на перемене брала меня за руку. Если б я предложил ей съесть жука, она бы съела.

У нее были большие и влажные глаза. Она смотрела на меня снизу вверх, потому что я был выше на целую голову. Она подходила ко мне чуть дыша, брала за руку и смотрела в глаза очень - очень долго. А потом мы бегали на школьный двор, где я кормил ее тутом. Я набирал ягоды в ладошку и запихивал ей в открытый рот. Это было очень приятно, потому что ее губы касались моей руки и они были очень мягкие, а я напускал на себя строгость и делал себе заботливый вид. Я говорил ей: «Давай закричим», — и мы кричали. А в классе она подходила сзади и смотрела, как я пишу в тетради. Она смотрела так, будто я художник и рисую картины совершенно ей недоступные, а меня это почему - то раздражало, и я кочевряжился как только мог.

Она сразу поверила, что я ей подарен, отдан навсегда в соб-

ственность, но при этом она, как мне теперь представляется, все же опасалась, что эта собственность может взмахнуть крыльями и улететь, и на этом простом основании она подходила ко мне, как к стае голубей, бережно и осторожно. Чтоб не спугнуть.

Говорила она мало, никогда ни на чем не настаивала и с величайшей готовностью участвовала во всех тех бесчисленных безобразиях, которые я только мог ей предложить.

Мы лазили на деревья и прыгали с них, мы хоронили бабочек и таскали гусениц, мы залезали в лужи и рылись в земле...

... память моя, ты подсовываешь мне все эти глупости в такие минуты, когда нужно продираешься сквозь трубопроводы, давить мышцы, кости, лицом тянуться к воздушной подушке, потому что везде в отсеке вода и в нее одна за другой уходят лампочки аварийного освещения, а вокруг тебя уже плавают несколько человек, барахтаются, им тесно, и плещутся какие-то предметы, которые то и дело касаются твоей щеки, а люди — и их головы торчат рядом с твоей головой — отплываюотся, дышат тебе в лицо, а ты должен сказать им: «Тихо! Сейчас будем выбираться Петров! Нырнул, и через люк на среднюю палубу, а там по поручню и до двери. Проверь — открыта или нет». — И он ныряет. Он не думает. Ему некогда. За него думаешь ты. Ты для него и папа, и мама, и Бог...

... это я ходил за чаем. Был такой чай за пятьдесят две копейки. Бабушка здорово его заваривала: по всей квартире растекался густой аромат. Сейчас так не пахнет ни один чай. Она ставила его на газ на железку в фарфоровом чайнике, а я должен был следить за тем, чтоб чай не вскипел. Когда все чайники всплывали и образовывали наверху шапку, следовало потушить...

... а вот и Петров. Прошла, кажется, вечность с того момента, как он ушел под воду.

— Ну?

— Есть проход и воздуха там больше.

— Поместимся?

— Да.

Умница. Значит он пронырнул не только до двери, но и за дверь и там еще метров пятнадцать до воздушного пузыря. Отдышался и назад. Умница. Не хочется думать о том, что было бы если б он не нашел этот чертов пузырь.

— Все за Петровым в соседний отсек! Быстро! Интервал две

секунды! — и вот уже все мы уходим под воду один за другим. Я — последний.

Темно. И в этой темноте нужно соблюдать объявленный интервал, а то получишь ногой по голове от плывущего перед тобой.

Никогда не думал, что мне придется вслепую нырять в воду внутри подводной лодки. Мы делаем это находясь почти у подволока. Над нами только трубы, и до них всего только сантиметров пятнадцать.

Не больше.

Труб не видно, но я их чувствую. Я сейчас все чувствую. Даже направление. Оно угадывается по тому движению, какое производит в воде тот, кто плывет перед тобой. Нужно плыть не вертикально вниз, а чуть вперед и вправо, шаря руками, отпихивая притопленные ящики, — там люк на среднюю палубу. В груди начинаются судороги, но они не от того, что воздух внутри кончается. Просто ты боишься, а надо успокоиться, нужно сказать себе: «Ничего, ты доплывешь, и люди будут целы.» — нужно бубнить себе: «Дотянешь, дотянешь, обязательно дотянешь». Тут на самом деле до люка метра три — ерунда, это нам раз плюнуть, потом до переборочной двери еще три. Только бы не застрять среди ящиков — они как взбесились, сколько же их, Господи, просто каша из ящиков! Пока жду своей очереди на проход, отбиваюсь от них. Это тяжело — ждать своей очереди. Нужно было делать интервал между людьми три секунды, чтоб не тратить время на такое сражение.

Нет, все правильно. Интервал две секунды. Иначе можно заблудиться. Только бы там места хватило на всех.

Есть! Последний исчезает за дверью, теперь и моя очередь. В груди больно, но я доплыву, доберусь обязательно до этой проклятой воздушной подушки...

... а в жару мы ходили босиком. Считалось, что покупать летом новую обувь неразумно: нога все равно вырастет, и сначала подошвы ног болели: кожа на них была очень чувствительная и мы прыгали на одной ноге и шипели после каждого камешка...

... после переборочной двери нужно уйти влево, потом вперед. Все время что-то лезет навстречу, тычется в лицо — прочь, все в сторону.

Это большой отсек. Восемьсот кубов. Хорошо, если воздуха здесь около восьмидесяти. Но самое высокое место впереди, над

трапом, и хорошо, если свободного пространства будет метров двадцать, тогда спокойно поместимся все.

Без паники! Ты под водой только пятнадцать секунд, и у тебя как минимум еще пятнадцать...

...у нас в соседнем дворе был пожарный бассейн. Вода там была коричневая, но в жару это не останавливало — бросались в воду и вылезали только когда губы синели. Лежали на солнышке, подрагивая от холода и возбуждения...

...плывем к трапу в центральный — это понятно. Пузырь над ним. А где ж ему еще быть. Это самое высокое место. По трапу вверх втягиваемся на руках, чтоб не прижало к подволоку, а то можно сдуру напороться на какие-нибудь выступы и раскроить себе башку.

...а во дворе рос виноград. Он забрался сначала на второй этаж, а через много лет оказался на пятом...

...Так! Хорошо! Добрались. А теперь поднимайся вверх медленно и осторожно, уворачиваясь от ног своих же подчиненных, — они сейчас наверняка всплыли все в куче и молотят ими по чем зря, тянутся к воздуху, потому что вот же он, воздух, а когда он рядом, на какое-то время перестаешь ощущать себя человеком, только животным, у которого отнимают его собственную кожу. Фу ты! Все дышат как лошади. Раз! Два! Вдох — выдох. Еще, еще, легкие раздирает, еще ну ...

Переключка...

Все на месте. Отзываются хриплыми голосами — горло перехватило. Это ничего, ничего. Сейчас, сейчас пройдет.

Когда тянешься за вдохом, кажется, что только тебе — то его — такого замечательного — и не хватит, и хочется растолкать всех — ногами, кулаками. Ты не виноват — это твое тело подбивает тебя на эту драку, но слушать его нельзя.

Нельзя. Эта зараза передается, и через мгновение в этой чертовой темноте вы перетопите друг друга.

Отдышаться!

Торопиться нам некуда. Некуда нам спешить.

Странно, только что ты был готов вцепиться в другого человека, а теперь, когда ты получил над собой воздушное нечто, по всему телу разливается свинцовая усталость и тебе тяжело не то что драться, но и просто висеть, уцепившись за трубопроводы.

Спать. Хочется спать, но спать нельзя.

Ничего, ничего, сейчас пройдет. Вот, вот, уже проходит. Главное — не думать...

... а во дворе всегда было солнышко и играли в ловитки: бежали друг за другом как оглашенные. Те, кого поймали, выстраивались вдоль стены. Можно было тихонько подобраться и выручить своих товарищей из плена. Для этого достаточно было коснуться ближайшего и тогда вся цепочка у стены немедленно рассыпалась...

... Господи, у нас впереди еще два отсека. Всего только два отсека, Господи! И нам нужно добраться до первого. Мы должны до него добраться. Обязательно.

Оттуда мы выберемся на поверхность.

Интересное кино, как будто я знаю, как выходить из первого!

Тихо! Знаешь, конечно. Потому что сейчас не спеша все вспомнишь. Нужно вспомнить. Ну, например: в первом можно выходить и через торпедные аппараты, и через люк.

Здорово. Молодец. Еще бы вспомнить, где у них клапана.

А зачем тебе клапана? Отсек - то затоплен, значит клапана вентиляции, подачи скатого воздуха и слива воды из шахты люка нам не нужны. Все будет проще: открыл нижнюю крышку, поднырнул и вынырнул уже в люке, тебе закрыли нижнюю, открывая верхнюю и в воздушном пузыре всплывай.

И больше через этот люк никто не выберется.

Почему?

Потому что надо было, выходя, закрыть за собой верхнюю крышку, а это на глубине почти сто метров уже цирковое представление.

Стоп! Верхнюю крышку можно закрыть из отсека. Точно! Есть такое приспособление.

Или мне только кажется, что оно есть.

Ладно. Доберемся до первого — все станет ясно.

И все - таки несколько человек так можно будет отправить.

К праотцам конечно!

Забыл про декомпрессию? Мы здесь уже несколько часов, а в воздушной подушке давление не меньше десяти атмосфер. Значит в крови полно азота. Вот он - то и вскипит при свободном всплытии. Как в чайнике.

Все. Об этом лучше не надо. Ничего не вскипит. Ты здесь не несколько часов, а может быть, несколько минут. Черт, где же мои

часы?

— У кого есть часы?

— У меня.

— Сколько времени?

— Так темно же.

Действительно, глупость спросил. Но времени все равно прошло гораздо меньше, чем кажется. При авариях всегда кажется, что прошло несколько часов.

Между прочим, для того, чтоб напиться азотом, достаточно нескольких минут.

Очень полезные сведения.

Ладно. Что об этом сейчас думать. Ну, будут при всплытии орать на выдохе погромче. Может и выйдет из нас все это дерьмо.

Очень убедительно. Если б ты был под десятью атмосферами минуту, тогда всплывай и ори. А так хрен поорешь, все равно кес-сонка замучает.

Так. Об этом после. Чего зря болтать. Ты сначала до первого доберись. А там сразу станет ясно что к чему. Кстати, в первом люк находится в самой верхней точке и вряд ли затоплен. Так что нырять под нижнюю крышку, скорее всего, не понадобится. А это уже хо-рошо. Может и клапана отыщутся, и тогда все выйдем, как люди.

Словом, кто - то выйдет через люк.

Кто - то — как попало.

Остальные — через торпедный аппарат.

Если, конечно, легли на ровный киль, не зарылись по уши и найдем тот аппарат, что будет без торпед.

И еще бы найти торпедиста.

Желательно живьем.

И трюмного первого отсека неплохо бы на это дело поиметь.

Чего бы не помечтать.

А может, к нам подойдут спасатели и тогда можно выходить через колокол.

Поехали фантазии.

Спасатели.

Какие, к нашей общей матери, спасатели? Были б наверху спасатели, они давно бы молотили по корпусу...

... мне всегда не добавляли две копейки в магазине. И хотя мы с бабушкой продумывали заранее, что бы такое купить, чтоб не было

так, что мне должны дать на сдачу две копейки, но всякий раз мне почему - то их недодавали, и это меня ужасно расстраивало. Я шел и считал медяки, а потом протягивал их в кассу и знал, что меня все равно обманут, и те, что за прилавком, все знали и тоже волновались, по - моему...

... только теперь почувствовал, что вода ледяная — сдавливает, не дает дышать. Ну ничего. Это мы замерли, вот и замерзли. Нужно терпеть, терпеть, скулить, скрипеть и терпеть! Ничего, ничего. Сейчас. Это мы запросто. Мы же умеем терпеть. И заговаривать себе зубы. Это нам раз плюнуть. Хорошо, что одежду не сбросили, вода внутри одежды скоро согреется, и можно будет терпеть. Вот - вот, уже хорошо. Главное, поменьше шевелиться, и тогда из - под одежды не будет уходить нагретая вода ...

Вода...

Как лодка оказалась под водой — хрен его знает. Шли под РДП. Потом шторм. Как он налетел — один аллах ведает. Что там наверху произошло — неизвестно.

А может, повернули слишком лихо и попали под свою же собственную волну, поднятую ходом лодки?

Может, и так, но только вода угодила в шахту — это ясно, как день, другого и быть не могло. Лодка просела, и тогда вода пошла внутрь уже полным ходом. Даже ахнуть не успели. Дифферент на нос и рогами в дно; все кувырком, а потом вал воды гонится за нами по отсекам, а мы от него, как чумные белки — винтом по трапам — скакали с палубы на палубу, туда, где есть воздух; крики, треск, хлопки электрощитов, вспышки и в конце концов вот эта долбаная темнота. Переборочные двери где открыты, где сорваны. Всего несколько минут — и мы по самую маковку в этом дерьме.

Но удар о дно был. И не один. Сначала носом — так ахнуло, что чуть мозг не выпряхнуло, потом кормой.

Хорошо трянуло.

Но плафоны не подавило — значит, легли на глубине меньше ста — повезло недоумкам. Собственно и шли мы рядом с берегом.

Впрочем, вполне могли угодить на двести метров, и тогда вообще хана. Но все это лирика, конечно, разговор в пользу бедных, нас здесь семь человек, и нам надо в первый — там торпедные аппараты...

Хотя как мы их без торпедистов откроем — об этом лучше не

сейчас.

Без торпедистов, без света, без гидравлики, на ощупь, с блокировкой или без, сначала открываем вручную заднюю крышку, чело- века внутрь, потом переднюю и он всплывает без декомпрессии, ку- рячи проповеди...

От этого заранее тошнит.

А чего я переживаю — может, там есть торпедисты?

Ага, сейчас. Сколько тут ныряем — ни одной живой души.

Впрочем, и через люк выходить — это такие приключения — лучше не надо.

Нужен живой трюмный. Слышишь, Господи, нужен! А где его взять?

... когда я приходил домой без двух копеек, бабушка ругала Ленина по- армянски: «Отомстил за своего брата, и теперь мы все мучаемся»...

Черт знает что лезет мне в голову,

— Отдыхались?

У них, бедняг, и сил - то нет отвечать.

— Петров, на разведку...

Сейчас только пришло в голову, что я совсем не помню лица Петрова.

Остальных, правда, я тоже не помню. Я их почему - то не за- помнил и ничего о них не знаю. Вернее, я даже не старался их запоминать. Не знаю даже, могут они плавать или нет.

Знаю только, что Петров плавает лучше всех. Что он там ка- кой - то кандидат или мастер и поэтому уходит под воду бесшумно и даже как - то лениво.

Вот и хорошо. Под водой нужно поспешать медленно. Так что пусть идет вперед.

— Ну что там?..

Совсем загонял я Петрушу. Ну ничего, сейчас отплывает.

— Ну?

— Есть проход, только воздуха мало. Все не разместимся.

— Разместимся. Пойдем осторожно, двумя партиями. Так, Пет- руша, пузырь у буфетной?

— Да, в самом верху.

— Возьмешь троих — и туда. Разместишь покомпактней, потом вернешься за остальными. Понятно?

— Понятно.

— Развесишь их по трубам так, чтоб другие смогли вынырнуть.

— Ясно.

— Пошли.

Хорошо, что есть на свете Петров, а то б пришлось самому метаться сначала на разведку, а потом — замыкающим. Быстро сдох бы. А так есть Петров — пошел вперед. А я могу подумать. В голову ничего не лезет кроме декомпрессии. Как я их наверх пошлю без нее.

К черту декомпрессию! Не думать о ней. Ты сначала доберешься до первого.

Ты обязательно доберешься до первого — вот тебе мысль, которую нужно повторять. Лопни, — а доберись до первого. Понял? Хорошо!

— Ну как там, Петруня!

— Первые висят.

— Молодец, бери следующих.

— Есть.

— И место мне оставьте.

— Есть.

— И приплыли, прилипли, повисли без ног. А то влупите мне вшестером по черепу — и я тут же сдохну.

— Ясно.

— Пошел.

Всплеск и потом еще два — ушли. А вот за мной не придет никто. Я должен появиться там сам. Без сопровождения. И никто не должен знать, что мне страшно, что мне ох как страшно, что я молиться готов, что я готов боготворить любого, кто нас отсюда до-станет. Они, бедняги, думают, что это я их отсюда выведу, выну через люк, доставлю на поверхность, а там и до берега недалеко. Они не знают, как мне страшно.

И не должны узнать.

Поэтому я приплыву последним. Раз, два, три — пошел. Нужно нырнуть вниз до трапа, потом по трапу налево, полметра вперед до стены, потом по стенке до переборочной двери — вот она; через дверь — вперед на один метр, потом вправо — будет поручень — вот он; по нему вверх по трапу брюхом — береги голову — и теперь осторожно вверх..

... у нас не было коньков, потому что на юге не бывает льда. Зато у нас были самокаты на шарикоподшипниках — тяжеленные, не удобные и мы носились по улицам с ужасным грохотом...

...Все на месте?

Я их не вижу, но уже научился чувствовать по дыханию. Чувствую — все, но на всякий случай...

Переключка.

Откликаются.

— Всем отдыхать, у нас последний отсек.

Отдыхаем, отдыхаем, отдыхаем.

Ловлю себя на том, что не хочу думать о погибших. А их тут, судя по тому, как мы на что-то все время натякаемся, хватает. Но об этом лучше не думать. Наткнулся — оттолкнул в сторону.

— Отдыхались? Хорошо. Петров, проверь носовую переборку.

Всплеск — и он ушел под воду. Сейчас он погрузится вертикально вниз — я мысленно представляю себе, как он это делает: через два метра по трапу уйдет вправо и там до переборки метра четыре — всего десять секунд. Назад — еще десять.

Всплеск — готово, вынырнул.

— Ну?

— Переборочная дверь закрыта.

— Обжата?

— Да.

— Пробовал открыть?

— С той стороны кремальеру не дали повернуть.

— Значит, там есть люди и они не идиоты. Над дверью, помнится, был ключ для вскрытия банок регенерации. Постучал?

— Постучал.

— И что?

— Тоже постучали.

— Так! Значит первый не затоплен и там есть люди.

И они нас не пустят в первый. И будут правы. Чего ради. Если они стоят у переборки, значит у них почти сухой отсек. В нем может и электричество есть.

Если они впустят нас — отсек наполнится водой. Так что первым делом надо закрыть переборочную дверь в третий отсек, после этого можно объединять первый и второй.

Если тебе позволят это сделать.

Во втором примерно двести кубов воды. Если половина уйдет в первый, там останется еще двести кубов воздуха.

А если они дадут нам ВВД в отсек? Из любого отсека в соседний можно дать ВВД.

Если у них есть ВВД.

Конечно есть. Обязательно есть. И они нам его дадут, потому что не сволочи.

Тогда не нужно закрывать дверь в третий — только так можно выгнать из отсека водичку: передавить ее в соседний. Не всю, конечно, но кое-что.

А давление возрастет до пятнадцати, а то и больше.

Ну это еще вопрос. Из шести носовых отсеков затоплено пять. В каждом воздушная подушка составляет примерно десятую часть объема. Из второго нужно перекачать в них около ста пятидесяти кубов. Не меньше. Насколько это повысит давление, сказать трудно. Одно точно — давление вырастет. Как же они тогда будут дверь во второй открывать? У них же там одна атмосфера.

Может быть, и одна.

Вполне возможно.

И чтоб открыть, они и у себя должны повысить давление. Для этого нужно уравнивать давление между первым и вторым. Это можно сделать через переборочные захлопки по вдувной или вытяжной вентиляции, а они в верхней части отсека. Так что порядок. Значит, не закрываем дверь в третий...

... выпал снег. Пушистый. У нас на юге это событие. Это было здорово. Отменяются уроки, и мы всем классом идем играть в снежки...

... Сплаваю - ка я до первого.

— Петрович, ключ для вскрытия банок регенерации на месте?

— Да.

— Остаешься за старшего. Я — до переборки в первый. Надо поговорить.

И всем сразу интересно, как я буду говорить под водой. Да никак я не буду говорить. Я буду стучать. А из-за переборки мне ответят.

Должны ответить. Не гады же там.

У меня на все разговоры — пятнадцать секунд. Не больше. Ну, пошел, бродяга. Вдох не слишком сильный — и под воду. Если

хочешь выжить под водой, никогда не надо делать слишком сильный вдох — от него распирает грудь и долго воздух все равно не удержишь — а вот средний вдох можно держать долго.

Ключ я нашел сразу же. Теперь аварийная дробь.

— Сколько вас? — Это голос Витьки Скрябина — командира первого.

И я сейчас же увидел, что Витька, как только лодка от принятой воды просела и колом пошла на дно, успел вылететь из каюты во втором, кубарем до первого и там задраться намертво.

Да. Он, конечно же, был в каюте — три часа ночи: для его смены самый сон.

Повезло первому. А может, и нам повезло? Может быть. Скоро мы все узнаем.

— Буду считать, стукни.

Это значит, что он будет орать цифры, а я должен стукнуть в дверь, когда он досчитает до семи.

И он поймет, сколько нас.

Так и есть — орет. При цифре «семь» — я бью в дверь.

— Ясно. Сейчас дадим вам ВВД. Дверь в третий открыть. Вы гоним побольше воды. Следите, как будет понижаться уровень. Как только дойдет до переборочной двери в третий, стукните и сразу задраивайте дверь. Потом мы вас достанем.

Все-таки Витька — человек. И я в это всегда верил. Знаете, у нас всякое бывает, но дерьмо у нас всегда остается дерьмом, а человек — человеком. И хотя ты все это знаешь, но всякий раз, когда ты видишь, что человек остается тем, кем он и должен быть... словом, не всегда находятся нужные слова...

Когда я добрался до своих, кожей ощутил — они уже в курсе, что нас впустят в первый. Витьку они, конечно, не слышали, но почувствовали. Мы ведь, как собаки, нам много слов не надо. По тому, как человек дышит и как молчит, многое можно узнать.

— Сейчас нам дадут ВВД. Продуваться, надеюсь, учить никого не надо? Будем опускаться вместе с уровнем воды. Давление может возрасти до пятнадцать. Дверь в третий задраим сразу же, как только вода дойдет до верхнего среза люка.

Удар, потом гул — пошел воздух. Интересно, как на человека влияет резкое повышение давления, скажем, до пятнадцати атмосфер? Я бы не сказал, что ушам сразу стало больно, значит Витька

жалеет нас.

А может, и воздух экономит — что тоже правильно.

Сначала вода вроде никуда не движется, но вот под нами вся эта масса стала медленно оседать...

— Поехали..

— Всем держаться за трубопроводы, вниз ползти медленно. Петрова вперед, Петруша, пулей на кормовую переборку и следи там за уровнем. Остальные тихонечко за мной к носовой...

Выберемся. Мы обязательно отсюда выберемся. Это я вам говорю. Вот увидите. Мы же так просто не сдыхаем. Ни хрена. А почему? Потому что, если ты готов сдохнуть так просто, нечего тебе здесь было делать.

Петруша закроет дверь в третий. Обязательно. Закроет, задраит, обожмет. Этот ничего не забудет. Хорошо, если среди твоих людей найдется такой вот Петруша. Остальные тоже ничего, но пока им большое спасибо за то, что исполнительны, как сторожевые собаки.

И потому не подвержены панике.

А попробовали бы они паниковать! Утопил бы балласт к едре — на матери собственными руками. Ни секунды сомнения.

А между тем Петров уже задраил кормовую переборку, и мы собрались у носовой. Воды по грудь и теперь можно стоять спокойно ножками на палубе.

Стук в дверь и воздух в ту же секунду перестает подаваться давай, Витенька, давай, быстренько, сравнивай давление через захлопочки. Ну же, нам так хочется в первый!

То, что в первом открыли захлопки стало понятно после того, как в ушах защелкало: так бывает, если снижается давление. Скоро там, в первом, они всем гуртом навалятся и, преодолевая сопротивление воды — а это тонны полторы, не меньше, — приоткроют дверь между нашими отсеками, и мы им отсюда поможем.

И вода хлынет через все открывающуюся щель, и с ней мы, तोпясь, кувырком, кубарем, обдирая колени и локти, немедленно после падения поднимаясь на ноги, как во сне, все еще не веря в то, что мы в первом; и я попаду сюда последним — так и должно быть, — и сейчас же мы потянем дверь на себя, преграждая воде путь.

Все так и было. Мы действовали как автоматы, словно видели свои барахтающиеся тела со стороны, и нам, в сущности, было на -

плывать, что с ними происходит, только свет по глазам — это лампочки аварийного освещения, после тьмы они светят, как солнце; а потом нас оттащили наверх на торпедную палубу через люк, по вертикальному трапу, оттащили, стянули сырую одежду, натянули на нас водолазные свитера и рейтузы, сунули в руки кружки с горячим чаем и сухари — все было так. И как сквозь сон голос Витьки:

— Так. Внимание. С вашим переходом принято до двадцати тонн воды. Давление в отсеке возросло до пяти атмосфер. Нас пятеро: я, электрик носовых, трюмный первого и два торпедиста. С вами — двенадцать человек. Есть одиннадцать исправных дыхательных аппаратов, три неисправных, из которых мы сварганим еще один, гидрокостюмы и полным-полно водолазного белья. Есть электрочайник, кипятильник, аварийное освещение, запас пищи, консервы, десять банок сухарей и сколько хочешь пресной воды, по сколько цистерна первого отсека под нагрузкой. Работает галлюон — баллон перед самой аварией продули, так что он почти пустой, на наш век хватит. Лежим на глубине семьдесят два метра на ровном киле. Аварийный буй мы, сдуру конечно, уже отдали, и теперь не знаем, цел ли он, потому как наверху, подозреваю, шторм. Наверняка оторвало, так что на спасателей надежды никакой. Но нас ищут — ежу понятно. До берега четыре мили. Через сутки можно выходить. Буй-выюшка цела. Вопросы и предложения есть? Нет? Всем отдыхать.

Есть такая штука в первом — аварийный буй. Его отдают из отсека, и он всплывает на поверхность. Там он начинает подавать световые и радиосигналы о местонахождении подводной лодки. И еще есть буй-выюшка. Прежде чем выйти на поверхность, ее выпускают перед собой. Первый выходящий обязан прикрепить ее конец за кольцо сбоку на люке или на торпедном аппарате. Щелкнул карабином и прикрепит. И она начинает всплывать и разматываться. Она всплывает на поверхность, и на ее шкертку навязаны узлы — мусинги. На них водолаз должен задержаться для декомпрессии.

Прежде чем рухнуть, успел подумать, что Витька молодец. Интересно, откуда он узнал, что до берега четыре мили? Ах да, он же вахтенный офицер. Это фантастика какая-то — у него все есть.

И аварийный запас не разворовали.

Хотя какая там фантастика. Витька — куркуль. Не очень-то у него поворуешь. Он своим как-то сказал «буду бить нещадно, пока

назад тушенку не отпрыгнете», — и действительно кое-кого он отлупил. С тех пор ничего у него не воруют.

И все в строю.

Первый — это вообще отдельное государство. Чужие здесь не ходят, потому что на верхней палубе торпеды. Даже в галюн первого не очень — то попадешь. А торпедистов, трюмного и электрика носовых он вообще поселил у себя в отсеке.

Так что неудивительно, что во время аварии все были на месте.

И Витьке осталось только дверь задраить.

Что он и сделал. Задраил и перешел на полную автономию.

И я теперь у него в подчинении, и мои люди тоже, потому что он — командир этого отсека.

Есть такой закон. Будь ты хоть академиком подводной жизни, попал на аварии в соседний отсек — переходишь в подчинение.

И я, между прочим, с удовольствием перейду...

... а в магазинах раньше продавалось повидло. Оно было вкусное — вкусное и лежало на прилавке таким огромным плоским полем, его неторопливо нарезали ножом, аккуратно перекладывали на бумагу и взвешивали. И всех всегда, почему-то, интересовало отнимут вес бумажки или не отнимут. Обычно не отнимали...

... сейчас подумал о том, что не успел написать домой письма. Ерунда какая-то с этими письмами. Никогда не успеваешь.

— Ты слушаешь?

— А?

— Слышишь меня? — это Витька. Он, по-моему, что-то от меня хочет.

— Что?

— Я с тобой говорю, а ты мычишь.

— Извини. Ну?

— Между прочим, у нас полно ВВД. Удалось объединить весь запас. Так что на самом деле воздуха навалом. Можно попробовать продуть все ЦГБ. Так что, может, без суеты всплывем всем гамбузом? А?

— Может, всплывем. А может, и не всплывем, только воздух истратим. Лодка тяжелая. Как минимум пять отсеков затоплены. И корма, скорее всего, вся с водой. Двери — то наверняка посрывает. И потом, кто знает, может мы по самую маковку в иле сидим и все шпигаты забиты.

— Да. Клуб «У семи залуп». Если забиты, не очень - то продуешься. Рисковать не будем. Нам воздуха хватит, и при пяти атмосферах углекислота не скоро накопится. Можно двое суток спокойно дышать в тряпочку. Утихнет шторм, готовим аппарат, выпускаем буй-выюшку — и пошли партиями наверх. Там поддуем гидрокостомы, чтоб на воде лежать, как на подушке, и не спеша, безо всякого переохлаждения, до берега. Там — аппараты в кучу, чтоб ясно было — где лодочку искать, и тихой сапой до ближайшего поста наблюдения и связи. Ну, как мой план?

— Нормально. Нам бы еще бабу сюда.

— Чтоб она от страха гадила по углам. Ладно, Саня, спи. Надо проспаться.

... звезды. Где - то там наверху обязательно должны быть звезды. Какие они? В детстве бывали такие огромные звезды. Большая Медведица и Малая... А я никак не мог понять почему этот ковш называется медведицей. Правда я это и сейчас не очень - то понимаю...

Со звездами хорошо. Спокойно как - то.

Надо поспать. Попадаешь в сон, как муха в сироп. Сначала увязают руки, потом не чувствуешь ног, а щеки становятся теплыми, а потом и горячими - горячими, особенно если зарыться носом в вололазый свитер. Он из верблюжьей шерсти, и в нем сразу согревается нос, потом сопенье, и через мгновение кажется, что ты в классе у доски решаешь задачу, и тебе было бы не по себе от того, что ты не знаешь ее решения, если б ты вовремя не догадался, что это уже сон и теперь можно без страха следить за тем, как тебе не удастся с ней справиться. И ты даешь сну эту возможность тебя напугать, а сам хитренько за всем наблюдаешь. Истодтишка.

... Что там с моей девочкой - татарочкой? Да - да - да, мы целовались. В первом классе это совсем не вкусно.

Не то что после...

... Что - то мы должны сделать. Что? Ах да, надо исправить дыхательный аппарат.

Ну этим у нас займется Витенька. Он же уникам. Он что -нибудь придумает. Ему теперь положено все - все придумывать. И это навсегда. Он теперь наш командир. А командиры все уникамы. Они должны придумывать. А вот мне можно этим дерьмом не заниматься. И как это здорово не думать, перепоручить выбор другому. Можно спать и вздрагивать по ночам просто так. Не оттого, что ты что - то

там позабыл, а просто — взял и вздрогнул всем телом, и тебя как встряхнуло с головы до пят, и ты проснулся и сейчас же опять нырнул в сон, с удовольствием вспомнив, что ты теперь не командир.

Господи, я же только что спал, и мне снилось, что у меня болит рука. Да. Точно. У меня болела рука. Или она болела не в этом сне? Это самый крепкий сон, когда во сне болит рука. А однажды мне приснилось, что я заперт в отсеке и мне нужно выйти, но для этого нужно повернуть кремальеру, а схватить ее руками не получается, потому что пальцы не выдерживают нагрузки и сами разжимаются, и тогда я изловчился и подsunул предплечья, у локтей, они же выдерживают страшные нагрузки, и я присел, откинулся назад и начал медленно, чтоб не порвать сухожилия, вставать ногами, подрабатывая спиной, и сначала ничего не получалось, а потом она поддалась и пошла вверх, и дверь со скрипом отвалила в сторону...

Буду просыпаться через каждые двадцать минут и вертеть башкой. Это очень важно — вертеть башкой.

Повертелся и устроился поудобней. Осмотрел отсек, проверил есть ли вахтенный, следит ли он за уровнем воды в отсеке. Вахтенный все время должен следить за уровнем... воды... вахтенный должен... он все время должен... а вот мне, главное, не спать слишком глубоко, лучше где-нибудь у поверхности, а то можно проснуться и не понять где ты. И испугаться. Сейчас самое время испугаться.

Эй, приятель! Я о тебе совсем позабыл. Я тебя позабросил. Ты уже научился держать в руках земной шарик? Он такой маленький, этот шарик. Там еще есть такое место. Его называют «Мировой океан». А в нем есть еще одно местечко, такая незначительная точка недалеко от берега — ты сейчас будешь смеяться — и там, в этой точке, на дне лежит некая железная штуковина, и уже в этой штуковине, в носовом отсеке, спит двенадцать придурков, у которых — надо же такому случиться — только одиннадцать исправных дыхательных аппаратов, и они сейчас придумают что им делать с двенадцатым — нет-нет, не аппаратом, а человеком — и выберутся отсюда к совершенно безобразной мамочке. А может, ты нас отсюда достанешь, а? Тебе ведь ничего не стоит. Ты вон какой большой-огромный. Протянул руку и достал нас, визжащих от удовольствия. Смотри только, лодку не переломи. Ха-ха... по-моему, я пьян. Можно же опьянеть от того, что тебе тепло и ты боишься уснуть, потому что можешь проснуться и испугаться, потому что во

сне можно забыть, где ты и что ты, и сколько тебе осталось... спать, конечно... да - да - да... А тот двенадцатый неисправный аппарат — мой. Это я сразу понял. Почувствовал. Шкуркой. Потому что у меня очень высокий коэффициент ОЧДЖ — обостренного чувства долго поротой «ю». И я все чувствую.

Витька будет предлагать мне поменяться, а я откажусь и буду всплывать с неисправным аппаратом.

Кстати, а что там может быть неисправно? Редукторы? Дыхательный автомат? Если редукторы — получим баротравму легких, если автомат — из дыхательного мешка будет уходить воздух. Второе переживем, первое нет.

А если не восстанавливать аппарат?

Если не восстановим аппарат, нужно будет принести исправный с поверхности. Двое всплывают, потом один с другого снимает аппарат и бегом по веревочке назад в лодку. Один из этих двоих Петров, конечно. Он - то и принесет мне исправный аппарат, когда им уже попользуются. Теперь самое время подумать о женщинах. О том, что мы с ними будем делать, когда все это кончится. О - о - о... женщины, когда все это закончится, мы вас будем любить. Страстно. Безудержно. Ночи напролет. Вот это будет скачка.

Да. В торпедный аппарат пойдут первые трое. Они станут неуклюжими, как только наденут гидрокостюмы и дыхательные аппараты, которые на шею, — совершеннейшее ядро и тянут голову к промежуности.

Они полезут в длинную трубу торпедного аппарата, и самый первый из них головой будет толкать буй - выюшку.

Они поплзут к носовой крышке осторожно, чтоб не повредить дыхательный автомат на заливке, а потом они остановятся и стуком подадут сигнал.

Им пустят забортную воду. Конечно, можно выходить и по сухому, подняв давление до заборного сжатым воздухом, но у нас принято экономить воздух, и поэтому к ним в аппарат хлынет забортная вода.

А потом уравновесят давление, откроют переднюю крышку и они выйдут в океан.

Буй - выюшка всплывет, разматывая трос. На нем, как уже говорилось, навязаны мусинги. На каждом нужно будет останавливаться для декомпрессии.

И считать время по ударам сердца.

Как только выйдут первые, передняя крышка закроется из отсека, давление сравнится, а вода сольется в трюм. За первыми пойдут следующие. С кем-нибудь обязательно начнется истерика, которая прервется энергичными ударами по лицу.

Если мне принесут аппарат с поверхности, передняя крышка закрываться не будет до тех пор, пока его не вложат в торпедный аппарат и не стукнут несколько раз по крышке — «закрывай». И мы его втянем обратно в корпус.

Мы с Витькой выйдем в последней тройке.

Так положено.

По-другому нельзя.

И крышка торпедного аппарата останется открытой — ее некому будет закрыть.

И сразу на поверхность. Она всего лишь в семидесяти метрах. Земноводные, как нам хочется на поверхность! Там воздух, воздух, воздух — колючий, ядерный, щекочущий небо, обжигающий язык и гортань, — воздух, мать вашу!

В лодке он совсем не такой. В нем нет того, что заставляет сома ворочаться в подсыхающей луже, а утря — плясать на раскаленной сковородке. В нем нет того, что заставляет нас здесь не спать, поминутно вскакивать, вздрагивать, временами выть собакой, выражаясь фигурально, и говорить, говорить, забалтывая самого себя, а потом жевать окаменевшие сухари и глотать кипяток.

В нем нет того, что заставит нас подняться на поверхность, рывком перевести флажок аппарата на дыхание в атмосферу и дышать, дышать, жадно, с хрипом засасывая эту невероятную вкуснотищу в собственные внутренности, а потом плыть до берега четыре мили и там, в полосе приборя, скользя и спотыкаясь, искать выход на скалы и по ним наверх, наверх — карабкаться до изнеможения и идти, идти...

И мы дойдем.

Только так.

А как же иначе?

И нам бросятся навстречу: «Живы?!» — а мы им: «Еще бы!»

Вот увидишь, приятель, так все и будет. Ты мне веришь? Нет? Это потому, что мы с тобой совсем разные... Ты, наверное, думаешь, что все, что здесь наговорено, не случилось, и мы все давно умерли, захлебнулись в той самой волне, которая гонялась за нами по отсе-

Семьдесят два метра

кам, нагнала и поглотила, и мы утонули, и последнее что, мы видели, — это лампочки аварийного освещения растворяющиеся в глубине, а все, что после — всего лишь отблески происходящего, запись умирающего сознания. Запись в виде звука, образа. Это оно так цепляется за ускользающий мир. Запись есть, а нас уже нет.

Честно говоря, иногда мне так тоже кажется.

Поэтому я и не сплю...

СОДЕРЖАНИЕ

Офицера можно

рассказы

5

Я все еще помню

рассказы

105

Фонтанная часть

рассказы

179

Бегемот

рассказы и повесть

239

Семь слов

новые рассказы

323

Семьдесят два метра

история

371

Новая книга известного писателя составлена из рассказов, выбранных им самим из прежних книг, а также новых, написанных в самое недавнее время. Название «72 метра» дано по одноименной истории, повествующей об экстремальном существовании горстки моряков, не теряющих отчаяния, в затопленной субмарине, в полной тьме, у «бездны на краю».

Широчайший спектр человеческих отношений — от комического абсурда до рокового предстояния гибели, определяет строй и поэтику уникального языка А. Покровского.

Ерничество, изысканный юмор, острая сатира, комедия положений, соленое слово моряка передаются автором с точностью и ответственностью картографа, предьявившего новый ландшафт нашей многострадальной, возлюбленной и непопираемой отчизны.

АЛЕКСАНДР
ПОКРОВСКИЙ

72

МЕТРА

книга

прозы

Сдано в набор 17.12.99. Подписано в печать 03.05.00.

Формат 84×108/32. Гарнитура Gals.

Печать высокая. Усл. печ. л. 21,1. Уч.-изд. л. 22,7.

Тираж 10 000 экз. Заказ № 738.

Издательство ООО ИНАПРЕСС

СПб., Невский пр., 74.

e-mail: inapress@vicom.ru

ЛР № 062759 от 04.07.98.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГПП «Печатный Двор»

Министерства РФ по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

Новая
газета

BAYLOR UNIVERSITY LIBRARIES



3 1263 01661 7174

прежних книг, а также новых,
написанных в самое недавнее
время.

Название «72 метра» дано по
одноименной истории,
повествующей об экстремальном
существовании горстки моряков,
не теряющих отчаяния в
затопленной субмарине, в полной
тьме, «у бездны на краю».

Широчайший спектр
человеческих отношений — от
комического абсурда до рокового
предстояния гибели, определяет
стиль и поэтику уникального
языка А. Покровского.

Ерничество, изысканный
юмор, острая сатира, комедия
положений, соленое слово моряка
передаются автором с
точностью и
ответственностью картографа,
предъявившего новый ландшафт
нашей многострадальной,
возлюбленной и непопулярной
отчизны.



9 785171 195104